

Присоединение Кавказа к России.
XIX век



Кавказский крест
«За службу на Кавказе»
1864 год

Д
2005

«Из русского прошлого»

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАВКАЗА К РОССИИ

XIX век

ДБ
С.-Петербург
2005

Присоединение Кавказа к России. XIX век.
СПб.: «Дм, 2р, й Булан, н», 2005 г. — 416 с.

Настоящее издание продолжает рассказ об истории утверждения России на Кавказе, начатый в книге «Русские на Кавказе. Эпоха Ермолова и Паскевича». В основу положены главы известного труда «*Кавказская война*» русского военного историка и кавказоведа *Василия Александровича Потто*. Живо и достоверно представлена история вхождения в состав России кавказских народов и территорий, главные события которого имели место в первые десятилетия XIX века. Грузия и Армения, мусульманские ханства Азербайджана, Дагестан и Чечня, Кабарда, Черкесия и Абхазия...

Составитель А. Г. Макаров

ISBN 5-86007-

© А. Г. Макаров
составление, 2005 г.
© «Дмитрий Буланин», 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От составителей</i>	6
ВВЕДЕНИЕ	7
РОССИЯ ЗА КАВКАЗОМ	
1. Грузия	
<i>Занятие Тифлиса русскими в 1783 году</i> . . .	11
<i>Последние бедствия Грузии (Ага Мохаммед-хан)</i>	26
<i>Присоединение Грузии (Кнорринг и Лазарев)</i>	45
<i>Князь Цицианов</i>	66
2. Мусульманские ханства	92
3. Абхазия	119
4. Возрождение Армении	142
5. Военно-грузинская дорога	173
КАВКАЗ И РОССИЯ	
1. Чечня	200
<i>Чеченский набег</i>	214
<i>Грозная</i>	222
2. Дагестан	239
3. Адыгский народ	263
4. Осетия и осетины	287
<i>Покорение южных осетин</i>	308
5. Покорение карачаевцев	322
КАЗАКИ НА КАВКАЗЕ	
1. Донские гулебицы	335
2. Походный атаман Иловайский	349
3. Запорожцы на Кубани	
<i>(Чепега и Головатый)</i>	368
<i>Черноморье при атамане Матвееве</i>	395

В серии «Из русского прошлого» мы продолжаем публикации по истории утверждения России на Кавказе, начатый в книге «Русские на Кавказе. Эпоха Ермолова и Паскевича». В основу настоящего издания положены главы из пятитомного исторического труда «Кавказская война», появившегося во второй половине XIX века и принадлежавшего перу известного русского военного историка и кавказоведа графа *Василия Александровича Потто*. Автором живо и достоверно представлена история вхождения в состав России кавказских народов и территорий в первые десятилетия XIX века: Грузия и Армения, мусульманские ханства Азербайджана, Дагестан и Чечня, Кабарда, Черкесия и Абхазия...

Пути присоединения к России тех или иных народов Кавказа были различными. Здесь было все: мирное вхождение и завоевание военной силой, военные кампании с внешним врагом — Турцией и Персией — и военные повседневные столкновения с воинственными горцами, растянувшиеся подчас на десятилетия. И было бы наивно ожидать, что Россия смогла бы в одночасье разрешить все накопившиеся здесь противоречия, в том числе между жившими здесь десятками племен и народов. Но сегодня, в начале нового тысячелетия, оглядываясь назад, мы можем подвести и определенный итог сложившемуся полтора — два столетия назад сосуществованию народов России на Кавказе: за истекший период не только сохранился этнический состав народов Кавказа, но и многократно увеличилась их численность. Именно Россия, сначала — императорская, а позднее — советская, способствовала проникновению современной цивилизации и культуры в самые далекие и глухие уголки равнин и ущелий Кавказа, и в то же время дала возможность этим народам сохранить собственное национальное, духовное и культурное наследие, открыв возможность дальнейшего развития и достойного положения в мире.

Интересный и увлекательный рассказ о том, как народы Кавказа соединили свои судьбы с судьбой России, читатель найдет в главах классического труда В. А. Потто «Кавказская война», собранных в настоящем издании.

А. Г. Макаров

ВВЕДЕНИЕ

Кавказ! Какое русское сердце не отзовется на это имя, связанное кровной связью и с исторической, и с умственной жизнью нашей родины, говорящее о неизмеримых жертвах ее и в то же время о поэтических вдохновениях. Много ли есть русских семей, на которых Кавказ в долговременных войнах его не отразился бы невозвратной утратой, и кто же вспомнит об этой утрате иначе, чем с гордым сознанием исполненного долга перед великой отчизной, высылавшей своих сынов на горный рубеж Азии не на истребительское дело войны, а на вечное умиротворение края, с незапамятных времен бывшего ареной грозных столкновений народов. Кавказская война окончилась, великая цель достигнута. Но Русь, уже не тревожимая более громами постоянной войны, не забудет героев своих, обнаруживших на Кавказе беззаветное мужество и преданность родине, без которых немислимо было бы покорение воинственного и природой защищенного края, покорение исторически необходимое, вынужденное настоятельными государственными потребностями России.

Достаточно вспомнить старую историю Кавказа, в незапамятные времена уже привлекшего к себе искателей золотого руна, достаточно беглого взгляда на географическое положение кавказского перешейка, лежащего между

двумя морями и между юго-восточной Европой и юго-западной Азией – двумя главными путями, которыми азиатские народы совершали свои передвижения в Европу, чтобы понять тот фатум, который неизбежно рано или поздно приводил русский народ к столкновению с Кавказом. Недаром владычества над ним попеременно искали и оспаривали друг у друга многочисленные народы и государства: с запада – греки, македоняне, римляне, византийцы, наконец, турки; с юга – персы, арабы, монголы; с севера – скифы, аланы, готы, хазары, гунны, авары, половцы, печенеги, наконец, русские. Кавказ был ключом, без которого невозможно было овладеть обширными равнинами и запереть их от вторжений все новых и новых племен и народов.

Возраставший северный великан, русское государство, имел перед собой трудные задачи. Как племя, имевшее великое историческое будущее, русский народ, по историческому закону, о котором говорит основатель научной географии Риттер, естественно и неизбежно, хотя бы бессознательно, инстинктивно, должен был стремиться «к мировому морю», вообще на простор сношений с другими народами. Но север был суров и негостеприимен, и еще до Рюрика и Олега проложен был славянами путь в южные моря, «в греки». Но юг, к которому стремилось почуявшее свои силы Русское царство, представлял обширные степи, по которым невозбранно передвигались народы, не давая даже установиться границам Московской земли и держа в постоянной войне и опасности порубежное население. Возникшему отсюда единственному явлению людского мира, казачеству, естественно, предстояли те же задачи, что и всему русскому государству – найти границы, которые можно было бы защищать. Но вплоть до Кавказа – не было границ. И когда монголь-

ские царства стали не повелителями Руси, а ее покоренными владениями, когда Русь овладела всей Волгой и дошла до Каспийского моря, казачество скоро утвердилось на восточном побережье Каспия, в приморском Дагестане, а затем под крепкой помощью и защитой Московского царства провела линию городов и станиц, вечно вооруженных и готовых к защите, от одного моря до другого, и положила этим предел неожиданным и безнаказанным вторжениям в пределы России со стороны Кавказа.

Но Кавказ был населен воинственными, гордыми и свободолюбивыми племенами, осадками народов, поочередно занимавших подножия гор, и России предстояла еще вековая упорная борьба, из которой победителем мог выйти только народ и никакое государство. Казаки и другие войска, пришедшие туда, действительно и были всегда «не войском, делающим только кампанию, а скорее воинственным народом, созданным Россией и противопоставленным ею воинственным народам Кавказа», как сказал некогда один из блестящих военных писателей. Среди постоянной опасности и войны этот «войско-народ» десятилетиями закалялся в беззаветном мужестве, беспримерном в истории и напоминающем разве только римские легионы, посланные «вечным городом» внести римскую цивилизацию в леса и горы Германии и Британии, умирающие или достигающие своих целей, одинокие среди враждебных племен, распространяющие римскую власть и римскую мысль из какого-нибудь маленького укрепления.

Нужно сознаться, что русское общество, не только гражданское, но даже и военное, мало знакомо с величественной эпопеей кавказской войны, с тем духом сказочно-героических подвигов, который красной нитью

проходит через всю вековую историю кавказского завоевания. Там сотня человек, мужественно противостоящая тысячам и побеждающая или умирающая до одного человека; там генерал, одним словом побуждающий на подвиги и дающий пример героической смерти своим солдатам; там солдат, с трогательной простотой сознательно отдающий жизнь за общее дело и не подозревающий, что он совершает нечто необыкновенное. И этим духом были проникнуты не единицы, а вся масса кавказских войск.

«Тут прошли целые поколения героев, – говорит Соллогуб, – тут были битвы баснословные. Тут сложилась целая летопись молодецких подвигов, целая изучастная русская «Иллиада», еще ожидающая своего песнопевца. И много тут в горном безмолвии принесено безвестных жертв, и много тут улеглось людей, коих имена и заслуги известны только одному Богу. Но все они, прославленные и незамеченные, имеют право на нашу благодарность».

Русский народ может гордиться кавказским солдатом, примером того, до какой высоты может подниматься нравственная сила русского человека. И если мы еще в детстве узнаем и учимся уважать имена героев древности, то не дороже ли для нас память наших собственных героев. Конечно, вся Россия знает таких людей, как князя Цицианов, Ермолов, Котляревский, но многим ли известны скромные имена Карягина, Гулякова, Монтрезора, Овечкина, Щербины и многих, многих других – людей, не высоких чинами, но великих своим героизмом и самопожертвованием.

Пусть лежащая перед читателем история кавказской войны увековечит память тех, чьи заслуги мы должны помнить и чтить.

РОССИЯ ЗА КАВКАЗОМ

1. Грузия

ЗАНЯТИЕ ТИФЛИСА РУССКИМИ В 1783 ГОДУ

С Ираклием II, царем соединенных царств Кахетии и Картли, наступает для Грузии новая эпоха, приводящая ее в конце концов к желаемому миру. И теперь приходят персы и турки, и, как прежде, вторгаются лезгинцы, но Грузия все больше и больше находит защиту со стороны России, пока наконец северный колосс не взял всего дела в свои мощные руки и не вырвал древнюю христианскую страну из-под тяжкого магометанского ига. То была эпоха подъема народного духа, религиозного и нравственного возрождения, воскресших надежд, и Ираклий своим личным доблестным характером был истинным выражением этой эпохи.

Еще в те времена, когда он царевичем жил при персидском дворе и был с Надир-шахом в походе на Индию, он поражал восточного повелителя равнодушием, с которым смотрел на богатства сказочной страны и на почести, которыми его окружали. Это был человек идеи; и шах, умевший выбирать и ценить людей, дорожил советами Ираклия даже по важным военным делам и охотно следовал им. Говорят, что мнения Ираклия пользовались большим уважением даже у индийских жрецов, браминов

и факиров и что некоторые изречения его обратились в пословицы. Как воин, Ираклий был поистине царственным рыцарем, народным идеалом царя и полководца. Вот каким рисуют его предания. Когда он был еще только царем кахетинским, в 1752 году, значительная персидская армия появилась в Грузии с целью отомстить ей за поражение персов, случившееся в том же году под Эриванью. Грузин было всего три тысячи человек, и многие советовали отступить, но Ираклий не согласился. «Теперь уже поздно отступать, — сказал он своим приближенным, — при первом шаге назад неприятель не оставит в живых ни одного человека». К войску он обратился с простой и трогательной речью. «Не думайте, — сказал он, — что я иду проливать кровь вашу для распространения моих владений, для усиления моего могущества; иду защищать отечество и своих подданных». Он приказал войскам идти за собой, но не начинать битвы, пока он не сделает условного выстрела; после же выстрела грузины должны были дать общий залп и броситься в сабли. Ираклий сел на лошадь и двинулся вперед, держа в одной руке повод, а в другой ружье. В это время татары, составлявшие часть его войска, стали отделяться, рассчитывая принять ту сторону, которая победит. Царь, удрученный этим новым горем, сошел с коня и с горячей мольбой упал на землю перед изображением креста. Тогда один из татарских вождей, подойдя к нему, сказал: «Крест! Если есть в тебе сила, ты сделаешь сегодня передо мной чудо».

Персияне между тем со всех сторон обложили грузин, и один из персидских ханов, выехав вперед, громко крикнул: «Где царь Ираклий?» — «Если ты ищешь царя, — ответил ему Ираклий, — то взгляни, он перед тобой». Хан бросился на него с копьем в руке, но царь выстрелил, и перс упал мертвый. Выстрел был принят за сигнал

к нападению; грянул залп, и грузины бросились на неприятеля так неожиданно, что обратили его в бегство. Победителям достались двенадцать пушек, все знамена, тысяча верблюдов и весь лагерь. Татарский вождь, ожидавший чуда и пораженный бегством персидской армии, обратился в христианство. Таков был царственный рыцарь Ираклий, и имя его скоро сделалось настолько славным и грозным, что к его покровительству стали прибегать соседние властители.

Оставшись в 1762 году единым царем Кахетии и Картли, Ираклий в первое время был поставлен в чрезвычайно благоприятные условия. На престоле Персии был Керим-хан, дружественный Ираклию, и царь, пользуясь этим обстоятельством, усмирил лезгин, обложил данью мятежного ганжинского хана, покрыл страну укреплениями и много заботился о ее внутреннем процветании. Так прошло восемь лет. Войны с турками имеретинского царя Соломона I, вызвавшие известный поход за Кавказ генерала Тотлебена, навлекли было на Грузию новое нашествие турок, но скоро, в 1774 году, по условиям русско-турецкого мира Кахетия и Картли признаны были независимыми, и султану пришлось отказаться от своих притязаний. Тогда он прибег к известному средству – вооружить против Грузии лезгин, и Картли периодически стала наводняться хищниками, доходившими до самого Тифлиса. В то же время в Персии умер расположенный к Ираклию шах Керим-хан, и новый властитель Ирана, Али-Мурат, потребовал от царя покорности. Тогда Ираклий, утомленный войнами, решил отдать свое царство в подданство России, о чем, благодаря проницательной деятельности светлейшего князя Потемкина, уже велись переговоры.

Решаясь на присоединение Грузии, Екатерина, конечно, не искала увеличения своего и без того обширного государства; она руководствовалась великодушным желанием спасти несчастную единоверную страну, столько страдавшую от иноземного магометанского владычества и внутренних смут. Но впрочем есть и такое мнение, что, создавая по ту сторону Кавказских гор сильное христианское государство и угрожая этим Турции, она имела в виду осуществление приписываемой ей грандиозной политической программы – выгнать турок из Европы и на развалинах Оттоманской Порты восстановить Византийскую империю.

Пrelиминарный акт присоединения Грузии подписан был представителями обоих государств двадцать четвертого июля 1783 года в Гори, древней столице Картлийского царства, а вслед за тем командовавший кавказскими войсками граф Павел Сергеевич Потемкин отправил в Грузию два батальона кавказских егерей* и четыре орудия, под общей командой полковника Бурнашева. Войска вступили в Тифлис третьего ноября и были восторженно встречены огромными толпами народа. День был ненастный, с холодным ветром и снежной вьюгой, и жители грузинской столицы говорили: «Это русские принесли нам свою зиму...»

Появление русских войск в Грузии переполошило всю Анатолию и Малую Азию; это было событие, в котором суеверные мусульмане видели зловещий призрак близкого падения своего могущества. До какой степени паника охватывала население всякий раз, когда оно узнавало о приближении русских, можно судить по тому,

* Кавказский егерский корпус состоял из четырех батальонов: два оставлены были на Линии, а два – Горский, подполковника Мерлина, и Белорусский, подполковника Квашнина-Самарина, – отправлены в Грузию.

что в это же самое лето все поморские жители Трапезунда бежали вглубь страны от одного известия, что русский флот появился у берегов Черного моря. Хотя впоследствии и оказалось, что это было стадо плавающих птиц, но туземцы с трудом и неохотно возвращались в покинутые селения.

Блистательные успехи русских в Крыму, на Дунае, у подножия Балкан и Кавказа, и вот теперь движение русских войск в Грузию – все это напоминало пылким сынам ислама о Гоге и Магоге, имеющим разрушить благословенные мусульманские царства, и заставляло обращать взоры туда, за эту белую стену Кавказа, за которой начинался для южного человека уже мир призраков... «Малаллах! – восклицали мусульмане. – Должно быть, и в самом деле удивительная сторона, этот загадочный Север!»

А между тем, как весь азиатский мир тревожно волновался в предвидении важных событий, в Тифлисе ожидали только прибытия полковника Тамары, назначенного полномочным министром при дворе Ираклия, чтобы обнародовать государственный акт, по которому Грузия становилась на вечные времена под защиту и покровительство России. Знаменательное событие это совершилось двадцать четвертого января 1784 года.

Накануне все царские регалии, присланные Екатериной и украшенные соединенными гербами России и Грузии, были перенесены с церемонией во дворец, где Ираклий встретил их с подобающими почестями. Стоя у ступеней своего трона, окруженный царевичами, придворными чинами и знатным духовенством, царь выслушал короткую приветственную речь русского посла и собственноручно принял от него знаки царской инвентуры. Вручив государственное знамя и меч двум

представителям старейших княжеских фамилий, за которыми с древнейших времен сохранялось право носить их за царями, Ираклий возложил корону, скипетр и царскую мантию на особо приготовленные подушки, после чего Тамара и передал царю императорскую грамоту. Принятие ее приветствовалось сто одним выстрелом.

На следующий день царь и весь грузинский народ должны были принести присягу на вечное подданство русской государыне. С восходом солнца три залпа русской батареи, поставленной на площади, возвестили начало церемонии, и улицы Тифлиса покрылись массами народа. В десять часов утра Ираклий, предшествуемый регалиями, торжественно вступил в Сионский собор и, войдя на приготовленный трон, возложил на себя царскую мантию. Придворные чины, державшие остальные регалии, разместились по сторонам трона, а на ступенях и у подножия его стали царские сыновья и внуки. Далее, по направлению к царским дверям, поставлены были два небольшие столика, художественно отделанные слоновой костью и золотой инкрустацией; на одном из них, покрытом золотым глазетом, лежала ратифицированная грамота императрицы, а на другом, покрытом бархатом, – ратификация Ираклия. Сам католикос Грузии совершал богослужение. При первом возгласении имени русской императрицы загудели колокола во всех церквях Тифлиса, а с батареей Метехского замка грянул пушечный залп, потрясший массивные стены древнего собора. По окончании молебствия совершился обмен ратификациями, а затем Ираклий, осененный государственным знаменем и имея по сторонам себя русских полковников Тамару и Бурнашева, перед крестом и святым Евангелием произнес присягу. Торжественный день завершился парадным обедом во дворце, на который

были приглашены все находящиеся в Тифлисе русские офицеры. Музыка и пушечные выстрелы сопровождали пиршество*. Народ ликовал на площадях и улицах, и в течение целого дня неумолкаемо гудел колокольный звон, стреляли пушки, лилось рекой кахетинское, а вечером весь город и окрестные горы были озарены роскошной иллюминацией.

И Турция, и Персия, конечно, не могли оставаться равнодушными зрителями совершившихся событий. Не имея повода к открытому вмешательству, они старались возжечь в Грузии внутренние смуты и обратить ее в кровавую арену лезгинских нашествий. Последнего достигнуть было нетрудно. Воинственные, не связанные никакими трактатами, лезгины охотно взялись за оружие, и первой жертвой их нападения сделалось казахское селение Черань.

Черань была расположена на высоком берегу Алазани, с которого окрестность видна, как на ладони; несмотря на то, беспечные грузины допустили захватить себя в совершенном расплохе. Стоявшее грузинское войско не подало помощи, и хищники в течение двух часов безнаказанно грабили деревню, вырезали жителей, а оставшихся в живых около семидесяти человек увели в плен.

Два русские батальона при общей панике, конечно, были не в состоянии одни защищать всю страну, и необходимость улучшить собственные боевые средства царства была очевидна. Потемкин, лично посетивший

* Тост за императрицу сопровождался сто одним пушечным выстрелом, за царя Ираклия и за членов русского императорского дома – пятьдесят одним, а за всех остальных членов грузинского царствующего дома и за светлейшего князя Потемкина, как покровителя Грузии, – тридцать одним.

Тифлис, даже угрожал Ираклию вывести русские войска обратно на Линию, если не будет принято соответствующих мер, и Ираклий решился сформировать милицию, чтобы наказать по крайней мере ближайшие к его границам лезгинские селения. Потемкин вполне одобрил это намерение и, выезжая из Тифлиса в Георгиевск, оставил в Грузии генерала Самойлова, поручив ему начальство над всей экспедицией. В состав отряда, кроме грузинских войск, вошли оба егерские батальона с четырьмя орудиями, эскадрон астраханских драгун и сто человек донских и уральских казаков. Драгуны и казаки были назначены из конвоя Потемкина и по окончании экспедиции должны были возвратиться на Линию.

Не ожидая сбора грузин, Самойлов выступил в поход только с одними русскими войсками и четвертого октября был уже в Казахах, куда только через три дня прибыл наконец Ираклий. Крайний беспорядок, особенно в снабжении продовольствием, препятствовал тотчас открыть наступательные действия, а между тем лезгины на глазах отряда продолжали опустошать и грабить пограничные села, и жители тщетно зывали о помощи. Честь русской армии не позволяла терпеть долее подобного положения дел, и Самойлов энергично потребовал перехода в наступление. Но Ираклий медлил, выводя этим из терпения русского генерала. «Большое несчастье, – писал по этому поводу Самойлов, – что Ираклий сам принял начальство над своими войсками, а не прислал сюда своих военачальников. Тех я бы принудил к действию, а к царю могу лишь входить с представлениями. Он слушает советы, а поспешности не прибавляет ни мало...»

Самойлов был прав, конечно, в своих упреках Ираклию, но медлительность и осторожность царя объясня-

ются горьким опытом долголетних войн: Ираклий знал силу врагов и еще мало знал силу русскую. Впрочем, и глубокая старость царя, понятно, должна была сказаться упадком бывалой энергии.

Время уходило, и Самойлов стал опасаться, что экспедиция совсем не состоится, так как благоприятное время было пропущено. Наступала глубокая осень, прекрасная погода сменилась ненастьем, и в течение четырех суток, не переставая, шел проливной дождь, размывший дороги до невозможности везти по ним артиллерию. Вода в Алазани быстро прибывала, и можно было ожидать, что переправы вброд скоро прекратятся.

В то самое время получено было известие, что сильная партия лезгин возвращается из-под Генжи по эту сторону речки. Опасаясь упустить и этот случай для наказания хищников, Самойлов не стал уже ожидать Ираклия, а выступил из лагеря с одними русскими войсками, и одиннадцатого октября 1784 года близ селения Муганды (на Алазани) настиг лезгинскую партию. Чтобы отрезать неприятеля от переправы, русский отряд направился наперерез усиленным маршем, но лезгины, вовремя заметя русских, пошли на рысях и заняли прибрежный лес ранее Самойлова.

Решено было взять лес штурмом. Две колонны, каждая по двести егерей, под общей командой подполковника принца Гессен-Рейнсфельдского, быстро охватили лес с двух сторон и, поддерживаемые своими батальонами, начали атаку. Артиллерия, занявшая позицию на левом фланге, жестоко обстреливала лес, и своим огнем в значительной степени содействовала успеху. Одна кавалерия по роду местности не могла принять участия в бою и потому ограничилась только наблюдением за связью между колоннами и прикрытием флангов. Между тем,

еще при первых пушечных выстрелах подошло грузинское войско, но Ираклий поставил его в общем резерве.

Лезгины, взобравшись на деревья, встретили атакующие колонны сильным огнем, но после пятичасового упорного боя должны были очистить опушку леса. Выбитые отсюда, они бросились в Куру, чтобы спастись вплавь, но попали здесь под картечь четырех русских орудий, страшно поражавшую их в самой реке. Волны Алазани окрасились свежей кровью, и река буквально запрудилась людскими и конскими трупами. Поражение было так сильно, что неприятель оставил только в одном лесу двести тел, не успев, как того требовал священный обычай, унести их с собой. Потеря со стороны русских была сравнительно незначительна, но, к сожалению, один из главных виновников успеха, принц Рейнсфельдский, получил смертельную рану и вскоре умер. Тело его погребено в одной из тифлиских церквей. Это были первые жертвы и первая русская кровь, пролитая за освобождение Грузии. Переночевав на поле сражения, Самойлов двадцатого числа возвратился в Тифлис.

Победа, одержанная так успешно над лезгинами, имела то важное следствие, что подорваны были вера в неукротимость дикого племени и обаяние, которое производила их бешеная отвага. Обрадованный победой, царь устроил в Тифлисе парадную встречу русским войскам и пригласил Самойлова прямо в собор, где патриарх ожидал его для служения благодарственного молебствия.

Глубокие снега, завалившие горные ущелья, приостановили на время военные действия. Но с наступлением весны, в апреле 1785 года, новая значительная шайка лезгин и турок ворвалась в Картли. Она прошла через Боржомское ущелье и, разорив несколько деревень, увела

в плен более шестисот человек грузин. В Сураме стоял в то время майор Сенненберг с частью Белорусского батальона. Он взял с собой двести егерей при одном орудии и, кинувшись в погоню, настиг лезгин верстах в семи от Сурама, на берегу Куры у деревни Хошур. Прижатые здесь к обрывистому берегу речки, лезгины и турки напрасно старались проложить себе дорогу оружием. Егеря отбрасывали их, поражали картечью, расстреливали залпами. Более четырех часов длился этот бой и кончился неслыханным дотоле поражением хищников. Тысяча триста тел оставлено было ими на поле сражения; остальные, бросаясь в Куру, тонули, и сотни трупов неслись по быстрой речке до самого Тифлиса. Наибольшие потери пали на долю турок, из которых двести человек были взяты только в плен. Победу торжествовало все христианское Закавказье.

Военная репутация лезгин была подорвана. Однако же они решились еще на одну попытку, чтобы восстановить свою померкшую славу, и с этой целью снова ворвались в Картли. Тот же майор Сенненберг встретил их опять на берегу Куры и двадцать восьмого мая выдержал жаркую схватку. Грузинская конница, первой начавшая бой, была моментально сбита с поля сражения, и лезгины, одушевленные успехом, стремительно ударили по русской пехоте. Безумная отвага их превосходила все, что можно себе представить, но это были уже последние вспышки дикой энергии, последние отблески грозной и кровавой славы, некогда озарявшей лезгинские знамена. Встречая везде несокрушимую стену русских штыков, неприятель дрогнул; смешался и обратился в бегство, оставив триста тел на поле сражения.

«Опыты храбрости наших войск, — писал по этому поводу Потемкин к Бурнашеву, — должны послужить в

доказательство царю и всем грузинам, сколь велико для них благополучие быть под щитом российского воинства».

Успехи русского оружия в Кахетии и Картли не сразу упрочили в Закавказье мир и безопасность, и грозные тучи уже снова собирались над Грузией. В августе стали доходить со всех сторон тревожные слухи о сборах на границах многочисленных врагов. В Ахалцихе собирались лезгины и турки; из Дагестана надвигался Омархан аварский; внутри волновались татарские дистанции, угрожая отложиться от Грузии. Лазутчики то и дело приносили тревожные известия, советуя грузинам спасать свои семейства и имущество. Опасаясь более всего вторжения аварского хана, располагавшего, как говорили, пятнадцатитысячной армией, Ираклий считал свое положение безвыходным. Он уже не думал об обороне границ, а приказал всем жителям собраться в четыре главных пункта, которые только и намеревался отстаивать. Этими пунктами были: Тифлис, Гори, Телави и Сигнах. Бурнашев сосредоточил в Тифлисе оба батальона и держал их в готовности двинуть туда, куда обратится главный удар неприятеля.

Малочисленность войск, расположенных на Кавказской линии, препятствовала подать оттуда какую-нибудь помощь Грузии, а между тем положение ее крайне беспокоило Потемкина. С восстанием Чечни и Кабарды сообщения с ней были прерваны, и находившиеся в Тифлисе русские батальоны казались обреченными на жертву.

Наконец, после долгого ожидания, шестнадцатого сентября 1784 года в Тифлисе получено было известие о появлении аварского хана на Алазани. Бурнашев тотчас передвинулся с войсками в Сигнах и предлагал

Ираклию немедленно атаковать лезгин на переправе их через реку. Но Ираклий не решился покинуть крепкую сигнахскую позицию. Тогда Омар-хан спокойно перешел Алазань и, не обращая внимания на грузинское войско, запершееся в крепости, стремительно пошел к Тифлису. Этот смелый маневр опрокинул все расчеты Ираклия, и ему пришлось форсированным маршем спешить на защиту столицы. Но едва Бурнашев подошел к авлабарскому мосту, как Омар переменил направление и кинулся вглубь Картли, неся с собой смерть и опустошение. Паника, вызванная им, была так велика, что грузинская конница не отважилась идти на разведки, а потому пришлось нанимать охотников за большую плату, чтобы добыть необходимые сведения. Эти охотники пробирались на горы, высматривали неприятеля издали, а потом, дождавшись ночи, возвращались к царю окольными путями. Понятно, что подобные люди могли доставлять только самые неверные сведения, и притом запоздалые, так как неприятель, пока они пробирались от вражеского лагеря к грузинскому, мог вдоль и поперек искрестить всю Грузию.

Наконец след неприятеля был найден. Аварский хан подошел к границам Имеретии и обложил Вахань, замок князей Абашидзе, нашедших средство известить об этом Ираклия. Русские батальоны немедленно были двинуты по тому направлению, а вслед за ними с разных сторон потянулось и царское войско. Когда Бурнашев дошел до Сурама, Омар все еще стоял перед Ваханью. Не будучи в силах взять замок приступом, он дважды пытался взорвать его, но без успеха. Тогда он предложил князю Абашидзе вступить в переговоры, но едва последний прибыл в ханскую ставку, как был задержан и объявлен пленным. Вероломный поступок Омара не

ослабил, однако же, энергии осажденных, которые продолжали защиту с прежним упорством. Русские войска были уже в одном переходе, когда Ираклий вдруг получил известие, что замок сдался. Оказалось, что храбрые защитники его принуждены были к тому видом жестоких мук, которым лезгины ежедневно на глазах гарнизона подвергали старого князя. Не желая видеть его мучений, ваханьцы отворили ворота и были наказаны за это самым жестоким образом: лезгины вырезали все население, а замок превратили в развалины. Падение Вахани так сильно поколебало решимость Ираклия, что план экспедиции расстроился, и он отдал приказ отступить. А лезгины, между тем, тоже оставили Картли и ушли, никем не преследуемые, оставив после себя страшные следы опустошения.

Вся Грузия лежала в развалинах и находилась в таком положении, в каком не была со времени разорения ее шах-Аббасом. Горесть царя усиливалась еще постоянными упреками царицы Дарьи, считавшей причиной новых бедствий Грузии вступление ее под покровительство России, которая, по ее мнению, никогда не могла оказать стране действительную помощь. Мнение царицы разделяли многие князья, и на Ираклия одного ложилась вся подавляющая тяжесть неблагоприятных обстоятельств.

Между тем, события второй турецкой войны сосредоточили все внимание России на берегах Дуная. Два батальона, оставленные в Грузии, не могли принести существенной пользы в случае нового вторжения неприятеля, а только сами легко могли пасть жертвой его. И так как усилить их решительно было нечем, то полковнику Бурнашеву приказано было оставить Тифлис и возвратиться на Линию. В то же время и все устроенные

Потемкиным укрепления по дороге в Грузию были уничтожены. Первая попытка России прочно утвердиться в Грузии окончилась, таким образом, неудачей. Но она не могла быть ничем иным, как предвестием близкого подчинения России всего Закавказья, которое скоро и совершилось при императоре Павле. «Остается только сказать: слава Богу, — говорит Фадеев в своих «Письмах с Кавказа», — что занятие совершилось именно в царствование Павла. Если бы промедлили три или четыре года, — справедливо замечает он, — то в первой половине царствования Александра, в период непрерывных европейских войн, решавших участь более близких государственных интересов, нам было бы, конечно, уже не до Кавказа, а с 1815 года всякое посягательство с нашей стороны на этот край вызвало бы на свет кавказский вопрос в размерах вопроса уже европейского».

ПОСЛЕДНИЕ БЕДСТВИЯ ГРУЗИИ

(Ага Мохаммед-хан)

В длинном ряду несчастий, испытанных Грузией в ее тысячелетней истории, последним было нашествие персидского шаха аги Мохаммеда в 1795 году; за десять лет перед тем Грузия вступила под покровительство России, Персия, до того времени заправлявшая судьбами ее, была сама обуреваема междоусобными раздорами, начавшимися с самого момента смерти Надир-шаха и возобновившимися с новой силой после дружеского Грузии Керим-хана. Сильнейший из претендентов, ага Мохаммед-хан, уже известный России своим вероломным поступком с Войновичем, становится в девяностых годах единым повелителем Ирана, и первым его делом было вспомнить Грузию и ее отторжение из сферы влияния шахов.

Ага Мохаммед-хан был несомненно одним из замечательнейших восточных государей, но несомненно также, что он был страшный человек, уже самой своей судьбой приготовленный к человеконенавистничеству. Некогда дед его, хан гилянский, был убит Надир-шахом, а сам он превращен в евнуха и обречен вести жалкую жизнь при дворе персидских шахов. И уже там развивались в его сердце ненависть и мстительность. Не имея возможности открыто заявить вражду, он, будучи еще ребенком, носил при себе нож и пользовался всяким случаем

резать во дворе богатые ковры и портить все, желая пока хоть этим вредить ненавистному шаху. И когда впоследствии драгоценности эти перешли в его руки, он, глядя на них, часто говаривал: «Жаль, что я тогда делал это, глуп был, не умел предвидеть будущего».

Наружность его, как ее описывают грузинские сказания, отражала его злой и мрачный характер. Маленький ростом, сухощавый, со сморщенным и безбородым лицом евнуха, ага Мохаммед-хан казался извергом. Ненависть и кровавая злоба, сверкающие в глубоко впавших глазах, свидетельствовали о противоестественных страстях, кипевших в его поблекшей душе. Он превосходил жестокостью всех бывших властителей Персии, и слово пощады, милости или человеколюбия никогда не срывалось с уст этого властителя-евнуха. В то же время это был человек необыкновенного ума, железной энергии и всепоглощающей гордости.

Одолев всех своих соперников, ага Мохаммед-хан заботился не о том, чтобы самому утвердиться на престоле, а чтобы возратить Персии все потери, понесенные ею во времена междоусобий; он дал обет до тех пор не принимать титула шаха, пока власть его не будет признана на всем пространстве обширного Ирана. И Грузии, которую шах, конечно, считал отложившейся своей провинцией, приходилось испытывать месть за сношения с русской державой. Личное неудовольствие шаха против Ираклия, осмелившегося разбить войска аги Мохаммеда, посланные взять Эривань, грозило еще увеличить бедствие. А Грузия, между тем, менее чем когда-либо была готова к защите. После торжественного вступления ее под покровительство России в 1783 году русские войска вскоре, по случаю турецкой войны, были отозваны, а в стране возникли раздоры. Ираклий был

женат три раза, и дети от двух последних браков царя под влиянием интриг царицы Дарьи внесли смуту в страну, споря о наследстве и подготавливая шаху шансы на более легкий успех. Шах вступил в сопредельные Грузии магометанские ханства, требуя покорности, и большинство их не смело противиться грозному властителю Ирана. Только один владетель Карабага, хан Ибрагим, наотрез отказался принять послов шаха и, укрепившись в Шуше, приготовился к отчаянной обороне.

Высоко, до самых облаков, поднималась гранитная шушинская крепость, построенная среди утесистых гор и скал, образующих между собой только узкий проход, который брать открытой силой было почти невозможно. С вершины отвесной скалы, где стоял ханский дворец, открывались великолепные виды: к югу взор обнимал далекое пространство, через лесистые горы и знойные долины, вплоть до Аракса, извивавшегося серебристой лентой у темной цепи Карабага; к северу сверкали громады снежных гор, обозначая пределы благословенной Грузии. И хан и карабагцы, справедливо гордясь неприступностью этого места, смеялись над хвастовством аги Мохаммеда-хана, сказавшего раз, что он нагайками своей кавалерии забросает шушинское ущелье.

Эпизод с карабагским ханом, однако, не надолго отсрочил кровавое нашествие. Ага Мохаммед-хан, видя невозможность овладеть непреступными твердынями Шуши, обошел ее стороной и двинулся прямо на Грузию. Ганжа и Эривань, составлявшие прямое достояние грузинского царя, стали под шахские знамена, и все, что встречалось на пути победоносных его войск, покорялось, а непокорное предавалось огню и мечу. Несмотря на то, Ираклий отверг все требования шаха и готовился к обороне.

Десятого сентября 1795 года ага Мохаммед-хан расположился лагерем в семи верстах от Тифлиса.

Авангард шаха, встреченный грузинами на Картсаниской равнине, был разбит наголову. Из Тифлиса полетели во все стороны гонцы с известием о победе. Народ ликовал, но радость была преждевременна, так как эта неудача передового отряда не помешала неприятелю на следующий же день идти на приступ к городу.

Будучи укреплен и имея на своих стенах до тридцати пяти орудий, Тифлис мог бы оказать персиянам серьезное сопротивление и, по крайней мере, отсрочить свое падение на некоторое время. Но внутренние смуты мешали необходимому в таких случаях единодушию: царицы, враждовавшие с отцом, не слушали призыва царя и не спешили из своих уделов на помощь столице. А в городе между тем была вызвана паника неосторожностью царицы. При страшной вести о нашествии врагов народ сначала собрался перед дворцом и умолял царя не оставлять город на истребление персам, обещая биться до последней капли крови, царь дал также обет умереть со своим народом, и поставлена была стража у всех ворот, чтобы никого не выпускать из города. Но царица по совету приближенных испросила позволение себе и десяти почетным семействам выехать из Тифлиса. Как только узнал о том народ, он подумал, что царь, спасая семейство, не надеется защитить столицу, и толпами бежал во все стороны, как можно дальше от театра военных действий. У Ираклия к началу обороны города не осталось и нескольких тысяч князей и тавадов.

Шах между тем думал, что Тифлис достанется ему недешево, и, чтобы заставить своих солдат непременно одержать победу, прибег к весьма оригинальному средству. Он постоянно водил за собой шесть тысяч конных

туркмен, ненавидящих персиян и, в свою очередь, ненавидимых ими. Связанные религией, но разделенные обычаями, эти два народа всегда чистосердечно и открыто презирали друг друга. Ага Мохаммед-хан воспользовался этим обстоятельством и, поставив туркмен в тыл своего войска, приказал им бить и умерщвлять каждого персиянина, которому пришла бы охота бежать. Этот приказ, приятный для туркмен, исполняем был ими с величайшей точностью. И персияне, имея позади себя верную смерть, конечно, не думали об отступлении.

Авангард грузин под начальством царевича Ионна, державшийся в течение нескольких часов на позиции, потерял много убитыми и стал уже отступать, когда на подкрепление к нему явился царевич Вахтанг, вытребованный Ираклием с отборными войсками из Пшавов и Хевсу. Тогда авангард возобновил сражение и, получив новую помощь, посланную царем, под начальством Мочабелова, сам перешел в наступление. Этот Мочабелов был в свое время известный поэт-импровизатор. Взяв свой чунгур, он пропел перед войсками несколько вдохновенных строф своей песни и кинулся вперед с такой стремительностью, что его отряд проник до самых персидских знамен, из которых многие и были взяты грузинами на глазах самого аги Мохаммед-хана. «Я не помню, – проговорил тогда властитель Ирана, – чтобы когда-нибудь враги мои сражались с таким мужеством». Он выдвинул вперед мазандеранскую пехоту, стоявшую до тех пор в резерве, и приказал ей идти на приступ. Ираклий, со своей стороны, ввел в дело последние немногочисленные резервы, и большая часть из них погибла в этой отчаянной борьбе с несоразмерно многочисленным неприятелем.

Сражение продолжалось с утра до позднего вечера. Три раза персияне были отбрасываемы от стен Тифлиса и три раза возобновляли приступ, пока наконец не заставили грузин начать отступление.

– Каждый из твоих подданных, – говорили царю его окружающие, – знает твою храбрость и знает, что ты готов умереть за отечество, но если суровая судьба уже изменила нам, то не увеличивай своей гибелью торжества неприятеля.

Царь никого не слушал, а между тем персияне заходили в тыл и, занимая все дороги, ведущие в город, грозили отрезать отступление. Тогда Ираклий с немой отчаянием бросился в битву и, наверное, погиб бы, если бы внук не спас своего знаменитого деда. С тремясками конных грузин царевич Иоанн кинулся в толпу персиян и вырвал царя почти из рук неприятеля.

С удалением Ираклия битва не прекратилась. Царевич Давид долго еще удерживал персиян в кривых и тесных улицах предместья. Но когда он увидел, что неприятельские толпы занимают город, уже покинутый царем, тогда и последний грузинский отряд удалился к северу с намерением пробраться в горы, куда отступил Ираклий.

Ага Мохаммед-хан овладел Тифлисом, и войска его преследовали бежавших грузин до самого Мцхета, в котором персияне не оставили камня на камне; и только знаменитый собор, этот памятник древнего величия Грузии, пощажён был благодаря заступничеству нахичеванского хана. «Не следует осквернять святыни и гробы царей», – сказал он своему отряду; храм остался нетронутым.

Тифлис, между тем, с его дворцами и великолепными христианскими храмами, был обращен в груды развалин.

Рассказывают, что ага Мохаммед-хан сначала пощадил так восторгавшиеся шах-Аббаса знаменитые тифлиские минеральные бани и даже купался в них, надеясь получить исцеление от своего недуга, но когда они оказались бессильными, он в гневе приказал разрушить и их до основания.

Жители Тифлиса подверглись неистовым жестокостям. Митрополит тифлисский заперся с духовенством в Сионском соборе, но персы выломали двери, сожгли иконостас, раскидали святыню, перебили священников и самого старца митрополита сбросили в Куру с виноградной террасы его собственного дома. Целых шесть дней, с одиннадцатого по семнадцатое сентября, персияне предавались в городе всевозможным неистовствам: насиловали женщин, резали пленных и убивали грудных младенцев, перерубая их пополам с одного размаха только для того, чтобы испытать остроту своих сабель. В общем разрушении не была пощажена и самая святыня. Персияне поставили на авлабарском мосту икону Иверской Богоматери и заставили грузин издеваться над ней, бросая ослушников в Куру, так что река скоро запрудилась трупами. Около двадцати трех тысяч грузин было уведено в рабство.

Историограф аги Мохаммед-хана говорит, что при разорении Тифлиса храброе персидское войско показало неверным грузинам образец того, чего они должны ожидать для себя в день судный.

Есть предание, что во время разорения Тифлиса пятьдесят жителей, не успевших бежать из города, отдались под защиту святого Давида, и на святой горе – быть может, даже в той самой пещере, где теперь стоит гробница Грибоедова – спаслись от смерти или плена. Персияне, разорявшие и грабившие город, по какому-то

необъяснимому обстоятельству ни разу не всходили на гору, увенчанную старинным монастырем, долженствовавшим, как бы кажется, привлечь собой алчных грабителей. Очень может быть, что они опасались найти там скрытую засаду; но как бы то ни было, святая обитель укрыла и спасла всех тех, которые в ней искали спасения.

Рассказывают также, что при взятии Тифлиса агой Мохаммед-ханом погиб знаменитый сазандарь (певец) Грузии Саят-Нова. Сто лет тому назад в стенах старого Тифлиса имя Саят-Нова было славно повсюду, от царского дворца до сакли ремесленника. Это был бедный армянин, ткач по ремеслу и сазандарь по призванию; в юности – разгульный певец, в старости – отшельник и, наконец, в минуту смерти – христианин, с крестом в руках убитый врагами на пороге церкви. Спустившись на майдан (базарную площадь в Тифлисе), вы увидите из-за плоских кровель синий конический купол армянской церкви, называемой Крепостной, потому что она помещалась когда-то внутри Тифлисской крепости. На дворе этой церкви, где теперь так часто собираются амкары для торговых сделок, в 1795 году зарыт окровавленный труп восьмидесятилетнего старца Саят-Нова. «Не ищите надгробного камня на его темной могиле, – говорит рассказчик этой легенды, – но знайте, что черты лица его и, быть может, звуки его голоса и до сих пор носятся, как смутный призрак давно протекшего, в памяти тех немногих тифлисских старожилов, для которых нашествие аги Мохаммед-хана еще не составляет предания». Когда Тифлис был взят, Саят-Нова молился в храме и, слыша приближение врагов, взял в руки крест и пошел к ним навстречу, желая остановить их на пороге. Два стиха, две звучных рифмы на татарском языке вылились из уст его:

Не о2зуплю о2 И, суса,
Не выйду , з церкв, .

И это были последние слова его.

Между тем два русские батальона, высланные с Кавказской линии Гудовичем, поспешно двигались под командой полковника Сырахнева на помощь к Ираклию, и весть о том, что они перешли уже горы, заставила шаха отступить от Грузии на Муганскую степь. Но русский отряд не пошел дальше Душета и после окончания похода графа Зубова возвратился в Георгиевск.

Разгромив Грузинское царство, ага Мохаммед-хан возвратился в Персию. Придворные убеждали его возложить на себя корону Ирана. Шах приказал собрать всех военачальников армии, вышел к ним, держа корону в руках, и спросил, желают ли они, чтобы она украсила его голову. «Вспомните, – сказал он, – что вместе с этим ваши труды только начнутся. Я никогда не соглашусь носить эту корону, если с ней не будет сопряжено владычество, какое еще не имел ни один из персидских монархов». Все обещали посвятить свою жизнь распространению могущества шаха. Тогда ага Мохаммед короновался. Но он все-таки отказался надеть драгоценную корону Надир-шаха, на которой четыре алмазных пера (челенги) знаменовали собой четыре покоренные этим завоевателем царства: афганское, индийское, татарское и персидское. Он возложил на себя только маленькую диадему, украшенную перлами, и опоясался царским мечом, хранившимся на гробе мусульманского святого, родоначальника дома Софиев, в Ардебиле. Туда персидские государи обязаны отправляться за священным оружием; меч кладут в гробницу и целую ночь молят святого, чтобы он благоволил к монарху, который будет носить его меч. Наутро шах опоясывается им, ополчаясь на защиту шиитской веры.

Ага Мохаммед-хан немедленно после того предпринял поход на Хороссан, где ханствовал в то время Надыр-Мирза, правнук ненавистного для аги Мохаммеда Надир-шаха. Нужно сказать, что по смерти последнего многие драгоценности перешли в руки его родственников, и между прочим – к слепому отцу хороссанского хана. Ага Мохаммед потребовал возвращения этих драгоценностей, объявив государственным преступником всякого, кто будет держать у себя вещи, составлявшие, по его мнению, государственную собственность, и теперь, идя на Хороссан, он собирался наказать одного из ослушников, а шахской казне возратить часть принадлежавших ей драгоценностей. Надыр-Мирза бежал, оставив престарелому и слепому отцу, шах-Року, сдать город повелителю Персии. Шах-Рок вышел навстречу с изъявлением покорности. Но здесь его ожидали страшные истязания – ага Мохаммед хотел узнать, где спрятаны сокровища. Шах-Рок умер под пыткой, указывая по мере усиления мучений все драгоценности, скрытые им в колодцах и в стенах. Когда же ему положили на голову венец из теста и в середину налили растопленный свинец, он указал и тот необыкновенной величины и красоты рубин, некогда бывший в короне, найти который особенно домогался шах. Затем ага Мохаммед приказал разрушить гробницу ненавистного ему Надир-шаха, окованную изнутри чистым золотом. Все найденные в ней богатства он взял в казну, а кости самого Надир-шаха приказал зарыть под крыльцом своего дворца в Тегеране. «Когда я попираю этот прах моими ногами, – говорил он, – раны моего сердца заметно облегчаются».

В Хороссане ага Мохаммед узнал о вторжении русских войск в пределы Персии. Императрица Екатерина, возмущенная и бедствиями Грузии, и самой личностью

шаха, отправила войска под предводительством графа Зубова, который успел завоевать Дербент, Шемаху, Баку, Сальяны и Ганжу. К сожалению, смерть императрицы оставила неоконченным так блистательно начатое дело.

Шах прекрасно понимал, какого врага имеет он в Русской империи, и ввиду предстоявшей борьбы принял план, который обещал ему наибольший успех. Собрав, как рассказывают, своих военачальников и объявив им, что русские осмелились вторгнуться в пределы его государства, он говорил: «Храбрые воины мои пойдут против них; мы нападём на стены, сгромаженные из пушек, на строи славной пехоты – и разрубим их на части нашими победоносными мечами».

Начальники одобрили геройскую решимость шаха и обещали не жалеть своей крови. Но когда они разъехались, шах призвал первого министра и спросил, слышал ли он слова, сказанные им войсковым начальникам. Министр ответил, что слышал.

– И ты думаешь, что я поступлю, как говорил?

– Без сомнения, если это угодно будет повелителю.

– Хаджи, – сказал тогда гневно ага Мохаммед, – неужели я ошибся? Неужели и ты так же глуп, как и прочие? Такой умный человек, как ты, мог ли подумать, что я подставляю свою голову под их железные стены и допущу истребить мою неправильную армию их артиллерией и благоустроенными войсками? Я знаю лучше мое дело. Никогда русские пули меня не достигнут, и русские могут владеть только тем, что будет находиться под огнем их артиллерии. Им некогда будет дремать, и они могут идти куда пожелают, но я везде оставляю им одну пустыню.

Шаху не пришлось, однако, применить свой план: русские войска ушли. Внезапное отступление их несказанно

обрадовало агу Мохаммеда, и он тотчас же отправил в Грузию фирман, «которому должна повиноваться вселенная».

«Россияне, — писал он, — всегда промышляли торгом и купечеством, продавали сукна и кармазин, но никто и никогда не видал, чтобы они могли употреблять копье или саблю. Так как они отважились ныне войти в пределы областей, состоящих под нашей державой, то мы высочайшие мысли наши устремили в ту сторону и обратили счастливейшие знамена наши на то, чтобы их, наказав, истребить. Они же, узнав о таком нашем намерении, бежали в свою гнусную землю».

Мстителный шах не думал оставить безнаказанным вторжение русских, и в 1797 году вся Грузия была снова встревожена известием о движении к ее пределам аги Мохаммеда. К счастью, гроза разразилась только над одним Карабагом. Грозный властитель Персии не мог забыть оскорбления, нанесенного его достоинству ничтожным ханом шушинским, который осмелился не признать его власти, и многочисленное персидское войско прежде всего появилось на Араксе и начало разорять карабагскую землю. Ибрагим, хан шушинский, оставив свои владения, со всем семейством и несколькими беками бежал. Две тысячи всадников, под начальством лучших военачальников, были посланы в погоню за Ибрагимом; они настигли его на переправе через реку Тертер, но хан, после упорного дела, разбил персиян и успел скрыться в горах.

Тогда ага Мохаммед занял без боя столицу Карабага Шушу и поселился в прекрасном ханском дворце в одной небольшой комнатке, недоступной для постороннего взора. Угрюма была эта комната шаха, без всякого убранства и мебели. Лишь на полу разостлан был богатый ковер, чтобы предохранять ногу властелина от жесткого

прикосновения к каменным плитам, да у стены стояла знаменитая в то время походная кровать, служившая шаху и постелью, и трон. Густо усеянная жемчугом и драгоценными камнями, ткань покрывала кровать вплоть до пола, а посередине дорогого одеяла было оставлено незашитое поле из пурпурного бархата, обозначававшее место шахского сиденья. Тут обыкновенно восседал шах с поджатыми под себя ногами, одетый в широкую шубу, крытую богатой шалью красного цвета.

Перед дворцом толпились персияне, а на площади стояла бивуаком шахская гвардия. Все было тихо, все боялось нарушить спокойствие повелителя и потревожить его чуткое ухо. Между тем Шуше суждено было сделаться местом гибели жестокого шаха. Вот как передают об этом местные предания.

Был уже восьмой день со времени занятия Шушинской крепости. Вечером, когда ага Мохаммед молился, в комнату его вошел Садых-хан, начальник всей персидской кавалерии, и молча встал у порога. Шах прервал молитву, лицо его было зловеще.

— Как ты осмелился, раб, явиться передо мной незванный! — спросил он Садыха.

— Недостойный раб твой исполняет волю своего повелителя, переданную мне устами Сафар-Али, — ответил тот и низко поклонился.

Шах позвал Сафара.

— Когда я тебе приказывал звать Садых-хана?

— С полчасика тому назад.

— Лжешь, собака! — вскричал ага Мохаммед и направил дуло пистолета прямо в грудь своего нукера, но тотчас же опустил его...

— Не дерзнет червь ничтожный лгать перед Богом небесным и перед солнцем его земным! Может быть,

злой дух обманул мое ухо, и я не понял приказаний моего повелителя.

– Если уши твои не умеют слушать, так они мне не нужны... Ступай! Пусть их отрежут!

Над Сафар-Али немедленно исполнили приговор.

Наступила ночь. В комнате шаха слабо мерцала серебряная лампада. Он лежал на кровати и не спал. Вдруг ему показалось, будто слышатся шепот и тихие рыдания. Тревожно он окликнул своих нукеров. Вошли двое: Сафар-Али, с головой, обвязанной окровавленными платками, и Аббас-бек, оба испуганные, бледные.

– Ты смеешь плакать, как женщина, – сказал шах Сафару, – когда тебе должно радоваться великой милости, даровавшей тебе жизнь! А ты, Аббас, осмелился разговаривать около спальни и мешать моему сну!.. Вы оба лишние на земле, и с восходом солнца падут ваши головы. Есть еще несколько негодяев, подобных вам. Завтра я наряжу страшный суд над всеми, и из черепов ваших сооружу минарет, выше Шамхорского. Слышали? Ступайте!

Была ночь на пятницу, обыкновенно посвящаемая молитве, и шах по необходимости должен был отложить исполнение приговора до утра. Уснул он, но не спали нукера, знавшие, что приговор шаха бесповоротен. непонятно, каким образом приговоренные к неизбежной смерти служители остались на ночь при шахе, и слух о повреждении рассудка его, быть может, и имеет некоторые основания. Нукерам приходилось или покорно ожидать казни, или порешить с шахом, и они решились на последнее. Вооруженные кинжалами, они тихо вошли в коридор и остановились перед шелковым занавесом, закрывавшим вход в шахскую опочивальню. Глубокая тишина свидетельствовала о крепком сне повелителя.

Осторожно и без шума вошли двое убийц и стали у кровати. Блеснул кинжал и глубоко вонзился в грудь спящего шаха.

Он приподнялся, остановил на убийцах угасающий взор и произнес: «Несчастный! Ты убил Иран!» – и голова его безжизненно упала на подушку.

Убийцы вынули драгоценные камни из короны шаха и бежали в Нуху, под покровительство текинского хана; отсюда и возникло не лишнее вероятие предположение, что преступление совершилось вследствие подкупа хана – их покровителя. Когда весть о смерти шаха распространилась в лагере, приближенные его уже успели расхитить шахские сокровища, и войска, dokonчив дело грабежа, в беспорядке оставили Карабаг и ушли в Персию.

Голова аги Мохаммеда была отрезана и отправлена к карабагскому хану Ибрагиму, который со всеми подобающими почестями похоронил ее в Джарах. Обезглавленное же тело шаха отправлено им в Тегеран, где и погребено среди властителей Персии.

Так совершилась судьба аги Мохаммеда.

Со смертью его связана история гибели знаменитого карабагского поэта Вакафа, жившего в Шуше во время нашествия. Не успев бежать вместе с Ибрагимом, он был захвачен неприятелем и попал в руки кровавого врага своего, аги Мохаммеда.

Рассказывают, что еще во время первого нашествия на Шушу ага Мохаммед приказал пустить в карабагский стан стрелу, к которой был прикреплен лоскут бумаги со следующими стихами: «Из небесной камнеметательной машины бросаются бедоносные камни, а ты по глупости защищаешься от них в стеклянной крепости...»

Стрела от Ибрагим-хана принесла ему такой ответ: «Если Тот, в Кого я верую, мой Хранитель, то Он

сохранит и стекло под мышцей камня». Ага Мохаммед спросил, кто автор этих стихов, и ему назвали Вакафа; он поклялся убить его, как только Шуша будет взята.

Теперь несчастного поэта вместе с другим карабагцем везли на грозную расплату. Но поэт был спокоен. В каком-то предвидении будущего он обратился к товарищу своего несчастья и сказал: «Друг мой, предсказываю тебе, что я никогда не увижу аги Мохаммеда и ничего дурного от него не перенесу; за тебя же ручаюсь».

Вечером их привезли в Шушу, и шах приказал немедленно казнить карабагца, а Вакафа посадить в тюрьму, чтобы наутро предать мучительнейшей смерти. Но в эту самую ночь он пал под ножом Сафар-Али – и Вакаф получил свободу.

Но беда грозила поэту там, где он ее не предвидел. Воспользовавшись отсутствием законного хана, племянник Ибрагима, Мухаммед-бек, задумал овладеть Карабагом. Вакаф был из числа немногих, не согласившихся изменить старому хану, и был казнен вместе с сыном. За воротами Шушинской крепости, на высоком холме, где совершались народные празднества, и поныне еще указывают их общую могилу.

Ага Мохаммед погиб. А в следующем, 1798 году, одиннадцатого января, умер и Ираклий, вынеся в глубокой старости тягчайшие испытания.

Существует трогательный рассказ о пребывании царя в полуразрушенном старинном Ананурском монастыре, когда разбитый и всеми покинутый, он должен был искать в нем убежища. «В ветхой келье, стоявшей в углу монастырской ограды, – говорит этот рассказ, – можно было видеть старика, сидевшего лицом к стене и покрытого простым овчинным тулупом. Это был царь Грузии Ираклий II – некогда гроза всего Закавказья. Подле него находился старый слуга-армянин.

– Кто там сидит в углу? – спрашивали проходившие люди.

– Тот, которого ты видишь, – со вздохом отвечал армянин, – был некогда в большой славе, и имя его уважалось во всей Азии. Он был лучшим правителем своего народа, но старость лишила его сил и положила всему конец и преграду. Чтобы отвратить раздоры и междоусобия в семействе, могущие последовать после его смерти, он думал сделать последнее добро своему народу и разделил свое царство между сыновьями. Несчастный Ираклий ошибся. Ага Мохаммед, бывший евнухом Кули-хана, Надир-шаха в то время, когда Ираклий носил звание военачальника Персии, пришел теперь победить его немощную старость. Собственные дети отказались ему помочь и спасти отечество, потому что их было много и всякий из них думал, что будет стараться не для себя, а для другого. Царь Грузии принужден был прибегнуть за помощью к царю Имеретин, но если ты был в Тифлисе, то видел весь позор, какой представляло там имеретинское войско. Ираклий с горстью людей сражался против ста тысяч и лишился престола оттого, что был оставлен без жалости своими детьми. И кому же на жертву? Евнуху, человеку, который прежде раболепствовал перед ним. Померкла долголетняя слава его, столица обращена в развалины, а благоденствие народа – в погибель. Вот под этой стеной видишь ты укрывающегося от всех людей славного царя Грузии без помощи и прикрытого только овчиной. Царедворцы и все находившиеся при нем ближние его, которых он покоил и питал на лоне своем во всем изобилии, оставили его; ни один из них не последовал за своим владыкой, кроме меня, самого последнего его армянина».

Грустная повесть Ираклия невольно вызывает в вас представление мрачной эпохи, в которой величавый гений

Шекспира нашел величественный образ другого короля-страдальца, несчастного Лира, также разделившего свое царство и также испытавшего всю неблагодарность тех, кто всем был обязан ему. Но Шекспир – великий летописец навсегда минувших средних веков, а на Кавказе это совершалось почти на наших глазах.

По удалении аги Мохаммеда Ираклий возвратился в Телави, служивший ему любимым местопребыванием после Тифлиса. С Телави соединялись лучшие воспоминания всей его жизни. Там, будучи еще царственным юношей, он приобрел себе военную славу покорением лезгин, Ганжи и Эривани, и долго после того всему Закавказью было известно, что этот бедный Телави – резиденция грозного царя Кахетии, которому суждено было впоследствии соединить под своей властью целую Грузию. И вот прошли пятьдесят два года царствования Ираклия, и он опять возвращается в тот же Телави, но только для того, чтобы покончить здесь остаток своих дней, когда звезда его угасла, и он, удрученный годами и горем, не имел сил смотреть на пепелище Тифлиса.

Грустно протекли последние дни престарелого венценосца. Лишенный наружного величия и блеска, он умер среди народного плача, стоявшего тогда над целой Грузией, еще не успевшей оправиться от вторжения в нее аги Мохаммеда.

В старинном, некогда столичном городе Мцхете, в соборе Двенадцати апостолов, как раз напротив царских дверей, лежит и поныне простая мраморная плита, указывающая место, где успокоились кости царственного труженика. Отчетливо сохранившаяся надпись на камне гласит: «Здесь покоится царь Ираклий, родившийся в 1716 году, который взошел на престол кахетинский в 1744, на картлийский – в 1762 и который скончался

в 1798 году. Дабы передать потомству память о сем государе, царствовавшем со славой в течение пятидесяти четырех лет, именем Его Императорского Величества Александра I, главнокомандующий в Грузии Маркиз Пауллуччи соорудил ему сей памятник в 1812 году.»

Грузинский народ помнит своего венценосного страдальца, представляя его себе героем, лишь в силу исторических обстоятельств поставленного лицом к лицу с бедствиями войны и поражения. Одна из народных грузинских песен, отражающая народную любовь к нему, говорит: «Пусть не страшит тебя старость, подними твой меч, грянем на врагов и обратим их в бегство. Но если Бог попустит неверных разорить твою добрую столицу, иди к нам и знай, что мы, горцы, стоим за тебя; тушины, пшавы и хевсуры положат головы за тебя, послужим тебе до конца. Посмотрим, кто будет после тебя Ираклием!»

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГРУЗИИ (Кнорринг и Лазарев)

По смерти Ираклия II Грузия, только что выстрадавшая погром аги Мохаммеда, осталась в самом бедственном положении, находясь снаружи под угрозой вторжения турок, персов и лезгин, а внутри раздираемая смутами и борьбой за престолонаследие. Законным наследником Ираклия остался старший сын его от второго брака, Георгий XIII, уже с давних пор по праву царь картлийский. Еще дед его, Теймураз, уезжая в Петербург, передал царевичу Георгию скипетр Картлийского царства, опоясал его царским мечом и возложил на него крест с частицами животворящего древа на золотой цепи, украшенной драгоценными камнями и жемчугом, и эта передача совершалась торжественно, в Мцхетском соборе, в присутствии духовенства, князей и дворян Картли. Но, как известно, Ираклий присоединил тогда и Картли под свое непосредственное управление.

Георгий наследовал лучшие свойства своего отца и мог бы доставить благоденствие стране, не поставленной в столь тяжкие условия, как Грузия. Будучи царевичем, он пользовался уже большой популярностью, которую увеличила еще его первая жена, заслужившая редкую народную привязанность. Георгий женился двадцати одного года от роду на тринадцатилетней Кетевани, дочери казахского моурава Андроника-Швили, при обстоятельствах несколько романтического характера.

Рассказывают, что когда Георгий посетил Кахетию и был в гостях у моурава, случилась тревога: лезгины показались на Алазани. Молодой Реваз Андроник во время преследования неприятеля был ранен в колено, но имел мужество выказать это только по возвращении домой. Георгий был в восторге от легендарной храбрости и благородного характера князя и тут же просил руки Кетевани, его сестры, так как отца девицы тогда в живых уже не было. Эта невеста Георгия и была та самая неустрашимая героиня, упоминаемая грузинскими летописцами, которая, следуя в Картли в сопровождении трехсот кахетинских всадников, имела значительную стычку в Гартискарских теснинах с сильной лезгинской партией. Неустрашимая девушка сама начальствовала тогда отрядом и разбила лезгин, трижды укреплявшихся. Когда после того она прибыла в Тифлис, Ираклий принял ее с большим торжеством, пушечной пальбой и иллюминацией. Это было в 1778 году. Брак царевича торжествовала вся Грузия, но, к сожалению, Георгий не долго наслаждался своим семейным счастьем. Через четыре года Кетевань скончалась. С большой пышностью, как рассказывают о том современники, совершилось погребение безвременно угасшей царевны, составлявшей красу царского дома и гордость грузинского народа. Георгий пожелал предать ее тело земле в монастыре Гареджийской пустыни. Был июнь; печальная весть пронеслась по целой Грузии, и народ со всех сторон начал стекаться на погребение любимой царевны. Три митрополита со своими знаменами и хоругвями встретили усопшую на самой границе Гареджийской лавры. Плач и рыдания, сливаясь со звуками печальных погребальных гимнов, раздавались по всей безмолвной степи Караясской, населенной лишь быстрыми джейранами. Отшельники, с раннего детства покинувшие мир и его суету, глядели

изумленными очами на это внезапное проявление житейского шума, сопровождаемого царской пышностью. Но не долго развлекался их непривычный слух – медленно подвигавшиеся бранные останки усопшей красноречиво говорили им о тщете всего земного, о конечном исходе силы и славы человеческой.

Тогда-то, говорят, Ираклий, в порыве печали, произнес над гробом усопшей пророческое слово: «Вот когда погиб дом мой!»

Георгий вдовел не долго и в том же году женился во второй раз на княжне Марии Цициановой, блиставшей тогда красотой, но не имевшей, как увидим, того благотворного влияния, каким отличалась так рано скончавшаяся царевна Кетевань, любимица Грузии.

Вступив на престол, Георгий не имел достаточной силы и твердости противостоять процветавшей кругом него внутренней смуте. Его мачеха, царица Дарья, заставившая еще Ираклия разделить все царство на уделы не в пользу Георгия и его потомства, теперь сделалась центром интриг и строила козни с целью вовсе устранить от престола потомство Георгия. Она и сыновья ее не хотели признавать верховной власти царя и искали покровительства в Персии.

В этих трудных обстоятельствах, чтобы успокоить наконец родину, истомленную непосильной борьбой с врагами, и вместе с тем предвидя всю трудность удержать престол за своим домом, Георгий просил императора Павла I принять Грузию в вечное русское подданство и прислать войска для защиты ее от врагов и внешних, и внутренних.

Император повелел командующему Кавказской линией, генерал-лейтенанту Кноррингу, отправить в Тифлис семнадцатый егерский (ныне Лейб-Эриванский) полк,

под командой генерал-майора Лазарева. Вместе с полком, осенью 1799 года, для постоянного пребывания в Грузии в качестве полномочного министра, отправился и статский советник Коваленский, везший царю корону и прочие знаки царской инвеституры, так как все драгоценные регалии, употреблявшиеся при коронации грузинских царей, были похищены во время нашествия аги Мохаммеда.

Несмотря на позднее время года, на стужу и снеговые метели, свирепствовавшие на перевале через Главный Кавказский хребет, полк благополучно совершил трудный поход и двадцать шестого ноября, в самый день тезоименитства Георгия, подошел к Тифлису. Встреча его сопровождалась необычайной торжественностью. Сам царь, вместе с наследником престола, царевичами и многочисленной свитой, принял его с хлебом и солью за городской заставой. Полк сделал при этом, как доносил Коваленский, «фигуру преизрядную» и вступил в Тифлис при громе пушек и колокольном звоне. Весь путь, по которому двигался полк, и самые улицы города были запружены массой народа, а окна и плоские кровли тифлиских домов усеяны зрителями. Народ ликовал сердечно и искренне.

Справедливость требует, однако, сказать, что, несмотря на столь радушный прием, положение русского полка в Тифлисе, особенно на первых порах, было до крайности печально. Благодаря беспорядкам и злоупотреблениям в грузинской администрации, солдаты встречали нужду в самом необходимом, не только не имели квартир, но по несколько дней оставались даже без дров и без пищи. Лазарев лично говорил об этом царю, но распоряжения последнего никем не исполнялись. «Здесь все идет, как у нас в присутственных местах, – писал по этому поводу Лазарев Кноррингу, – там все завтра, а здесь икнеба, то есть «будет», но от этого ничего не бывает».

С приходом полка Тифлис начал готовиться к торжественному дню коронации последнего грузинского царя, Георгия XIII.

За несколько дней все царские регалии были перенесены из дома Коваленского в царский дворец при огромном стечении народа, с изумлением смотревшего на невиданную ими пышность церемонии. Окруженные почетным конвоем, русские чиновники и офицеры, имея по сторонам ассистентов, несли малиновый бархатный трон, украшенный массивными золотыми кистями, царское кресло, белый государственный штандарт с изображением двуглавого российского орла, богатое горностаевое платье, присланное царице Марии вместе с бриллиантовым букетом, государственный меч, царскую порфиру с вышитыми на ней грузинскими и русскими гербами, корону, скипетр и державу, осыпанные драгоценными камнями, и, наконец, три бриллиантовые ордена, из которых Андреевский предназначался самому Георгию, Екатерининский – царице Марии и Анненский – наследнику престола царевичу Давиду. В заключение всего на серебряном блюде несли Высочайшую грамоту, которой Георгий утверждался на грузинском престоле.

Едва окончилась процессия, как девять пушечных выстрелов с Метехского замка дали знать народу, что началось парадное шествие русского министра.

Имея впереди себя секретаря посольства, державшего в руках кредитивную грамоту от императора Павла I, и предшествуемый царскими церемониймейстерами, тифлисскими властями и хором музыкантов, Коваленский ехал верхом в парадной одежде на богато убранном коне, по сторонам которого шли грузинские чиновники, а сзади, замыкая шествие, двигался блестящий конвой, составленный из царских телохранителей. У самого

дворцового подъезда Коваленский был встречен важнейшими сановниками грузинского царства и в сопровождении их вошел в приемную залу, где ожидал его Георгий, окруженный министрами и царедворцами.

После короткой приветственной речи к царю Коваленский торжественно возвестил, что Всероссийский император Павел I принимает Грузию под свой высочайший кров и утверждает Георгия законным преемником грузинского царства, а старшего сына его, светлейшего царевича Давида Георгиевича, будущим по нем наследником. Затем последовала церемония передачи знаков царской инвеституры.

«Исполненный благоговейных чувств к государю, моему повелителю, – сказал тогда Георгий, – я почитаю возможным принять эти знаки царского достоинства не иначе, как учинив присягу на верность императору и на признание его верховных прав над царями Кахетии и Картли. Но я желаю, – прибавил Георгий, – чтобы этот обряд был совершен торжественно, в храме Божьем, с приличным празднеством и великолепием».

«Долгом моим, – почтительно ответил Коваленский, – будет присутствовать при священном короновании вашего высочества и отдать вам, как государю, приличные почести от русских войск, которые прибыли в вашу столицу на всегдашнее пребывание».

Окончив речь, Коваленский передал Георгию Высочайшую грамоту и поднес знаки ордена Андрея Первозванного, которые царь тотчас же возложил на себя. Поздравив Георгия, министр просил позволения передать Анненский орден наследнику Грузии царевичу Давиду и остальные подарки прочим лицам царской фамилии.

Царица Мария, не присутствовавшая при церемонии, приняла Коваленского во внутренних покоях, отменив

на этот раз утвердившийся в Грузии азиатский обычай, предписывающий лицам женского пола не показываться мужчинам без покрывала. Царица встретила министра, окруженная многими дамами в богатых платьях, с откинутыми назад покрывалами. После обычного приветствия Коваленский поднес ей бриллиантовый орден св. Екатерины и, по просьбе Георгия, сам возложил его на царицу.

Двенадцатого декабря, в день, назначенный для коронации царя, опять съехались во дворец все знатные грузинские и русские особы. Предшествуемый придворными чинами, несшими перед ним корону и скипетр, царь отправился в церковь вместе со своей супругой, которая была одета в русскую горностаевую мантию. За ними, немного позади, шел Коваленский рядом с наследником престола, а далее – прочие члены царской фамилии, князья, министры и сановники.

После обедни Георгий приказал прочесть Высочайшую грамоту, утверждающую его на престоле, и принял присягу на верное подданство русским государям. По окончании обряда, сопровождавшегося торжественностью, Георгий возложил на себя знаки царской инвентуры и возвратился во дворец, где, сидя на троне, принял поздравления от русского министра и сословных представителей грузинского народа.

Так совершился акт добровольного подчинения Грузинского царства Российской империи.

Не лишнее будет прибавить, что присоединенная к России Грузия заключала в себе в то время Картли, Кахетию и часть Сванетии, делившейся на Триолетскую и Барчалинскую области; Грузии же принадлежали тогда Казахская, Бомбакская и Шамшадальская провинции, населенные татарами, и земли горских народов: осетин, тушин, пшавов и хевсуров.

Признание наследственных прав на престол исключительно в роде Георгия было совершенно противно видам и желаниям вдовствующей царицы Дарьи и ее детей. И вот, в то самое время, когда Георгий и Давид присягали на верность императору Павлу и весь народ грузинский ликовал на улицах Тифлиса в надежде лучших дней, старая царица подбирала себе сообщников и старалась увеличить партию недовольных. И партия эта росла благодаря розни и неурядицам, царившим в высших правительственных сферах Грузии.

Георгия окружали теперь два представителя России, к сожалению, совершенно различные по характеру и нравственным качествам. Во главе войска, присланного на защиту царя, стоял генерал-майор Лазарев, человек прямой, открытый и честный, еще до назначения в Грузию успевший снискать общее расположение своим благородным характером. Его военная карьера сделана была без протекций и покровительств, и ею он был обязан только личным достоинствам. Происходя из родовых дворян и начав свою службу в 1775 году капралом конной гвардии, Иван Петрович Лазарев едва через девять лет добился офицерского чина. Но с этих пор зато начинается его быстрое служебное возвышение. Отличия, выказанные им в финляндской войне, потом на Кавказе при штурме Анапы и взятии Дербента, обратили на него такое внимание начальства, что когда, по повелению императора Павла, в 1797 году, из частей Кубанского и Кавказского егерских корпусов сформирован был новый семнадцатый егерский полк, Лазарев назначен был его шефом и на четырнадцатом году офицерской службы произведен в генералы. Суровый воин, привыкший довольствоваться малым, Лазарев высоко и честно держал русское знамя в чужой земле и внушал грузинам неволь-

ное уважение к русскому имени. Напротив, его товарищ, Коваленский, представитель политики и внутреннего управления царством, был человек нечистосердечный, склонный к искательствам и мелко честолюбивый. Опутывая царя тонкой сетью интриг, он вмешивался во все его распоряжения и ставил на первый план личные свои интересы. Его характер ясно обрисовывается следующим фактом: узнав, что царь назначил Лазареву равный с ним оклад столовых денег, по десяти рублей в сутки, он почел возможным заметить царю несообразность подобного назначения и настоятельно требовал себе, как представителю государя, двойного оклада. Лазарев, очевидно возмущенный такой наглой и мелочной претензией, вовсе отказался от своего содержания, и Коваленский, не имевший уже более повода к жалобам, должен был остаться при своих десяти рублях. Тогда он потребовал, чтобы ему, как представителю России, войска отдавали почести. Лазарев ответил, что «по уставу штатским чести не положено» и что «о подчинении его, командующего войсками Грузии, гражданскому чиновнику не может быть и речи».

Начались пререкания и споры. А царевичи пользовались этим и волновали народ, накликаая на Грузию новые беды со стороны ее исконных врагов, персиян и лезгин.

Один из братьев Георгия, Александр Ираклиевич, оставленный новым царем без удела, потребовал себе Казахскую провинцию, которая по грузинскому обычаю не могла принадлежать никому, кроме самого царя. Получив отказ, Александр, живший в Шулаверах, откочевал к турецкой границе, а оттуда тайно перебрался в персидский лагерь, где ему оказали самый радушный прием. Узнав об этом, вдовствующая царица и ее сыновья также начали искать покровительства персиян, которые только

и ждали случая, чтобы вмешаться в дела Грузинского царства. Для Персии все это было чрезмерно важно потому, что правитель ее, Баба-хан, ставший после смерти аги Мохаммеда шахом, не мог быть признан в этом звании подвластными ему народами до тех пор, пока в торжественный день коронации они, по обычаю, не увидели бы подле своего властителя в числе прочих валиев и грузинского царя, стоящего с шахским мечом у подножия трона*.

Скоро в Тифлисе явилось и персидское посольство. Георгий принял его не во дворце, а в доме русского министра, стоя под большим портретом императора Павла, у подножия которого поставлен был грузинский трон со сложенными на нем короной, скипетром и державой, а по сторонам грузинские сановники держали порфиру и царский штандарт.

На заявление персидского посла, что он желал бы иметь секретное свидание с царем, Георгий ответил, что, находясь под покровительством России, он ни в какие секретные переговоры без русского министра вступать не желает. Тогда посол объявил ему прямо, что шах, считая Грузию древним достоянием своих предков, требует полного ее подчинения себе и что «царю остается только покориться, чтобы не подпасть горшей против прежней участи».

— Я не могу не удивляться вашим словам, — ответил на это Коваленский, — вы как будто совершенно забыли о том покровительстве, которое русский император оказывает Грузии.

* Всех валиев, или наместников персидских, было четыре, и из них во время коронации: гурджистанский (грузинский) обязан был держать шахский меч, арабистанский — драгоценное перо из шапки, заменяющее собой корону, лориستانский — порфиру и курдиستانский — особое украшение, состоящее из двух убранных алмазами перевязей.

– Я об этом помню, – ответил посланник, – но даю советы единственно из усердия к царю, потому что неприятель приближается уже к границам его владений.

– Россия, – возразил Коваленский, – не имеет у себя в здешних странах неприятелей, но с теми, кто дерзнет восстать против покровительствуемых ею народов, она сумеет управиться.

На этом переговоры окончились.

Между тем измена царевича и домогательства шаха дали Георгию справедливый повод опасаться нового нашествия, тем более что неприятель вошел уже в Эриванскую область и распускал слух, что идет на Тифлис с единственной целью возвести на престол царевича Александра.

Чтобы успокоить встревоженных жителей, Георгий обратился к императору Павлу с просьбой о помощи, и государь приказал отправить к нему с Кавказской линии еще Кабардинский пехотный полк, под командой генерал-майора Гулякова.

Прибытие полка было как нельзя более кстати, потому что Тифлису действительно угрожала серьезная опасность со стороны Омар-хана аварского, того самого, который несколько лет назад разорил всю Грузию и теперь с двадцатитысячным скопищем горцев опять приближался к границам Кахетии.

Омар был человек предприимчивый, отважный и храбрый до дерзости. Собственные его владения были невелики, но велико было то значение, которым он пользовался во всем Дагестане, где по малейшему знаку его поднимался весь сброд горских хищников, слепо веривших в неизменное счастье своего любимого вождя.

Известие о приближении Омара произвело всеобщее смятение в Грузии. Но в то время как самая столица

готовилась уже искать спасения в бегстве, Лазарев и Гуляков с двумя батальонами русской пехоты поспешно двигались навстречу неприятелю. В Сигнахе к отряду присоединилась грузинская милиция царевичей Баграта и Иоанна, в три тысячи человек, и пятого ноября 1800 года Лазарев уже стоял в шести верстах от неприятельского стана. Но Омар ночью обошел русский лагерь и двинулся прямо к Тифлису. Тогда ближайшей дорогой и форсированным маршем Лазарев опять обогнал лезгин и на рассвете седьмого ноября снова очутился перед ними на противоположном берегу реки Иоры, недалеко от кахетинской деревни Кагабети.

Столкновение было неизбежным, и лезгины, переправившись через Иору, с неистовым гиком бросились на русский отряд, но залп и картечь встретили их так удачно, что «немалое число от сего приема начало лбами доставать земли и доискиваться в оной мнимых прав, которых Омар-хан был сильным поборником», – как писал впоследствии Лазарев генералу Кноррингу.

Целый день продолжалась битва, и эта первая решительная встреча горсти русских войск с пятнадцатитысячным скопищем кавказских горцев в пределах Грузии стоила непобедимому до тех пор Омар-хану аварскому решительного поражения. Так как сражение окончилось ночью, то только на следующее утро глазам победителей открылась истинная картина страшного побоища, испытанного неприятелем. Камыш, кустарники и рвы наполнены были трупами; по всему полю солнечные лучи освещали траву, обогренную кровью; а за рекой стоял еще неприятельский стан с развевающимися знаменами и пестрыми палатками, но он был пуст и мертвенно недвижим: неприятель бежал, не успев ничего спасти из своего имущества. Потери лезгин простирались свыше

двух тысяч человек. Сам Омар-хан получил тяжелую рану и вскоре умер. Какой-то старшина Искандер был убит, и голова его вместе с громадной головой другого лезгинского богатыря из Дженгутая, как драгоценные трофеи боя, были повержены грузинами к ногам русского военачальника.

Сражение на Иоре навсегда останется памятным в летописях кавказской войны. Оно замечательно не упорством боя, так как потеря со стороны русских оказалась сравнительно незначительной, но решимостью начальников, отважившихся с небольшим отрядом вступить в бой с огромным скопищем лезгин, славившихся своей необычайной храбростью.

Большое счастье, что во главе горсти русских людей, пришедших тогда в Грузию, стояли такие генералы, как Лазарев и Гуляков, имена которых никогда не будут вычеркнуты из славных военных летописей России. Оба они оказались достойными носителями русского имени, и оба впоследствии запечатлели своей кровью братскую помощь, оказанную Грузии. Лазарев погиб в Тифлисе девятнадцатого апреля 1803 года, а Гуляков убит за Алазанью спустя несколько месяцев после смерти своего боевого начальника и друга.

«Лазарев и Гуляков, Кабардинский и Эриванский полки — это первые камни того фундамента, — говорит Зиссерман, — на котором построилась вся вековая слава геройской кавказской армии».

Понятно, что громкая победа, одержанная при подобных условиях, сразу доставила русским в крае высокое нравственное влияние, а это влияние было важно особенно потому, что без него, с ничтожными средствами, какими тогда располагали русские в Закавказье, они, конечно, не могли бы там удержаться.

Император Павел пожаловал за эту победу обоим царевичам, Лазареву и Гулякову командорские кресты ордена св. Иоанна Иерусалимского, а нижним чинам, участвовавшим в бою, по рублю на человека.

Царь Георгий, несмотря на болезнь, сам выехал на встречу отряду, возвращавшемуся в Тифлис, и, сойдя с богато убранного коня, убедительно просил генерала Лазарева принять этого коня в дар и въехать на нем торжественно в город.

К сожалению, это был последний выезд Георгия. Простудившись при встрече войск, он окончательно слег в постель, и врачи не подавали никакой надежды на его выздоровление. Между тем для всех было ясно, что немедленно по кончине Георгия в Грузии начнется междоусобная война между сыновьями и братьями умершего царя и что последние охотнее увидят Грузию даже присоединенной к России, чем отданной царевичу Давиду.

Лучше других понимал это сам умирающий царь и с одра болезни писал императору Павлу, что «Грузия так или иначе должна покончить свое самобытное политическое существование» и что «грузинский народ желает теперь же вступить единожды и навсегда в подданство Российской империи с признанием Всероссийского императора за своего природного государя и самодержца».

Императорский манифест последовал в этом смысле в Санкт-Петербург восемнадцатого декабря 1800 года, а двадцать восьмого декабря скончался в Тифлисе Георгий.

Таким образом грузинский престол был упразднен, и династия Багратидов, считавшая за собой целое тысячелетие, перестала царствовать в Грузии. Шестнадцатого февраля 1801 года все жители Тифлиса, собранные в Сионский собор, присягнули на верность новому своему государю, императору Павлу Петровичу, а седьмого числа то же самое исполнено было армянским населением

столицы, сопровождавшим этот обряд особенной пышностью и церемониями.

Утром этого дня, по первому удару соборного колокола, духовенство, в числе восьми архимандритов и до ста священников, выступило из всех армянских церквей и, соединившись в общий крестный ход, направилось через Тифлис к загородному монастырю Ванк. За этой процессией двое именитейших граждан Тифлиса несли портрет императора Павла, а за ним шествовал сам митрополит в торжественном облачении, но без митры, держа над головой серебряный поднос, а на нем манифест, прикрытый розовым флером. Народ, имея во главе царевича Давида с братьями и генералов Лазарева и Гулякова, шел за крестным ходом тысячными толпами. Патриарх Армении Иосиф, в полном облачении древних святителей, встретил процессию в ограде соборной церкви. Окадив портрет императора, он пал перед ним на землю, поцеловал его и, высоко подняв над головами присутствующих, громогласно произнес: «Да здравствует великий и августейший монарх наш со всем своим домом». Народ отвечал шумными и радостными кликами. Затем процессия двинулась в церковь. Там, перед алтарем, на особом аналое, покрытом богатой парчой, положен был манифест и поставлен портрет императора. Патриарх сам совершал литургию, по окончании же ее отслужен был благодарственный молебен с коленопреклонением, и весь народ приведен к присяге.

Как в этот, так и в предшествовавший день русские офицеры, сопровождаемые казачьим эскортом, ездили по улицам Тифлиса и читали народу манифест на четырех языках: русском, грузинском, армянском и татарском.

По окончании всех церемоний грузинские царевичи Иоанн, Баграт и Михаил Георгиевичи с лицами, уполно-

моченными еще покойным Георгием, князьями Аваловым и Паливандовым, отправились в Петербург, «чтобы перед лицом русского монарха засвидетельствовать целому свету, что принятие Грузии в подданство России совершилось по общему единодушному желанию всего грузинского народа».

Ожидая этих послов, государь приказал сделать для себя древнее одеяние грузинских царей, не исключая непрременной принадлежности его, греческого саккоса, подавшего в свое время повод к известным толкам и догадкам по поводу сходства этой одежды с архиерейским облачением.

Посольство еще находилось в пути, и положение Грузии не успело определиться окончательно, когда император Павел скончался. Преемник его, император Александр I, манифестом от двенадцатого сентября 1801 года подтвердил принятие Грузии в подданство России, прибавив, что делает это «не для приращения своих сил, не для корысти и распространения пределов и без того обширнейшей империи в свете, а единственно из человеколюбия, которое налагает на него священный долг внять молению страждущих и отвратить от них скорби учреждением такого правления, которое могло бы утвердить в земле их правосудие, личную безопасность и дать каждому защиту закона».

В то же время государь возвратил Грузии и ее народную святыню — крест из виноградных лоз, врученный Богородице в сонном видении святой Нине. Прежде этот крест сохранялся в фамилии грузинских царей и, по свидетельству одного армянского историка, служил у грузин военным знаменем в их войнах против греков. В память побед и чудес, совершенных тогда священным крестом, грузины установили праздник, который и доныне

торжествуется церковью в десятый день после Вознесения Господнего. Во времена нашествий вражеских крест сберегался то в Мцхете, то в Анануре, и из этого последнего города был увезен митрополитом Тимофеем в Москву к царевичу Бакару, сыну Вахтанга VI. Внук этого царевича, Георгий, поднес священный крест в дар императору Александру Павловичу, который и повелел препроводить его обратно в Грузию. Девятого апреля 1802 года крест был торжественно внесен в Тифлис и, встреченный восторженной радостью народа, положен в Сионском соборе, где сохраняется и ныне, по левую сторону царских врат, в особом киоте, на серебряной доске которого изображена святая равноапостольная Нина.

Но возвратимся опять к событиям в Закавказском крае.

Исполнение своих мудрых и в высшей степени гуманных предначертаний государь возложил на генерал-лейтенанта Кнорринга, назначенного тогда военным губернатором Грузии и командующим войсками на Кавказской линии. К сожалению, Кнорринг не принадлежал к числу тех людей, которые имеют дар возбуждать к себе доверие народа, и сразу извратил самый смысл добровольного присоединения Грузии, придав ему вид какого-то насилия. Приехав в Тифлис, он собрал всех жителей города и, окружив их войсками, приказал присягать на верность новому государю. Эта грубая мера и предосторожности, ничем не вызванные со стороны народа, глубоко оскорбили грузин, которые не захотели присягать под угрозой штыков и разошлись по домам. Тогда по приказанию Кнорринга знатнейшие грузинские князья и дворяне были арестованы, и эти аресты еще более возмутили грузин. Между тем сам Кнорринг вскоре уехал на Линию и поручил управление страной известному нам Коваленскому. С его отъездом анархия и неурядица в Грузии еще более усилились.

Между тем лезгины, пользуясь внутренними смутами Грузии, чаще, чем когда-нибудь, стали делать набеги и разорять пограничные села. При таком положении дел два полка не могли поспевать везде, где угрожала опасность; русские войска за Кавказом были усилены.

Еще император Павел Петрович, сознавая недостаточность военных средств в Грузии, приказал отправить туда в начале 1801 года Кавказский гренадерский полк (ныне Грузинский), под командой генерал-майора Тучкова. Стояла еще глубокая зима, и полк, покинув обозы, должен был прокладывать себе путь среди громадных снежных сугробов, сплошь заваливших все горные ущелья. Подвигаясь шаг за шагом, теряя на каждом переходе людей и испытывая такие лишения, полк все-таки пробился через грозное Дарьяльское ущелье и стал наконец бивуаком около кистинской деревни Гвелети. Здесь неожиданно нагнал его фельдъегерь с манифестом о кончине императора Павла, и здесь же, у подножия заоблачного Казбека, при шуме сердитого Терека, по колено в снегу, гренадеры принесли торжественную присягу на верность юному монарху.

С прибытием полка в Тифлис один из его батальонов немедленно отправлен был, под командой подполковника Симановича, в Сурам и Гори для прикрытия границ Картли, а батальон Кабардинского полка, под начальством подполковника Солениуса, расположился в Нижней Кахетии. «Это последнее обстоятельство и было, — как справедливо говорит Зиссерман, — началом той системы, которой русские старались обезопасить Грузию от вторжения соседних горцев, системы, развившейся впоследствии до обширных размеров Лезгинской кордонной линии». С тех же пор начинается и мелкая хищническая война, которая закончилась лишь через пятьдесят девять лет пленением Шамиля. Замечательно, что первые напа-

дения горцев устремлялись по преимуществу на русские табуны, ходившие на Алазани. Так, шестого июня 1801 года лезгины угнали табун в казачьем полку, но рота кабардинцев заставила их бросить добычу; через месяц табуны самих кабардинцев едва не попали в руки хищников и уцелели только благодаря стойкости караульной роты. Зимой лезгины также пытались перейти Алазань, но были отбиты на самой переправе, причем в Кабардинском полку был ранен известный своей храбростью штабс-капитан Габуадзе. Таким образом, как этот батальон, так и батальон Гренадерского полка подполковника Симановича, стоявший на турецкой границе, не имели буквально ни минуты покоя. Особенно тревожное выдалось лето 1802 года, когда войска положительно теряли возможность поспевать везде, где появлялся неприятель. Памятным событием этого времени остается геройская защита двадцати человек Кабардинского полка, засевших в ветхой каменной башне Чикаанского поста (близ Алазани) и отбивавшихся в течение многих часов, пока не подоспела выручка. Воодушевление рот, спешивших на помощь, было так велико, что штабс-капитан Габуадзе, незадолго перед тем, как мы видели, раненый, услышав выстрелы с поста, не выдержал, поскакал вперед и на глазах отряда был изрублен лезгинами.

До какой степени и сами лезгины умели умирать, можно судить по следующим примерам.

Однажды, в апреле 1802 года, рота Кабардинского полка, под начальством майора Алексеева, настигла хищников, засевших в крепком ущелье среди неприступных утесов и камней. На предложение сдаться лезгины ответили, что пришли не с тем, чтобы отдаться в плен, и сражались отчаянно. Выпустив последние заряды, они кинулись в кинжалы и все до одного погибли на штыках кабардинцев.

Такой же случай был на турецкой границе в июле того же года, когда Симанович истребил партию известного разбойника Кази-Махмада, наводившего своим именем страх на целую Грузию.

С подобными врагами необходима была необычайная стойкость, нужны были значительные силы, а тут обстоятельства еще усложнялись интригами князей и недостойным поведением некоторых грузинских дворян против русской власти. Примером может служить следующий любопытный случай. Однажды лезгины разграбили большое грузинское селение Хистеры, принадлежавшее помещику Мурванову. Оказалось, между тем, что этот Мурванов отлично знал о движении лезгин, но, полагая, что они идут на Сурам с намерением напасть на русский гарнизон, не только не предупредил об этом коменданта, но, опасаясь, чтобы крестьяне собственной его деревни не известили русских, перепоил всех допьяна. Лезгины же в самую полночь напали на эту деревню и захватили в ней без труда девяносто шесть человек, а в их числе и самого помещика. Измена и крамола гнездились даже в самом Тифлисе, и только этим обстоятельством можно объяснить себе дерзость лезгин, являвшихся под стенами самых предместий его. Однажды, во время такого лезгинского набега, население столицы встревожено было выстрелами и криками, что горит авлабарский мост. Все бросились туда и увидели, что мост, действительно, был облит нефтью и подожжен. Пожар успели вовремя потушить. Тем не менее тифлисцы остались в убеждении, что целью поджога было перервать сообщения города с заречной стороной и этим путем предать Авлабар и Куки на жертву хищным лезгинам.

Беспорядки распространились даже на Военно-Грузинскую дорогу, и сообщения с Тифлисом сделались настолько небезопасными, что Кнорринг, возвращаясь

из Грузии на Линию, должен был отправить вперед роту пехоты и двести казаков, под командой майора Буткова*. Самым опасным местом на этом пути считалось Ларское ущелье, находившееся во владении одного из осетинских старшин, Ахмета Дударова, который жил на высокой горе, увенчанной каменным замком. Отсюда, с толпой преданных слуг, он выезжал на разбои, грабил проезжающих и собирал дань с проходивших мимо купеческих караванов. Теперь, как только колонна Буткова показалась в ущелье, Дударов поднял красное знамя – сигнал военной тревоги, но, к счастью, Бутков принадлежал к людям энергичным и решительным. Не давая врагу времени собраться с силами, он бросился в деревню Чим, принадлежавшую Дударову, и все, что было вне укрепленного замка, предал истреблению. Красивая мечеть, единственная в крае, построенная еще во времена Шейх-Мансура, превращена была в развалины, деревня сожжена, часть жителей перебита. А со стороны Владикавказа в это время показали пушки...

Дударов понял бесполезность сопротивления.

Беспокойное состояние края, вместе с бестактными и даже корыстными поступками Коваленского, окончательно ожесточили грузин. Народ, прежде только и думавший о том, как бы отделаться от членов царского дома, опять обратился на их сторону. До императора Александра стали отовсюду доходить слухи о беспорядочном управлении Закавказским краем, и восьмого сентября 1802 года Высочайшим повелением и Кнорринг и Коваленский были отозваны, а главнокомандующим в Грузию назначен генерал-лейтенант князь Цицианов.

* Автор известных сочинений о Кавказе.

Князь Цицианов

Я воЯюю 2о2 Яавный чаЯ
 Когда,япочуяябойякровавый,я
 Наянегодующ, йяКавказя
 ПоднялЯянашяюрелядвуглавый;я
 КогдаянаяТерекеяЯдома
 Впервыеягрянуляб, 2выягрома
 Иягрохо2яруЯк, хябарабанов,я
 ИявяЯче,яЯдерзоЯнымячелом,я
 Яв, лЯятылак, йяЦ, ц, ановххх
 А. Пушкин

Помянеяхрабрыхяве2еранов,я
 ВождеяКавказяябоевых,я—я
 Тебя,ябеЯЯрашныйяЦ, ц, анов,я
 Пог, бш, йяо2явраговяЯво, хххх
 Домантович

Князь Павел Дмитриевич Цицианов происходил из знатнейшей грузинской княжеской фамилии и находился в близком родстве с последним царствовавшим домом Грузии. В русскую службу вступил еще дед его в царствование Анны Иоанновны; он был убит во время шведской войны под Вильманстрандом, и с тех пор семейство князей Цициановых осталось в России навсегда.

Князь Павел Дмитриевич родился восьмого сентября 1754 года в Москве. Он начал военную службу в Преображенском полку, но вскоре переведен был в армию и в 1786 году, вместе с производством в полковники,

назначен командиром Санкт-Петербургского грендерского полка.

Дело под Хотиным (тридцать первого июля 1788 года), где он сражался со своим полком на глазах Румянцева, сразу выдвинуло князя из ряда сослуживцев. Кагульский герой с восторгом смотрел на быстроту, энергию и распорядительность юного полкового командира и тут же, на самом месте боя, предрек ему блестящую военную карьеру. Но турецкая война не дала Цицианову возможности развернуть в полной мере свои боевые достоинства; полк его вскоре был передвинут в Польшу. Но тем не менее он был уже замечен, и в 1793 году, в день торжества заключения мира, произведен в генерал-майоры.

Армия знала Цицианова, впрочем, не по одним военным заслугам; его любили за тонкий, наблюдательный ум и за острый язык, которого побаивались даже сильные мира. В армии ходила в то время по рукам и читалась тайком его известная сатира «Беседа русских солдат в царстве мертвых», где в разговоре убитых солдат Двужильного и Статного изложена была едкая критика на современные военные события и на Потемкина.

Памятный для русских 1794 год застал Цицианова в Гродно, где, по его выражению, «он стоял с полком, как на ножах», потому что в крае с минуты на минуту ожидали восстания. Кровавая резня, известная под именем Варшавской заутрени, нашла себе отголосок в Вильно и в Гродно. В первом из этих городов войска были застигнуты врасплох и понесли немало утрат, но в Гродно мятеж совершенно не удался. Цицианов, не веривший лстивым польским речам, зорко следил за настроением умов, не допускал наплыва в город праздного люда и держал свой полк постоянно наготове. При первом взрыве

мятежа он вывел свои батальоны из Гродно, обложил ими город и под угрозой штурма заставил магистрат выдать главных зачинщиков. На жителей он наложил контрибуцию в сто тысяч рублей, назначив для ее сбора однодневный срок; и страшные жерла орудий, наведенные на улицы, вид батальонов, готовых по первому знаку не оставить камня на камне, заставили поспешить с исполнением требований грозного князя. Слух об этом, облетев окрестности, много способствовал тому, что спокойствие и порядок были сохранены в соседних городах и местечках.

Между тем полк получил приказание выступить к Вильно. Цицианов по пути выгнал из Слонима мятежные банды князя Сапеги, затем командовал всеми войсками, которые штурмовали Вильно, а в августе с одним батальоном быстро перешел в Минскую губернию и у местечка Любавы наголову разбил отряд Грабовского, взяв его самого в плен вместе со всей артиллерией. Подвиги Цицианова так выделились тогда на общем фоне военных действий, что сам Суворов в одном из приказов предписывал войскам «сражаться решительно, как храбрый генерал Цицианов»... Ордена св. Владимира 3-ей степени за Гродно, Георгия на шею за Вильно, золотая шпага с надписью «За храбрость» за поражение Грабовского и полторы тысячи десятин земли за окончание войны были наградами князя Цицианова.

Назначенный императрицей в корпус графа Валериана Александровича Зубова, Цицианов участвовал в персидском походе и некоторое время был комендантом в городе Баку, где сблизился с Гуссейн-Кули-ханом, сделавшимся впоследствии его гнусным убийцей.

Короткий период царствования Павла Петровича, подобно большей части лиц, отличенных Екатериной, Цицианов провел в отставке. Император Александр

снова призвал его на службу, произвел в генерал-лейтенанты и одиннадцатого сентября 1802 года назначил инспектором Кавказской линии и главнокомандующим в Грузию. Истомленная борьбой Грузия требовала энергичного, твердого правителя, и в этом отношении выбор Цицианова был безошибочен. С назначением его для Грузии наступают лучшие времена, времена действительной защиты царства русским оружием и полной перемены внутренней и внешней политики, приведшей к покорению всего того, что издавна было враждебно царству и мешало его жизни и правильному развитию. При Цицианове уже не враги разоряют Грузию, а сама Грузия берет в свои руки судьбу окружающих ее народов.

Когда Цицианов прибыл в Тифлис, страна, только что присоединенная к России, была раздираема еще внутренними смутами, во главе которых становился то тот, то другой царевич, домогавшийся сесть на престол Ираклия. Цицианов, сам грузин и близкий родственник царицы Марии, вдовствующей супруги Георгия XIII, урожденной также княжны Цициановой, хорошо знал свою родину и имел то убеждение, что России предстоит одно из двух: или отозвать обратно войска и бросить страну на жертву анархии, или же ввести твердое управление, сообразное с достоинством и нуждами народа, но что в этом случае всех членов грузинской царской фамилии необходимо было выслать из Грузии в Россию.

Получив на то разрешение еще в Петербурге, Цицианов принялся за дело со свойственной ему энергией и настойчивостью. Напрасно царицы притворялись больными, напрасно царевич Вахтанг разыгрывал комедии, бросаясь перед ним на колени: все те, которые не бежали из Грузии, должны были отправиться в Россию. Очередь дошла, наконец, и до царицы Марии. Она сказала

больной, задумав в тот же день бежать из Тифлиса вместе со своими сыновьями. Цицианов, извещенный заранее о намерении царицы, приказал генералу Лазареву арестовать ее, в то время как генерал Тучков должен был захватить царевичей. Тучков удачно исполнил поручение и в тот же день вывез арестованных в Мцхет, откуда все царское семейство должно было ехать в одном общем поезде. Но не так счастлив был Лазарев. В шесть часов утра, девятнадцатого апреля, он прибыл в дом царицы и объявил ей волю князя Цицианова. Царица приняла его в постели и ответила, что ехать не желает. Тогда Лазарев, оставив при ней одного офицера, сам отправился сделать все нужные распоряжения. Но едва он вышел, как необычайный шум в покоях царицы заставил его вернуться. Там шла ожесточенная борьба: царевич Жабраил и царевна Тамара с кинжалами в руках напали на русского офицера. Лазарев подошел к кровати, на которой лежала царица, чтобы уговорить ее остановить детей, как вдруг в руках самой Марии сверкнул кинжал, и Лазарев, пораженный в бок, мертвым упал на пороге комнаты. Происшествие это наделало тревоги в целом Тифлисе. Все высшие сановники тотчас же съехались к царице, уговаривая ее не противиться воле русского государя, но она ничего не хотела слушать. Тогда полицмейстер Сургунов, завернув свою руку в толстую папаху, решительно и смело подошел к царице и вырвал из ее рук оружие. Царевна Тамара кинулась на помощь к матери с кинжалом в руках, но второпях она промахнулась и ранила самую же царицу в плечо. Царское семейство было арестовано и в тот же день отправлено в Мцхет. Цицианов был справедливо раздражен смертью Лазарева и предписал Тучкову обращаться во время пути с Марией

и ее детьми не как с особами царского рода, а как с простыми преступниками.

Тело Ивана Петровича Лазарева предано было погребению с большими почестями в тифлисском Сионском соборе, где впоследствии неподалеку поставлена была гробница и князя Цицианова. А царица Мария, по приезде в Россию, была заключена в Воронеже в Белгородский женский монастырь и только по прошествии семи лет получила прощение и спокойно дожила свой долгий век в Москве, где умерла в 1850 году восьмидесяти лет от роду.

Прошло сорок семь лет со дня кровавой катастрофы, лишившей Россию доблестного Лазарева, и всепрощающая смерть примирила почившую с русским народом. Все было забыто, все прощено, и прах последней грузинской царицы с торжеством и военными почестями возвратился на родину.

Семнадцатого июня 1850 года все дороги к Мцхету были покрыты массой народа, стремившегося встретить похоронный кортеж, медленно приближавшийся со стороны Душета. Хоронили царицу Марию Георгиевну. Впереди всех шла конная дружина грузинских князей и дворян со знаменем, окутанным флером; за ней сословные представители царства, многочисленное духовенство и штаб-офицеры, несшие на подушках герб Грузии, орден св. Екатерины 1-ой степени, корону и царскую мантию. Погребальную колесницу, осененную балдахином и также увенчанную царской короной, везли шесть лошадей под черными попонами с гербами почившей царицы. Почетнейшие князья стояли у штангов, массивные серебряные кисти поддерживали чины дипломатического корпуса, а конец порфиры, заменявшей погребальный покров, несли четыре офицера. За колесницей следовали

высшие представители власти, родственники царицы и толпы народа. Пехотный полк, шесть орудий и конный отряд жандармов сопровождали шествие.

Унылый перезвон колоколов, рыдающие звуки погребального марша, траурные одежды присутствующих, дымящиеся факелы и, наконец, эта свежая раскрытая могила в сонме царских гробниц, готовая принять еще один венчанный прах для вечного успокоения, – все это производило глубокое впечатление на народ, помнивший еще и прошлое величие, и годы тяжелых бедствий, пережитых им под скипетром царей Багратидов.

У входа в ограду Мцхетского собора, служившего старинной усыпальницей грузинских царей, гроб встретил экзарх Грузии и проводил его в церковь, где всю ночь стояло почетное дежурство, служились панихиды и народ прощался с усопшей царицей. На следующий день были похороны; заупокойную обедню служил сам экзарх, и после торжественной панихиды гроб опустили в могилу при громе пушек и ружейных залпов – и это были последние земные почести той, которая лишена была их в течение своей долгой жизни.

Но возвратимся к давно минувшим временам, когда царице пришлось еще только расстаться с родиной.

Успокоив страну от внутренних беспорядков и междоусобий, Цицианов обратил все свои усилия на внешние дела Грузии. Отлично понимая дух азиатских народов, умевших преклоняться только перед одним аргументом – силой оружия, Цицианов сразу переменил обращение с соседними татарскими ханами и принял по отношению к ним совершенно иную систему, чем та, которой держался до него Кнорринг.

До тех пор русское правительство как бы старалось снискать к себе расположение их подарками и жалованием.

Цицианов отменил и то, и другое, и сам потребовал от ханов дани. «Страх и корысть – суть две пружины, которыми руководятся здесь все дела и приключения, – писал он императору Александру I. – У здешних народов единственная политика – сила, а лучшая добродетель владельца – храбрость и деньги, которые нужны ему для найма лезгин. Поэтому я принимаю правила, противные прежде бывшей системе, и вместо того, чтобы жалованием и подарками, определенными для умягчения горских нравов, платить им некоторого рода дань, я сам потребовал от них оной».

Свято держа обещания, Цицианов никогда не расточал своих угроз понапрасну. Он знал, что каждый владелец, в сущности, готов был повторить ответ, данный одним из них русскому главнокомандующему: «Приди и покажи свою силу», – и потому старался прежде всего разъяснить им в своих прокламациях все необъятное величие России и ничтожность их перед ней. Повелительный и резкий тон, с которым он к ним обращался, шел как нельзя лучше к тогдашним обстоятельствам и производил на азиатов сильное впечатление. Слог его писем был оригинален, силен и резок, как дамасская сталь...

«Статочное ли дело, – писал он в одной из своих прокламаций, – чтобы муха с орлом переговоры делала...»

Первыми испытали на себе тяжелую руку князя Цицианова джаро-белоканские лезгины, у которых скрывались беглые грузинские царевичи. Цицианов потребовал их выдачи. В воззвании к лезгинам по этому поводу Цицианов писал между прочим: «Вы – храбрые воины, вы и должны любить храбрых. А кто же храбрее русских? Пуля ваша пяти человек не убьет, а моя пушка картечью или ядром за один раз тридцать человек повалит. Измеряйте все это...»

Получив отказ, князь Цицианов послал генерал-майора Гулякова наказать лезгин. Гуляков быстро достиг Алазани, разбил и уничтожил все, что только осмелилось противостоять ему с оружием в руках, и занял главные селения лезгин. Тогда Цицианов объявил всю область присоединенной к России и обложил ее данью. Так было возвращено Грузии ее древнее достояние, и гроза Закавказья, притон всех дагестанских хищников, вольный Джаро-Белоканский союз потерял свою независимость.

Кахетия, быть может, в первый раз была прочно освобождена от вечного страха лезгинских погромов. Но в то время, как Кахетия была ареной разбоев и грабежей лезгин джаро-белоканских, Картли почти в той же мере страдала от их соплеменников со стороны Ахалцихе. Появление русских за Кавказом скоро должно было положить предел и их хищничеству, и когда, в 1802 году, в Картли появились русские батальоны, под начальством Симановича, и дали несколько уроков дерзкой азиатской коннице, то впечатление от них было настолько сильно, что ахалцихские лезгины в течение целого года не осмеливались тревожить грузинских границ. Но когда начались приготовления к персидской войне и Симанович ушел со своими гренадерами, а на смену его в Гори прибыл новый егерский полк, вызванный с Кавказской линии и еще неопытный в азиатской войне, ахалцихские лезгины попытались еще раз воспользоваться хлопотливостью для русских временем. Тогда произошел один из тех кровавых эпизодов, которые, при кажущейся неудаче, наносят неприятелю страшное нравственное поражение. Горсть русских солдат, самоотверженно погибших в неизмеримо неравной борьбе, но внесших зато страшное опустошение в ряды неприятеля, показала лезгинам силу беззаветного сознания и

исполнения долга, стоящую целой армии и в самых своих ошибках поражающую и зовущую следовать своему примеру. Этот эпизод увековечил имя капитана Секе-рина, который в ошибочном увлечении своим, поведением к гибели отряда, дал пример нравственной силы, не знающей отступления перед неудачей. Дело было так. Выступая под Ганжу, Цицианов, чтобы прикрыть Тифлис со стороны Ахалцихе, поставил в Гори и Цалках два небольших отряда, а так как прямого сообщения между этими пунктами не было, то капитан-исправнику Енохину приказано было немедленно приступить к разработке пути, удобного для движения обозов и артиллерии. В распоряжение Енохина были даны сто восемь человек грузинских рабочих и прикрытия из девяти казаков и одиннадцати егерей девятого полка.

Работа скоро была окончена. Но когда Енохин (двенадцатого июня 1803 года) возвращался домой, то верстах в двадцати от Цалки на него внезапно напала сильная партия в шестьсот-восемьсот человек лезгин, вышедшая из ахалцихских пределов. Люди Енохина частью были изрублены, частью захвачены в плен, и только сам он и шесть казаков спаслись благодаря; быстроте своих лошадей. Они, проскакав в три часа около семидесяти верст, первые явились в Гори с известием, что по правому берегу Куры на деревню Хавли идут лезгины. Несмотря на поздний час – было уже десять часов ночи, – полковник Цехановский (шеф егерского полка), заведовавший горийским кордоном, тотчас же отправил к Хавли навстречу неприятелю тридцать егерей, под командой штабс-капитана Богданова. Но егеря не прошли и трех верст, как получили приказание вернуться и идти в селение Карели, куда, по слухам, направились лезгины и где стояла рота полка Цехановского.

В то же время и сам Цехановский, в сопровождении только пяти казаков, поскакал туда же, желая лично присутствовать при первом деле своих егерей с лезгинами. Но и егеря, и он опоздали – катастрофа в Карели уже совершилась.

Капитан Секерин, командовавший стоявшей там ротой, узнав, что лезгины отбили у жителей скот, бросился за ними в погоню. Секерину предстояло действовать в лесистой местности, где неприятель на каждом шагу мог устроить засаду. Излишнее пренебрежение неприятелем могло оказаться пагубным, а рота Секерина состояла всего из сорока четырех человек. Между тем он не усомнился кинуться с ней в дремучий бор, начинавшийся верстах в семи за деревней, и был окружен массой лезгин. Молодой Секерин три раза опрокидывал – неприятеля, но ему пришла неудачная мысль растянуть свою цепь, чтобы показаться врагам многочисленнее. Лезгины скоро поняли маневр, всей массой ринулись в шашки и разорвали цепь. Сам Секерин одним из первых был тяжело ранен в ногу. Отойдя в сторону, он начал платком перевязывать рану, как вдруг толпы лезгин бросились на него. Егеря, имевшие каждый по двадцать лезгин против себя, не могли прийти на помощь к своему капитану, и он был изрублен на глазах отряда. Умирая, Секерин успел крикнуть старшему Рогульскому: «Помни, русские не сдаются!» Поручик Рогульский успел отбросить неприятеля. Но увлеченный, подобно своему предшественнику, он переходит в наступление, устремляется на неприятеля – и падает мертвым, успев крикнуть своему младшему брату: «Помни слова Секерина: русские не сдаются!» Юный Рогульский обратился к солдатам с воодушевленными словами, но его поражает пуля и последнего офицера роты не стало. Видя гибель всех

начальников, лезгины кричали солдатам, предлагая сдаться, но егеря бросились в штыки, окружили себя мертвыми телами и пали все до последнего. Подоспевшие егеря с Цехановским нашли только четырех тяжело израненных, которых лезгины не успели захватить. Они-то и передали товарищам подробности горестного, но славного дела.

Лезгины не осмелились производить дальнейших разбоев и вернулись в Ахалцихе. Но князь Цицианов, отлично знавший дух горских народов, был, однако, чрезвычайно встревожен гибелью роты Секерина и предписал командующему войсками в Картли, генерал-майору князю Орбелиани, немедленно наказать разбойников. Орбелиани, стянув значительный отряд (одиннадцать рот пехоты при четырнадцати орудиях), двинулся в пределы Ахалцихского пашалыка. Испуганный паша просил его остановить военные действия, обещая удалить лезгин из своих владений и не давать им приюта. Орбелиани согласился, но при обязательном условии, чтобы лезгины капитулировали. Это было страшным ударом по самолюбию азиатов, но другого исхода не было, и двадцать пятого июня около шестисот отчаянных наездников покорно подъехали к русскому стану. Здесь у них отобрали оружие и потом, как пленный яс-сыр, погнали под конвоем за Алазань, откуда, однако, их отпустили восвояси.

С удалением лезгин из Ахалцихского пашалыка жители Картли вздохнули свободнее. Но деревянный крест, грубо отесанный усердной рукой солдата, долго еще виднелся под зеленым пологом дремучего леса, напоминая событие, записанное кровавыми буквами в боевые скрижали Кавказа.

К этому же времени относится присоединение к России Менгрельского княжества. Небольшая страна эта, наделенная всеми дарами роскошной природы, лишена была издавна главнейшего блага – спокойствия. Целые века менгрельцы кровью искупали свою независимость, бились с врагами, но не могли избежать страшных последствий, какими всегда сопровождаются азиатские войны. Тысячи пленных отрывались от своих семейств и появлялись на базарах Трапезунда, Константинополя и Каира.

Хотя условиями Кючук-Кайнарджийского мира, страна и была признана вне непосредственной зависимости от Порты, но крепость Потти, ключ к сердцу Менгрелии, базар, куда стекались все пленники, оставалась в руках у турок, и разорение страны не уменьшилось. Изнемогая под тяжестью неравной борьбы, в особенности с соседней Имеретией, мужественный владетель Менгрелии, князь Григорий Дадиан, решился наконец последовать примеру грузинского царя Георгия XII, на дочери которого был женат, и в марте 1803 года посольство его явилось в Тифлис.

Менгрелия домогалась уже не покровительства или помощи, как это бывало в прежние годы, она просила о включении ее в число русских владений, о доставлении ей спокойствия внутри, безопасности извне, молила о тех светлых днях, которыми уже начала пользоваться единоверная Грузия. Присоединение Менгрелии, лежавшей на самом берегу Черного моря, должно было обнаружить важное политическое влияние на все русское Закавказье, и князь Цицианов горячо отозвался на желания менгрельского князя.

Немедленно составлен был акт, по которому Менгрелия становилась русской провинцией, сохраняя, впрочем, автономное управление и оставаясь в наслед-

ственной власти князей Дадиянов на прежних правах и обычаях. Но в число обязательных условий поставлено было уничтожение в Менгрелии смертной казни, как нетерпимой на всем протяжении Российской империи.

В Менгрелию был послан полковник Майков, который должен был вручить князю Дадияну акт и принять от него присягу на верность русскому государю.

Соседи и особенно имеретинский царь Соломон, понимая всю важность совершившегося события, старались сколько возможно помешать его исполнению, и Майкову пришлось испытать на пути целый ряд приключений. В семейных бумагах сохранились его записки, в которых он подробно рассказывает об этом опасном путешествии.

Прямой путь лежал через Имеретию, и царь Соломон, проведая о поездке Майкова, запретил всякие сношения русских через подвластные ему земли, объявив всем, что заплатит пять тысяч червонцев тому, кто доставит ему «его (то есть Майкова) собачью голову». Тогда Майков поехал в объезд на Ахалцихе, где, по совету паши, отпустил свой конвой, состоявший из полусотни казаков и роты егерей, переоделся в турецкое платье и, пробираясь через Батум, Озургеты и Поти берегом Черного моря, неоднократно рискуя попасть в руки Соломона, достиг наконец селения Дадичалы (в записках Майкова — Чаладиди). Там, четвертого декабря 1803 года, князь Дадиян со всеми сановниками княжества принес торжественную присягу на подданство, и Майков возложил на него при этом знаки ордена св. Александра Невского.

Участие в знаменательном событии присоединения Менгрелии отмечено на родовом гербе Майковых, в котором тогда же повелено было изобразить на золотом поле вылетающего черного двуглавого орла с распростертыми

крыльями, а под ним горизонтально реку с надписью: Риони».

С присоединением Менгрелии Имеретинское царство очутилось между двумя русскими областями, и потому присоединение к России его самого стало только вопросом времени. И это тем более, что Имеретия некогда была частью Иверии и только с 1445 года, со времени великого разделения, была отторгнута от царства мятежной отраслью Багратидов. А вся политика Цицианова и стремилась к тому, чтобы все обломки древнего царства снова соединить воедино.

И действительно, Цицианов немедленно потребовал от царя Соломона прекращения войны с Менгрелией, а для поддержания этого требования к границам Имеретин было придвинуто русское войско. Но и сам Соломон также понимал значение совершившихся событий и только раздраженный невольным унижением, созданным для него силой самих обстоятельств, колебался, отдаться ли России, или Турции.

Последовавшее вскоре падение Ганжи и движение к имеретинским границам Кавказского гренадерского полка сделали для него тяготение к Турции уже невозможным, и шестнадцатого апреля 1804 года состоялось свидание его с князем Цициановым в одном из пограничных грузинских селений. Впрочем, Соломон еще пытался удержать за собой независимость, но Цицианов принял свои меры. Прощаясь Соломоном, он объявил ему, что будет иметь с ним свидание другого рода, на ратном поле, со шпагой в руках, а на другой день рота егерей, под начальством подполковника князя Эристова, уже заняла ближайшую имеретинскую деревню и стала приводить крестьян к присяге на верность русскому государю. В то же время приближался к Имеретии целый

Кавказский гренадерский полк. Испуганный Соломон просил нового свидания, и двадцать пятого апреля 1804 года Имеретия торжественно была присоединена к России.

Этим событием завершилось дело нового объединения Иверийского царства, некогда, за четыреста лет перед тем, расчлененного царем грузинским Александром I и теперь опять составившего нераздельное целое при Александре I, императоре русском.

Вновь присоединенные владения заняты были русским войском, именно – Белевским пехотным полком с артиллерией, переведенным сюда из Крыма. Полк благополучно высадился на берегах Черного моря близ устьев реки Хопи, но в эту же ночь поднялась страшная буря, и одно из десантных судов, корабль «Тольской Божьей Матери», разбившись о прибрежные скалы, погиб со всем своим экипажем из ста шестидесяти восьми человек. И это были единственные косвенные жертвы бескровного приобретения Грузией своих давнишних владений.

Менгрелия и Имеретия уже раз навсегда покончили свое независимое существование, и для них начался период мирного гражданского развития. В октябре того же 1804 года в Менгрелии, правда, возникли волнения, когда внезапно умер князь Григорий Дадиан, но эти волнения вызваны были загадочностью смерти князя, за неделю перед тем бывшего совсем здоровым и вдруг скончавшегося в ужасных мучениях, причем говорили даже, что он отравлен лечившим его католическим ксендзом, будто бы находившимся в тайных сношениях с Соломоном имеретинским. С другой стороны, эти волнения находили себе основание и в том обстоятельстве, что законный наследник Дадиана, десятилетний

сын его, Леван, находился заложником за какой-то долг отца у Келиш-бека, владельца абхазского. Все эти волнения, впрочем, вскоре разрешились дипломатическими сношениями, взятыми в свои руки князем Цициановым. Он потребовал от Келиш-бека выдачи Левана, а когда Келиш-бек отказал, то генерал Рыкгоф, шеф Белевского полка, получил приказание идти в Абхазию и силой взять оттуда наследника Менгрелии.

Действия Рыкгофа, к сожалению, не привели к предполагаемой цели, недостаток продовольствия и разливы рек помешали ему дойти до Сухума, где содержался Леван. Но, возвращаясь назад, он захватил приморскую крепость Анаклию, принадлежавшую Турции; и хотя князь Цицианов приказал немедленно сдать ее обратно и даже извинился перед турецким правительством, но этим случаем воспользовались наши враги, чтобы начать против России дипломатическую кампанию, в конце концов и приведшую ее к полному разрыву и к войне с Османской Портой.

Враждебная политика Турции, сильно заботившая князя Цицианова, не заставила его, однако же, остановиться на полпути к освобождению Левана. Вместо генерала Рыкгофа пошел генерал Маматказин, шеф Кавказского гренадерского полка, с приказанием не оставлять в Абхазии камня на камне, но Маматказину уже не пришлось употребить силу Леван был выдан добровольно. С прибытием юного наследника волнения и беспорядки в Менгрелии мало-помалу затихли. Леван провозглашен был владетелем, и десятого июня 1805 года статский советник Литвинов торжественно, в присутствии знатнейших сановников Менгрельского княжества, вручил знаки владетельской инвеституры: высочайшую моту, меч, знамя и бриллиантовый орден св. Анны 1-ой

степени. Временной же правительницей Менгрелии до совершеннолетия Левана тогда же утверждена была вдовствующая менгрельская княгиня Нина Георгиевна, женщина бесспорно умная, энергичная и преданная России.

А между тем, когда еще вопрос о присоединении к русским владениям Менгрелии и Имеретии только постепенно шел к своему разрешению, на персидской границе дела усложнялись.

Уничтожив в 1803 году старинных врагов Грузии, лезгин, издавна периодически опустошавших Кахетию и покрывавших ее почву кровью ее сынов и пеплом пожаров, Цицианов, для ограждения русских владений от персов и турок, задумал в том же году овладеть ближайшим к Грузии Ганжинским ханством, потом идти на Эривань, взять Баку и таким образом утвердить русское влияние на Каспийском побережье Закавказья.

Войска уже были готовы к походу, когда получились известия о новом восстании джаро-белоканских лезгин, подстрекаемых самухскими беками и елисуйским султаном. Цицианов отрядил против них опять генерала Гулякова, а сам с шестью батальонами пехоты, с Нарвским драгунским полком и двенадцатью орудиями двинулся к Ганже.

Вступив в пределы ханства, главнокомандующий отправил к Джавату, хану ганжинскому, письмо, требуя добровольной покорности. «Первая и главная причина моего прихода сюда, – писал он ему, – та, что Ганжа со времени царицы Тамары принадлежала Грузии и слабостью царей грузинских отторгнута от оной. Всероссийская империя, приняв Грузию в свое высокомогущее покровительство и подданство, не может взирать с равнодушием на расторжение Грузии; и недостойно бы

было с силой и достоинством высокомогущей и Богом вознесенной Российской империи оставить Ганжу, яко достояние и часть Грузии, в руках чужих. Пришед с войсками брать город, я, по обычаю европейскому и по вере, мной исповедуемой, должен, не приступая к пролитию крови человеческой, предложить вам сдачу города. Буде завтра в полдень не получу ответа, то брань возгорится, понесу под Ганжу огонь и меч, и вы узнаете, умею ли я держать свое слово».

Джават-хан, тот самый, который вместе с агой Мохаммедом грабил Тифлис, самоуверенно ответил, что намерен дать отпор и что «ежели русские пушки длинной в аршин, то его пушки – в четыре аршина». «Где это видано, – писал Джават-хан, – чтобы вы были храбрее персиян. Видно, несчастный рок доставил вас сюда из Петербурга, и вы испытаете его удар».

После такого ответа русские войска двинулись вперед и, овладев садами, городским предместьем и караван-сараями, отделявшимся от крепостной стены лишь одной эспланадой, открыли орудийный огонь. Джават-хан защищался геройски; целый месяц длилась осада, пять раз возобновлял Цицианов требования сдать крепость, но все было напрасно. «Я возьму крепость и предам тебя смерти», – писал он упрямому хану. «Ты найдешь меня мертвым на крепостной стене», – отвечал Джават, и оба клялись исполнить свои обещания. Наконец, второго января 1804 года, военный совет порешил: «Быть штурму на следующий день».

Цицианов разделил войска на две колонны, из которых одна (два батальона Кавказского гренадерского и Севастопольского полков и два спешенные эскадрона нарвских драгун) была поручена генерал-майору Портнягину, а другая (два батальона семнадцатого егерского полка) – полковнику Карягину.

Ночь со второго на третье января была темная, морозная, и войска, с вечера собранные на места, назначенные по диспозиции, тихо, без обычных церемоний, отнесли знамена и штандарты назад, на мечетный двор, куда потянулась также вся татарская милиция, «как не достойная (по выражению цициановского донесения) по своей неверности вести войну обще с высокочтимыми российскими войсками». Еще было темно, когда войска подступили под крепость. Несколько горящих подсветов, брошенных неприятелем в ров, осветили русские штурмовые колонны, и с крепостной стены загремели орудия, посыпались стрелы и камни.

Приступ начался.

Колонна генерала Портнягина, приблизившись к Карабагским воротам, приняла вправо, чтобы ворваться через брешь, пробитую накануне в земляной стене, но так как против этой брешки сосредоточились главные силы ганжинцев, то Портнягину пришлось поневоле оставить ее в стороне и штурмовать крепостную стену при помощи лестниц. Соппротивление, встреченное им, было, однако же, так велико, что русские войска два раза возобновляли приступ и два раза были отбиты со значительным уроном. Тогда Портнягин бросился сам во главе колонны и первый взойшел на стену. Вслед за ним появился Нарвского полка поручик Кейт и тут же пал, пораженный несколькими пулями. Та же участь постигла майора Бартенева, который, несмотря на свои преклонные лета, бросился вперед, желая увлечь за собой севастопольцев. Наконец, уже подполковнику Симановичу во главе гренадер удалось взобраться по лестницам на стену и выручить Портнягина, окруженного татарами. В это время вторая колонна, предводимая «храбрым, поседевшим под ружьем» полковником

Карягиным, взойшла на стену со стороны Тифлиских ворот и овладела главной башней. Другие две башни были взяты последовательно одна за другой майором Лисаневичем, и в одной из них, Хаджи-Кале, был убит сам Джават-хан, не захотевший искать спасения в бегстве. Видя безвыходность своего положения, он сел на пушку и с саблей в руке защищался, пока не был изрублен капитаном Каловским, который и сам тут же был убит татарами. Смерть хана внесла смятение в ряды неприятеля, он скоро был сброшен со стен, и майор Лисаневич, разгоняя штыками последние, еще державшиеся кое-где неприятельские резервы, пробился к воротам, заваленным тяжелыми камнями. Но пока он разбрасывал их, пока сбивал тяжелые засовы, солдаты успели перетащить за собой на стены огромные пятисаженные лестницы и по ним стали спускаться в город.

А в городе в это время стояло ужасное смятение. Толпы татар, и конных, и пеших, в беспорядке носились по улицам, тщетно разыскивая уже погибший ханский бунчук. Растерявшиеся жители прятались в домах и сараях, женщины оглашали воздух неистовыми криками. Между тем солдаты штыками очищали от неприятеля улицы, сплошь покрытые мертвыми телами, и захватывали добычу, находя даже на лошадях драгоценные золотые уборы. К полудню бой стал утихать и вспыхнул вновь только на один момент, когда солдаты наткнулись на пятьсот татар, засевших в мечети. Сперва им предложили сдаться, но когда узнали, что в числе запершихся находятся лезгины, это послужило сигналом для смерти всех защитников – так сильна была ненависть к лезгинам уже и в русских войсках.

Цицианов глубоко оценил подвиги солдат при взятии ганжинской крепости.

«Что касается меня, — писал он по этому поводу, — то я не пришел еще в себя от трудов, ужасной картины кровопролитного боя, радости и славы. Счастливый штурм этот есть доказательство морального превосходства русских над персиянами и того духа уверенности в победе, который питать и воспламенять в солдатах считаю первой моей целью».

В Ганже взяты были девять знамен, двенадцать орудий, шесть фальконетов и большие запасы оружия и провианта. Русским же ганжинский штурм стоил семнадцати офицеров и двухсот двадцати семи нижних чинов, выбывших из строя. Но зато вооруженный неприятель был совершенно уничтожен. Достойно, однако, замечания, что из девяти тысяч женщин, находившихся в городе, ни одна не погибла во время штурма — обстоятельство неслыханное и непонятное в крае, поставившее в тупик азиатов, с удивлением видевших, что гяуры никого не увлекают в рабство, как того требовал давно установившийся в Азии обычай.

В числе пленных представлено было князю Цицианову ханское семейство, в самом несчастном и жалком положении. Уважая военную доблесть павшего геройской смертью хана, главнокомандующий даровал его семейству свободу и щедро одарил его деньгами и подарками. Этот великодушный поступок быстро стал известен в горах, вызывая новое удивление и возвышая славу Цицианова.

Впечатление от падения Ганжи было так сильно в крае, что татары и поныне хранят память о нем в своих былинных песнях. Вот что говорится в одной из них:

«Братья! Послушайте меня, старика: я расскажу вам историю гибели славного города Ганжи.

Я помню сам ту страшную минуту, когда на главных бастионах перестали веять наши знамена.

Не думая о других убитых, мы плакали только о храбром Джават-хане, в лице которого утратили последнюю надежду, и грозная когда-то Ганжа уже почти без боя сдалась русским.

Тело бедного хана было брошено на улицу, но мы схоронили его и ждали себе подобной же участи, тем более что Шемаха и Шуша не дали нам обещанной помощи.

Ганжа пала в самую ночь великого байрама, и вместо праздника и радости мы видели только кровь, рекой омывающую крепость.

Испуганные женщины были полумертвы; и куда девалась тогда красота их? Она, как роза, убитая дыханием бури и холода, сбежала с их лиц.

Не русские делали нам притеснения, обидно было смотреть, как драгоценности Ганжи переходили в руки казахов и барчагинцев.

Но прошедшего не воротить. Велик Аллах, предопределивший жребий наш! Взгляните, друзья, на нашу настоящую жизнь: не счастливее ли мы теперь во сто крат, чем были прежде?».

Взятие Ганжи было событием чрезвычайной важности уже и потому, что крепость эта считалась ключом к северным провинциям Персии. Поэтому, желая убедить побежденных, что русские уже никогда не оставят завоеванного края и что самое название Ганжи должно истребиться из памяти народа, Цицианов назвал город Елизаветполем, в честь императрицы Елизаветы Алексеевны.

Старая крепость, свидетельница штурма, уже давно стоит в развалинах, но и теперь еще видны остатки ханского дома, сераля и других построек. В одной из них посетителям показывают две небольшие комнаты,

которые занимал князь Цицианов по взятии крепости и где он любил останавливаться, посещая Ганжу впоследствии. Поныне же стоит и скромная мечеть в городском предместье, осененная гигантскими чинарами, которые считаются ровесниками самого здания, имеющего за собой более двухсот пятидесяти лет. Двор мечети обнесен каменной стеной, и по ней кругом устроены помещения для духовенства, школ и дервишей. Две маленькие комнатки, которые занимал покоритель Ганжи во время осады, уцелели до нашего времени в своем первобытном виде, и князь Воронцов, сподвижник героических дел Цицианова, будучи уже наместником, приказал поместить на наружной стороне этого жилища мраморную доску с надписью из золоченой бронзы.

Всем участникам осады и штурма Ганжи были пожалованы особые серебряные медали; Цицианов произведен в генералы от инфантерии. Но он, как свидетельствуют его письма, был огорчен этой наградой: он ожидал Георгия 2-ой степени.

Не столь удачен был поход Гулякова, отправившегося, как мы видели, в Джаро-Белоканскую область. Он быстро перешел Алазань и разбил пришедших туда на помощь дагестанцев, но, увлеченный желанием проникнуть в самые недра гор, неосторожно вдался в тесное Закатальское ущелье и был там убит стремительно напавшим неприятелем. Отряд, потеряв любимого начальника, отступил обратно к Алазани. Однако же этот бой был до того упорен и потери неприятеля так велики, что спустя несколько дней лезгины сами прислали просить о пощаде.

«Неблагодарные! — писал по этому поводу главнокомандующий в своей прокламации джарскому народу. — Знайте, что тот, кто имеет силу в руках, не торгуется

со слабым, а им повелевает. Не обманете вы меня в другой раз. Истреблю вас всех с лица земли, и не увидите вы своих селений; пойду с пламенем по вашему обычаю, и хотя русские не привыкли жечь, но я спалю все, чего не займу войсками, и водворюсь навеки в вашей земле. Знайте, что, писав сие письмо к вам, неблагодарным, кровь моя кипит, как вода в котле, и члены все дрожат от ярости. Не генерала я к вам пошлю с войсками, а сам пойду; землю вашей области покрою кровью вашей, и она покраснеет; но вы, как зайцы, уйдете в ущелья, и там вас достану, и буде не от меча, то от стужи поколеете».

Гнев Цицианова простерся и на союзников джарцев.

«Бесстыдный и с персидской душой султан, — писал он елиссуйскому владельцу, — и ты еще смеешь писать ко мне. В тебе собачья душа и ослиный ум, так можешь ли ты своими коварными отговорками обмануть меня? Знай, что доколе ты не будешь верным данником моего государя, дотоле буду желать твоей кровью вымыть мои сапоги».

В таком же роде прокламация отправлена была им и к самухскому владельцу Шерим-беку, который не только помогал лезгинам, но из особой приязни к ганжинскому хану принял к себе его детей, бежавших из Ганжи во время осады.

«Шерим-беку самухскому, — писал главнокомандующий, — со мной, высокославных российских войск главным начальником, переписываться и пересылаться послами некстати и для меня — низко. Когда вы боялись Джават-хана, то как же меня не боитесь? И как вы осмелились принять детей его, бежавших отсюда во время штурма? Бросьте все ваши глупости и тотчас же без всякой отговорки представьте их ко мне. Им худа не будет.

Приезжайте тотчас с покорностью, а если замедлите, то я вас и на земле, и в воде найду. Вспомните, что слово свое держать умею. Сказал, что джарскую провинцию сокрушу, – и сокрушил; сказал, что царскую фамилию, раздирающую Грузию, из Грузии выведу, – и вывел; сказал, что Ганжу возьму, – и взял. Теперь судите, можете ли вы равняться с нами».

Впечатление от этих прокламаций было таково, что третьего апреля 1804 года в Тифлис съехались депутаты от джаро-белоканских лезгин, елиссуйский султан и сам Шерим-бек вместе с детьми ганжинского хана. Все они были обложены данью и присягнули на вечную покорность русским государям.

«Наш князь, – сказал по этому поводу Павел Михайлович Карягин, – сделав музыку из ядер и пуль, всякого хана по своей дудке плясать заставит».

Завоевания Цицианова и особенно падение Ганжи, считавшейся неодолимой твердыней в этой части Востока, произвело сильнейшее впечатление на Персию, где справедливо подозревали, что Цицианов на этом не остановится...

2. МУСУЛЬМАНСКИЕ ХАНСТВА (Присоединение ханств)

В Закавказском крае ко временам Ермолова наименее упрочненными за Россией владениями оставались примыкавшие к Грузии с юга и юго-востока татарские ханства. Давно замиренные, они продолжали служить послушным орудием враждебной персидской политики и все еще стояли перед Россией вечной угрозой возмущения. Персия, потерявшая их по Гюлистанскому трактату, естественно искала случая возвратить себе эти

богачейшие, некогда принадлежавшие ей провинции, и всеми силами старалась поддерживать в них свое влияние. Ханства, близкие к ней и религией и всем своим общественным азиатским строем, легко подчинялись этому влиянию, да и невозможно было ожидать ничего иного, пока они представляли собою какие-то совершенно автономные, самостоятельные государства, стоявшие к России в отношении только данников.

Лучшие государственные умы давно уже сознавали, что для действительного владычества русских в Закавказье и для объединения этого края в одно органически целое, необходимо было прежде всего уничтожить самостоятельность ханств и обратить их в простые русские провинции. Еще ко временам Екатерины относится замечательнейшая мысль – завоевать сначала именно эти

ханства, и потом уже занять Грузию. И если бы эта мысль тогда получила осуществление, Россия избавилась бы от целого ряда войн, которые пришлось ей вести за обладание теми же ханствами, но уже при обстоятельствах гораздо менее благоприятных.

Ермолов понимал, что только одна необходимость вырвала у князя Цицианова трактаты и привилегии, которыми пользовались ханы; но пока трактаты эти существовали – покончить с ними иначе было нельзя, как выжидая благоприятных случаев или прекращения наследственной линии, или измены ханов. И подобные случаи были не раз, но ими никогда не пользовались.

Так измена текинского хана Селима в 1806 году прямо давала повод присоединить к России его богатое владение; главный город был взят тогда приступом, хан бежал в Персию, и в Нухе уже введено было русское управление, но Гудович без всякой необходимости вдруг вызвал на ханство Джафар-Кули-хана хойсского, бежавшего из Персии, и ханская власть снова стала наследственной. Изменил и был убит карабагский хан – и Гудович посадил на ханство его сына, но так как новый хан был бездетен и его здоровье не обещало долгого века, то преемник Гудовича, Ртищев, сам озаботился приисканием ему наследника и вызвал из Персии же племянника его, Джафар-Кули-агу, уже раз изменившего русским и участвовавшего вместе с персиянами в истреблении троичского батальона под Султан-Будю.

Ермолов, верный своей прямой политической системе, не хотел допустить, чтобы ханы продолжали неудобную для русских интересов игру в союзники, тем более что ханский деспотизм, не принося владениям никакого блага, служил только тормозом для мирного развития их. Самый беглый обзор, сделанный ханствам перед отъездом в Персию, убедил Ермолова окончательно в непригодно-

сти ханской власти и поселил в нем желание как можно скорее от нее отделаться. Намерения его в этом смысле были так определенны, что он не допускал ни сомнений, ни колебаний. «Я не испрашиваю на сей предмет повеления, – писал Ермолов государю в феврале 1817 года, – обязанности мои истолкуют попечение Вашего Величества о благе народов, покорствующих высокой державе Вашей. Правила мои – не призывать власти Государя моего там, где она благотворить не может. Необходимость наказания предоставляю я законам. По возвращении из Персии, сообразуясь с обстоятельствами, приступлю к некоторым необходимым преобразованиям».

По отношению к самим ханам в высшей степени замечателен и оригинален приказ Ермолова по Грузинскому корпусу от семнадцатого февраля 1817 года.

«При обозрении мною границ, – говорится в нем, – владельцы ханств Ширванского, Шекинского и Карабагского по обычаю здешних стран предложили мне в дар верховых лошадей, золотые уборы, оружие, шали и прочие вещи. Не хотел я обидеть их, отказав принять подарки, неприличным почитал и воспользоваться ими, а потому, вместо дорогих вещей, согласился принять семь тысяч овец, которых и дарю полкам. Хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по службе, видели, сколько мне приятно стараться о пользе их. Обещаю им и всегда о том заботиться».

Гордые и надменные ханы были оскорблены и унижены.

По возвращении из Персии Ермолов, зорко следя за всем, что делается в ханствах, выжидал только удобных обстоятельств, чтобы уничтожить их самостоятельность. И первым пало ханство Шекинское.

Нельзя не сказать, впрочем, что сам шекинский хан, своей самовластной жестокостью раздражавший даже

терпеливых азиатских подданных, постарался облегчить Ермолову эту задачу. По смерти Джафара, посаженного Гудовичем, звание шекинского хана со всеми его прерогативами, чином генерал-майора, знаками инвеституры и большим денежным содержанием перешло в 1815 году, к единственному сыну его Измаил-хану. Человек еще молодой, но жестокий и кровожадный, презиравший туземное население, он окружил себя хойскими выходцами и, заручившись расположением лиц, окружавших слабого Ртищева, жестоко расправлялся со своими подданными, а все, что осмеливалось жаловаться на хана, выдавалось ему же головой и давало только повод к новым бесчеловечным пыткам и истязаниям. «С негодованием, – говорил Ермолов, – я должен упомянуть об одном постыдном поступке начальства по отношению к шекинским жителям».

Трагическое происшествие, о котором так резко отзывается Ермолов, ярко рисует и ханский деспотизм, и недальновидную политику Ртищева. Еще во времена персидского Хаджи-Челеби-хана на шекинской земле стояли три армянские деревни, пользовавшиеся если не избытком, то, по крайней мере, не видевшие нужды у своих домашних очагов. Слух об этом скоро дошел до жадного Челеби-хана, вошедшего и в историю под именем Бездушного, и армянам предложено было выбирать любое: или магометанский закон, или подать с каждого армянина по шестьдесят батманов шелку за право веровать по-своему. К чести армян нужно сказать, что между ними не нашлось никого, кто бы отрекся от веры отцов, и тяжкий налог скоро вконец разорил опальные селения. Прошли многие годы, шекинское ханство уже было под властью христианской России, а несчастные армяне продолжали покупать непосильным

налогом право исповедовать Христа. Кто-то надоумил их, наконец, обратиться с жалобой к Ртищеву. Армяне выбрали из среды своей шесть депутатов и отправили их в Тифлис. «Мы христиане, – говорили они главнокомандующему, – мы подданные христианского государя; за что же враги христианства берут с нас штраф за исповедование христианской веры?»... Ртищев не нашел лучшего, как просто сказать им: «Идите в ваши дома и не платите штрафа». Но едва депутаты вернулись в Нуху, как были подвергнуты Джафаром жестокой казни, а на жителей, за попытку к жалобе, сверх шестидесяти батманов шелку наложен был штраф в две тысячи рублей.

Когда Джафар умер, армяне рассудили, что просьба шести человек не была уважена, как им представлялось, только потому, что их было мало; и теперь уже не одни армяне, но евреи, проживавшие в ханстве, и даже татары отправились в Тифлис в числе трехсот человек; они явились к Ртищеву и просили его не отдавать шекинские земли во владение хойцам, а назначить для управления русского чиновника. «Жалобы их, слезы и отчаяние, – говорит Ермолов, не тронули начальства; их назвали бунтовщиками, многих наказали плетью, человек двадцать сослали в Сибирь, а остальных выдали головой новому хану, который подверг их бесчеловечным истязаниям, пыткам и казням».

Не менее характерен и следующий случай ханского самосуда, имевший место уже при преемнике Джафара, Измаиле. Летом 1916 года в деревне Ханабади был убит семилетний мальчик, сын тамошнего муллы; малютке нанесено было несколько ран кинжалом и перерезана шея. Никто не знал, кем было совершено зверское преступление, и лишь несколько женщин сказали, что в этот день через их деревню проехали трое евреев из Ка-

рабалдыра. Этого было довольно, чтобы евреев привлекли к ответу. Исмаил-хан, явившись сам на судилище, приказал пытать их; несчастных били палками, рвали клещами тело их, выбили им зубы, и потом зубы эти вколачивали им в головы. В беспамятстве и иступлении, терзаемые оговаривали других евреев, которых сейчас же хватали и предавали таким же истязаниям. Еврейские деревни Карабалдыр и Варташены были опустошены, женщины и мальчики изнасилованы. Такова была самостоятельность ханств и их самоуправление.

Едва Ермолов прибыл в край, как был буквально завален жалобами шекинских жителей. «Если бы моря обратились в чернила, деревья в перья, а люди в писарей, – говорилось в одной просьбе, – то еще не могли бы описать тех обид и бесчинств, какие причинили нам хойцы... Когда Джафар со своими подвластными прибыл в Шеки, хойцы были в таком виде, что и дьяволы от них отворачивались: на спинах было по лоскуту рубища, ноги босые, на головах шапки по пятнадцать лет, но как скоро живот их насытился хлебом, они, как хищные волки, напали на жизнь нашу и имущество...»

Ермолов, увидевшись с ханом седьмого декабря 1816 года в его владениях, в селении Мингечаур, обошелся с ним крайне сурово. Он публично, при всем народе, высказал ему осуждение его зверских поступков и приказал, собрав всех несчастных, искалеченных им, разместить их в ханском дворце до тех пор, пока хан не обеспечит семейства их. Приставу майору Пономареву вменено было в обязанность «немедленно восстановить равновесие между ханской властью и народной безопасностью».

Исмаил-хан видел во всех этих распоряжениях только ограничение своей власти и, понимая непрочность своего положения, стал искать поддержки в Персии и у наро-

дов Дагестана. Скрываясь от взоров русского пристава, он проводил большую часть времени в диванной, куда допускались лишь самые приближенные лица, через которых и велись все интриги и сношения. В то же время, на всякий случай, он мало-помалу отправлял свои богатства в Персию, куда и сам намеревался бежать при первом удобном случае. Судьба распорядилась иначе. Летом 1819 года, когда Мадатов собирал в дагестанский поход шекинскую конницу, Исмаил-хан, вынужденный сопровождать его во время этих поездок, внезапно заболел и в деревне Ниж, после восьмидневной тяжелой болезни, скончался. Некоторое время держался слух, что хан отравлен был ядом, причем одни обвиняли русских, другие втихомолку указывали, как на виновницу смерти, на его родную сестру. Слухи эти не имели никаких оснований. Хан умер от пьянства; в последнее время он пил без просыпу, пил голый ром бутылками – и в результате получил жестокое воспаление кишок, сопровождавшееся конвульсиями и кровавой рвотой. Тело Исмаила, по обычаю хойцев, отправлено было в Персию и предано земле в местечке Кербелай.

«Жалел бы я очень об Исмаил-хане, – писал Ермолов к князю Мадатову, – если бы ханство должно было поступить такому же, как он, наследнику, но утешаюсь, что оно не поступит в гнусное управление, и потому остается мне только просить Магомета стараться о спасении души его».

Прямых наследников после Исмаил-хана не было. Мать его, женщина до крайности хитрая, жена его, а также родственники прежнего ханского дома, давно уже скитавшиеся в Персии, принялись интриговать каждый в свою пользу. Но все хлопоты их остались бесплодными. При первом известии о смерти Исмаила Ермолов, чтобы

предупредить народные волнения, двинул в ханство войска. Сильный батальон пехоты, донской казачий полк и два орудия заняли Нуху, – и прокламация Ермолова возвестила шекинцам, что «отныне на вечные времена уничтожается самое имя ханства, и оно называется Шекинской областью».

Двадцать девятого августа 1819 года жители приведены были к присяге на подданство русскому императору. Ханские грамоты, печать и знамя были отобраны от семейства покойного хана, а взамен их из Тифлиса отправлены были в Нуху казенная печать, зеркало и царский портрет – принадлежности русского присутственного места. Приближенные к хану хойцы в числе ста тридцати семейств под конвоем были высланы в Персию, но ханская фамилия вся удержана в России и поселена в Елизаветполе с назначением ей приличного содержания. Напрасно карабагский хан домогался, чтобы семейству Измаила позволено было поселиться в Шуше под его попечением. Ему политично заметили, что «когда император принимает кого под свое высокое покровительство, то затем пособие карабагского хана ему будет не нужно». Так совершилось присоединение Шекинского ханства, не вызвавшее в населении ни малейшего волнения.

Уничтожение ханской власти сразу оказалось полезным для России даже и в чисто экономическом отношении. «До сих пор Шекинское ханство, – говорит Ермолов, – при меньшем пространстве и населении, нежели в Ширванском, давало доходу больше и платило казне подать в семь тысяч червонцев, а теперь доходы эти должны будут увеличиться вчетверо». Ермолов употреблял нередко весьма оригинальные приемы, чтобы увеличить казенный доход, не обременяя в то же время жителей никакими новыми налогами или повинностями. Была,

например, в Нухе казенная, прекрасно устроенная баня, оставшаяся после хана. Несмотря на роскошь и удобства ее, баня не приносила однако казне никакого дохода. Секретное расследование показало, что народ обходит ее по суеверному представлению, тайне поддерживаемому стариками и эфендиями, что тяжкий грех мыться в бане, насильно отнятой у хана. Чтобы уничтожить предрассудок, лишивший казну значительных доходов, Ермолов приказал отдать баню в содержание восьми духовным мусульманским особам вместо получаемого ими до того казенного жалованья. Казна, таким образом, сделала значительное сбережение, а муллы позаботились уже сами привлечь в баню народ, чтобы наверстать с лихвою потерянное жалованье.

Но увеличение доходов, о котором говорит Ермолов, являлось результатом только уничтожения ханского самовластия, а не богатства народного. Ханство было совершенно разорено, причиной чего, впрочем, было не одно сумасбродное управление ханов, но и склонность населения к непомерной расточительности. Вот в каких красках рисует нухинский комендант тогдашний быт шекинских жителей.

«Если не две части населения, – писал он, – то основательно можно сказать, что половина его имеют по две и по три жены, за которых платит огромный калым (мэхри). А так как наличных денег почти никто не имеет, то они занимают их на чудовищные проценты. Но этого мало: женившись большей частью в немолодых летах и не имея другой возможности привязать к себе молодую жену, они стараются делать им все угодное и исполняют их прихоти, покупая разные золотые украшения и парчовые платья, так что жена простого поселянина равняется своим убранством с женой богатейшего человека.

Отсюда начало разорения. Не успев выплатить первого займа, он делает новый, а проценты растут на проценты. В результате полная несостоятельность и двойное разорение – как должника, так и займодавца, лишаящегося своего капитала».

Забываясь о благосостоянии жителей, Ермолов обратил и на этот вопрос серьезное внимание. Он передал его на обсуждение почетнейших шекинских стариков и членов городского суда, и те постановили, чтобы никто, под опасением наказания, не давал поселянину займы более десяти монет; самое мэхри ограничено было пятьюдесятью рублями, а поселенцам поставлено в обязанность иметь только одну жену; кто же желал взять другую, тот должен был сперва представить доказательства своей состоятельности.

Несмотря на эти крутые меры, шедшие в разрез с обычаями, установившимися веками, спокойствие в ханстве не нарушалось, а благосостояние его жителей возрастало. Персидское вторжение 1826 года, правда, вновь взволновало все ханство, но то был мимолетный ураган, оставивший на поверхности шекинской земли только печальные следы разрушения, но не затронувший внутренних сил и основ, на которых стояла она. Оно было в то же время и освежающей бурей, разрешивший грозовые элементы в стране. Блестящие победы России убедили население ханства, что не Персии остановить грозную, надвигающуюся с севера силу, вносившую в их благодатную страну новый быт и новые понятия, и оно затихло навеки.

Не прошло и года после падения Шекинского ханства, как безвозвратно решилась участь и соседнего с ним богатого ханства Ширванского.

В то время владел им старый хан Рустафа – угрюмый, подозрительный и надменный. Высокомерие его не имело границ, и после князя Цицианова он не хотел видаться ни с одним из русских главнокомандующих.

К Ермолову, предшествуемому громкой молвой, он выехал, однако же, навстречу, и свидание произошло четвертого декабря 1816 года в селе Зардоба. «Со мною, – иронически говорит Ермолов, – хан поступил снисходительнее и был удивлен, когда я приехал к нему только с пятью человеками свиты, тогда как он сопровождался многочисленной конницей. Он однако дал мне заметить, что не каждому должен я вверяться подобным образом и что он точно так же предостерегал князя Цицианова... Хан не рассудил, – прибавляет Ермолов, – какая между князем Цициановым и мною была разница. Тот славными поистине своими делами был им страшен, а я только что приехал и был совершенно им неизвестен...»

Ширванское ханство Ермолов нашел в лучшем порядке, чем остальные; по крайней мере народ не был отягощен поборами и хан исправно вносил в казну восемь тысяч червонцев дани.

Столицей Ширвани в то время был древний исторический город Шемаха, сохранявший свое значение для страны в течение многих веков. Но старый хан не жил ни в ней, ни в Новой Шемахе, построенной уже во времена Надир-шаха, а перенес свою резиденцию на Фит-Даг, в крепкую горную позицию, где мог считать себя гораздо безопаснее, чем на открытых шемахинских равнинах.

Новая резиденция хана, расположившаяся на крутых склонах двух высочайших гор, образующих тесное и дикое ущелье, неприветливо встретила новых переселенцев: дома во время проливных дождей сползали по крутизнам и рушились; горные сырые туманы порождали болезни; воды вблизи не было, а трудные сообщения с деревнями,

по скалам и обрывам, безмерно поднимали цену всех жизненных припасов, которых по временам и совсем достать было невозможно. Понятно, что, несмотря ни на какие заботы владельца, город здесь существовать не мог, но крепость стояла грозной и неприступной твердыней.

Но и в этом совином гнезде Мустафа не чувствовал себя спокойным и безопасным. Суровый и надменный, он видел на своем долгом веку столько политических царских династий, что поневоле стал осторожен и подозрителен. Русских он боялся и никогда не доверял им. Правда, после первого свидания с Ермоловым он мог, по-видимому, рассчитывать на долгое и спокойное управление своим богатым и благоустроенным ханством, но фатум тяготел на нем, как на всем азиатском складе жизни тех стран, столкнувшихся с европейской культурой, — и сам же он первый и подготовил свое падение.

Когда политика Ермолова встала перед ним во всей ее определенности, Мустафа понял ясно, что самостоятельность его ханства продержится не долго. Он стал искать сближения с Персией, вмешивался в дела Дагестана, где у него были большие родственные связи, и этим, конечно, только ускорил роковую развязку.

И вот, в то время, когда Ермолов строил Грозную, а генерал Пестель готовился вступить в Каракайтаг и стоял в Кубе, Мустафа вдруг начал также готовиться к военным действиям, собирал войска и приглашал к себе на помощь лезгин. Пристав донес Вельяминову, что хан намеревается бежать и что между ним и Аббас-Мирзою идет по этому поводу деятельная переписка; из Персии, по словам того же донесения, приезжал к хану какой-то чиновник с предложением ста пятидесяти тысяч туманов тому, кто поднимет на русских дагестанские народы; во дворце Мустафы происходило совещание, после которого во-

семнадцать человек ширванских беков под видом купцов поехали к Сурхаю, а Сурхай, в свою очередь, немедленно послал какие-то сообщения Шейх-Али-хану; наконец, восемьдесят человек горцев, с сыном акушинского кадия, также под видом купцов, гостили у хана две недели, и персидский посол лично объявлял им волю шаха и ожидавшие их награды.

Медлить было опасно, и Вельяминов быстро двинул в Ширванское ханство войска, приказав казакам занять все переправы через Куру, чтобы воспрепятствовать побегу хана в Персию. Но вместе с тем, желая по возможности смягчить резкость принятых мер, он сделал вид, что войска посылаются не против хана, а для его защиты. В свою очередь и Ермолов написал Мустафе угрожающее письмо, в котором под видом дружеских упреков с резкой иронией давал ему почувствовать, что каждый шаг его известен и что за ним следят.

«Вы не уведомили меня, — писал ему Ермолов, — что в ханстве вашем жители вооружаются по вашему приказанию и что вы приглашаете к себе лезгин, о чем вы должны бы были дать мне знать как главнокомандующему и как приятелю, ибо я обязан ответствовать перед великим государем нашим, если не защищу верных его подданных; а к вам, и как к приятелю, сверх того, я должен прийти на помощь. Скажите мне, кто смеет быть вашим противником, когда российский император удостоивает вас своего высокого благоволения?»

Не желая в ожидании ответа вашего потерять время быть вам полезным, я теперь же дал приказание войскам идти к вам на помощь. Так přátельски и всегда поступать я буду, и если нужно, то не почту в труд и сам приехать, дабы показать, каков я приятелем и каков буду против врагов наших».

Нужно, впрочем, сказать, что Мустафа на этот раз имел действительные основания тревожиться. По донесению Мадатова, посланного расследовать дело в Ширвань, Мустафа стал собирать войска в то время, когда Пестель стоял в Кубе, предполагая, что русский отряд направится против его владений, и поводом к этому послужили бестактные действия самого же Пестеля.

Дело в том, что еще во время Дербентского похода, в 1797 году, главнокомандующий граф Зубов возвел в достоинство ширванского хана на место Мустафы, бежавшего тогда в Карабаг, двоюродного брата его Касима. Но только что русские войска вышли из Дагестана, Мустафа возвратился в Ширвань, снова завладел правлением и с тех пор в течение многих лет оставался совершенно независимым. Но шли годы: Грузия была занята русскими войсками, пало Ганжинское ханство, исчезла самостоятельность Карабага, и удерживать более независимость Ширвани казалось невозможным. Мустафа добровольно принял русское подданство и был утвержден в достоинстве хана.

А между тем, изгнанный им из Ширвани Касим-хан в течение пятнадцати лет скитался в горах Дагестана в суровой бедности. И вот теперь Пестель, придя в Кубу, вызвал его к себе, обласкал и имел с ним какие-то тайные переговоры, поселяя в нем надежду снова сделаться владельцем Ширванского ханства. Слух об этом дошел до Мустафы и, конечно, не мог не встревожить его. В разговоре с приставом он даже прямо сказал: «Зачем генерал имеет сношения с Касимом? Не хочет ли доставить ему ханство, а меня сослать?» И на все убеждения пристава, что слухи эти не имеют основания, он твердил одно: «Увидим, кто тогда выиграет». Вот это-то обстоятельство и было причиной его воинственных приготовлений.

Ермолов старался успокоить подозрительность хана, но вместе с тем и напоминал ему о долге верноподданного. «Ваша воля, – писал он ему, – верить или нет искренности моего совета, но если вы будете упорствовать в преступных намерениях, то, сколько ни прискорбно мне как доброму вашему приятелю, я скоро вразумлю вас, что я не забыл моих обязанностей к великому моему государю».

А тут, как нарочно, пало Шекинское ханство, и Мустафа уже стал в явно враждебные отношения к русским. «Я давно знал, что так будет!» – повторял он угрюмо, когда до него дошла ермоловская прокламация к шекинским жителям.

«Неужели русские полагают, что Дагестан им покорится и что они могут владеть им?» – часто говорил он в это время в раздумьи. Ни шах-Аббас, ни другие славные завоеватели там ничего не сделали. Право, русские не знают дагестанских народов, и скорее они обессилят и истребят сами себя, нежели покорят дагестанские горы и ущелья». Озираясь то на пять пушек, стоявших на дворе его дома, то на высоты Фит-Дага, на окружающие их скалы и утесы, он с удовольствием выражал непреложную уверенность, что резиденция его неприступна, и тысячу раз повторял, что во всей Ширвани нет места лучше и приятнее для него, как Фит-Даг.

Бегство Сурхая Казикумыкского через его владения и с помощью его же нуреков, между тем, окончательно испортило отношения Мустафы к России. К этому прибавилось то, что Ермолов, как раз в это же время, захватил в свои руки одного из самых близких к хану людей, который и выдал все его связи с дагестанцами. Мустафа решил было на подкуп, но значительные денежные суммы, отправленные им к разным лицам в Тифлис и к приставу Макаеву, были представлены Ер-

молову и обращены в казну. Мустафа узнал об этом и, ожидая наказания, начал готовиться к побегу в Персию. Все ценное имущество его, заключавшееся в ста сорока тысячах звонких червонцев, постепенно перевозились за Куру; туда же отправились многие семейства беков; сам Мустафа стоял еще на укрепленных высотах Фит-Дага, но при нем оставалось уже только небольшое число туземной конницы и до ста человек сурхаевских нукеров; жены его были совершенно готовы к отъезду; лошади и катеры были собраны и по ночам стояли оседланными. Ходил слух, что Мустафа, выпроводив из стана всех женщин, нападёт на русские войска, стоявшие в ханстве, и уже по истреблении их уйдёт в Персию. А на Муганской степи, по ту сторону Куры, стояло восемьсот шахсеванских наездников, и с ними сам Ата-хан, готовый принять Мустафу под свою защиту.

«Мы ожидаем побега хана с часу на час, – писал Ермолу пристав капитан Макаев, – я стою в деревне Сагьян с ротой и сорока казаками; стоим осторожно, потому что всякую ночь дают знать, что на нас будет нападение».

Одновременно с донесениями, шедшими от пристава, Ермолу продолжал получать и дружеские письма хана, старавшегося оправдывать свое поведение и выражавшего в них чувства неизменной верности русскому императору. Но в ответ на эти лживые письма два батальона и восемьсот казаков, под командой донского генерала Власова, форсированным маршем уже двигались в ханство. Ермолу ожидал, что Мустафа, собрав своих приверженцев, будет защищаться в крепком Фит-Дагском замке. Но хан о защите не думал и, предупрежденный вовремя, девятнадцатого августа 1820 года бежал в Персию. Казаки, однако же, шли с такой быстротой, что хан едва успел переехать Куру, как и они появились

уже в виду переправы. Два, три часа промедления, малейшая задержка неминуемо отдали бы хана в их руки. О поспешности бегства его можно судить по тому, что хан оставил во дворце двух меньших своих дочерей, из которых одну, грудную, нашли раздавленной между разбросанными сундуками и пожитками.

Впоследствии выяснилось, что Мустафа бежал через местечко Сулута; проехав ночью горные магалы, он перебрался потом через большую дорогу из Тифлиса в Баку, почти в виду Инчинского поста, и переехал через Куру на лодках, которые были приготовлены заблаговременно. Казакам Инчинского поста удалось схватить пятнадцать человек отсталых конно-вооруженных татар, спешивших вслед за Мустафой. А один из беков, враждовавший с ханом, с толпой своих людей догнал у переправы и захватил часть ханских драгоценностей. Это был Камбай-бек с теми ширванскими всадниками, которые так славно дрались в Казикумыке под русскими знаменами. К сожалению, здесь, у самой переправы, произошло с ними какое-то печальное недоразумение: казаки и апшеронская рота, полполковника Саглинова, подоспевшие сюда вслед за татарами, напали на конницу Камбай-бека, приняв ее за неприятеля, и не только отняли ханские вещи, но и ограбили ее собственные... А Мустафа, между тем, открыл ружейный огонь из-за реки и собственноручно ранил выстрелом одного из ширванских всадников...

Ханский дворец в Фит-Даге, никем не охраняемый, более суток стоял открытым, со всем покинутым в нем имуществом. И прежде чем русские власти успели принять какие-нибудь меры, он был уже разграблен жителями. Подошедшие сюда через день казаки с генералом Власовым нашли только пять азиатских пушек и два медные русские орудия с клеймами на них: «Петербург, 1784 года». По уверению старожилов, орудия эти

достались Мустафе-хану с Муганской степи, где они были брошены отрядом грузинских войск при поспешном отступлении их после внезапного возвращения графа Зубова в Россию.

Ермолов воспользовался всеми этими обстоятельствами, чтобы навсегда покончить с ханом. С редким тактом он приказал отправить к Мустафе дочь его в сопровождении почетной свиты, составленной из прежних ханских нукеров и жен тех ширванских беков, которые бежали с ханом. Последним позволили взять все движимое их имущество и даже часть прислуги. Этот поступок удивил персиян, имевших обыкновение в подобных случаях дотла разорять и конфисковывать имущество беглецов. Старый хан был видимо тронут возвращением своей маленькой дочери. «А я, — говорит Ермолов, — имел благовидный предлог избавиться от многих беспокойных людей, которые, оставаясь у нас, конечно, имели бы с ними сношения».

Вслед за тем прокламация Ермолова возвестила ширванцам, что «Мустафа за побег в Персию навсегда лишается ханского достоинства, а Ширванское ханство принимается в Российское управление». Жители отнеслись совершенно равнодушно к совершившимся фактам и остались спокойными. Генерал Вреде, прибывший из Кубы, тотчас учредил правление и привел к присяге все ближние и дальние магалы.

Тридцатого августа, в день тезоименитства русского государя, на неприступном Фит-Даге в первый раз в армянских церквях и татарских мечетях совершено было при громе пушек молебствие о здравии императора. Духовенство, беки и почетнейшие жители обедали в этот день у Вреде, а вечером город был иллюминирован и народ забавлялся фейерверками.

Но и самый Фит-Даг доживал свои последние дни. По неудобству гористого местоположения город здесь был упразднен, и все присутственные места переведены из него обратно в Старую Шемаху.

Так в два года два главнейшие ханства, Шекинское и Ширванское, одно за другим, без выстрела, на вечные времена присоединились к России. «Первое приобрел я, — говорит Ермолов в одном из своих писем, — истолкованием трактатов, как мусульмане толкуют алкоран, то есть, как приличествует обстоятельствам; Ширванское ханство достал познанием свойств хана: он наклонен к боязни и ее увеличивает в нем ипохондрия».

Помимо политического значения, присоединение Ширванского ханства принесло русской казне и большие доходы, что можно сказать лишь о немногих покоренных окраинах. «Бегство хана, — говорит Ермолов, — отяготило нас сладким бременем полумиллионного дохода». Казне достались между прочим прекрасный оружейный завод, находившийся в деревне Лагоджан, в гористой полосе Ширвани, и превосходные конские табуны, державшиеся на шемахинских равнинах. Лучшие жеребцы и кобылицы были отобраны и по распоряжению Ермолова отправлены в заводы Воронежской губернии, к ним присоединил он еще и двух собственных текинских жеребцов — подарок ему туркменского народа. По отличной породе и необычайной быстроте это были необыкновенные и дорогие экземпляры. Любопытен факт, что, отправляя лошадей, Ермолов приказал назначить для сопровождения их самого благонадежного офицера, «но ни в каком случае не из казаков». Вероятно, он опасался, что казаки не доведут без греха такого сокровища, как добрые кони.

Политическая роль ширванского хана кончилась. Аббас-Мирза выслал к нему навстречу, на границу Персии, дядю своего с приветствием и с приглашением приехать в Тавриз, а впоследствии отдал в его управление два соседних с Россией магала и даже содержал при нем почетный конвой из пятисот конных татар. Но это было все, что ему осталось от прошлого величия. Призрак прежней власти не переставал, однако, тревожить хана, и его конвой время от времени врывается в русские владения. Поныне помнят случай, когда одна из подобных шаек в июле 1823 года была открыта и понесла жестокое поражение при балке Экси-Кюр, между Зардобом и деревней Агаджеби. Ширванский комендант полковник Старков отзывается в своем донесении с особенной похвалой об усердии и храбрости ширванских беков, из которых один, Гассан-ага, изрубил в этой схватке одного племянника, другой, Умбай-бек, положил на месте четырех ханских нукеров. Мустафа должен был убедиться, что ему рассчитывать на население и поддерживать волнения и смуты в Ширвани – нельзя... Персидская война вновь воскресила было в нем большие надежды, но и им сбыться было не суждено.

Очередь была теперь за Карабагом.

Карабаг, то есть Черный сад, одна из богатейших и плодороднейших провинций за Кавказом, некогда принадлежал Армении; позднее завладели им персияне, и Надир-шах большую часть карабахских татар переселил в Хороссан. Одному из этих переселенцев, по имени Пана-хан, старшине Джеванширского племени, удалось бежать со значительным числом подговоренных им земляков на родину и там поднять знамя восстания. Ка-

рабаг отложился от Персии и в 1747 году провозгласил Пана-хана своим повелителем.

Так на границе обширного государства возникло небольшое независимое владение, упорно отстаивавшее свою самостоятельность. Пана-хан поселился сперва в Шах-Булахе, но в 1752 году он построил неприступную шушинскую крепость и перенес туда свою резиденцию. На стенах городской мечети и поныне сохранилась надпись, свидетельствующая, что город и крепость основаны Пана-ханом в 1167 году Геджры.

Но не долго Шуша служила резиденцией первому карабагскому владетелю. В следующем же году он умер, а сын его Ибрагим, наследовавший владение, уже принял титул карабагского хана – и Шуша стала столицей ханства.

Нужно сказать, что еще при Пана-хане в Карабаге вспыхнула междоусобная война между татарами и карабагскими же армянами, старавшимися выдвинуть в правители одного из своих меликов, Атам-Шах-Назарова. Пана-хан вынудил тогда своего соперника бежать в Ганжу, но при Ибрагиме он снова явился в Карабаг, и новый хан, чтобы раз навсегда отделаться от претендента, опасного и беспокойного, пустил в дело подкуп: Назаров стал жертвой измены и умер, отравленный ядом.

С его смертью внутренние смуты в Карабаге окончились, и Ибрагим имел возможность заняться устройством страны и развитием ее внутренних сил.

Пятьдесят два года властвовал Ибрагим в Карабаге, пятьдесят два года отстаивал свою независимость от Персии, и геройская оборона Шуши против громадных полчищ аги-Мохаммед-хана составляет бесспорно один из лучших моментов военной истории этого воинственного края. Но роковой час пробил и для Ибрагима. Па-

дение Ганжи и смерть Джават-хана показали мусульманским владельцам, что ожидает их при сопротивлении русскому оружию. Старый Ибрагим решил предупредить кровавую развязку и в 1805 году первый из всех мусульманских владельцев добровольно присягнул на верность России. Но присяга была далеко не искренна. Едва русский батальон, приветствуемый шумной овацией христианского населения, вступил в Шушу и стал в армянском квартале, как Ибрагим раскаялся в своей поспешности и отправил гонца к персидскому шаху, прося его прислать войска для занятия Карабага. Персияне подошли к Араксу, распуская слух, что идут наказать Ибрагима. Ибрагим деятельно готовился к защите, но в то же время изыскивал способы тайно уехать из Шуши и передаться персиянам. Нужно сказать, что он имел привычку выезжать каждый четверг со всем своим семейством за город, проводил ночь в поле, верстах в двух от городских ворот, и в пятницу вечером возвращался в крепость. И на этот раз хан, под видом обычной прогулки, выехал с большой свитой, но с тем, чтобы ночью уже бежать в неприятельский лагерь. Внучатый племянник его, Джафар-Кули-ага, тогда еще юноша, впоследствии наследник карабагского ханства, — успел уведомить обо всем Лисаневича. Лисаневич, задержав его в своей квартире, сам скрытно вышел из города, чтобы арестовать Ибрагима, — и в произошедшей при этом стычке хан был убит. Тогда карабагское владение перешло по наследству к старшему сыну его Мехти-Кули-хану. Этому-то третьему владельцу Карабага и суждено было вместе с тем быть и последним его повелителем.

Джафар также остался в Шуше, но естественно, что он и Мехти никогда уже не могли примириться: между ними стояла кровавая тень Ибрагима.

Ермоловские времена застали Карабаг в положении весьма печальном. Из некогда богатого населения, простиравшегося до двадцати четырех тысяч семейств, теперь не оставалось в нем и половины. Персидские войны, делавшие Карабаг по преимуществу ареной военных действий, совершенно разорили страну; огромное количество жителей увлечено было в плен, не меньшее — разошлось по разным местам. В равнинах Карабага, прилегавших к персидским границам, никто не осмеливался даже и селиться. Повсюду виднелись там лишь развалины сел, остатки обширных шелковичных садов и запущенные, заброшенные поля.

Под русским владычеством персидские войны давно уже утратили характер народных бедствий для Карабага, но страна не только не поправлялась, а, напротив, падала. Мехти-хан не делал ничего для благосостояния подданных, проводя все время в гаремах, да занимаясь охотой с собаками и ястребами. Даже ханский дворец представлял развалины, в которых не было и признака той роскоши, которая когда-то окружала деда и потом отца Мехти-хана. Между тем ханские любимцы обирали не только народ, но и его самого так, что нередко ему недоставало средств содержать себя приличным образом. Ничтожная дань уже не вносилась в казну несколько лет кряду. Ермолов, еще при первом объезде Карабага, был поражен нищетой края и его дурным управлением. Он это и дал почувствовать хану. Заметив близ самого дворца в Шуше маленькую и некрасивую мечеть, прихорюлившую в совершенный упадок, Ермолов грозно сказал Мехти: «Я требую, чтобы к моему будущему приезду

на месте этих развалин выстроена была новая мечеть, которая соответствовала бы великолепию вашего дворца». Эти слова, сказанные по-татарски, в присутствии многих лиц, произвели на малодушного хана подавляющее впечатление, от которого он никогда уже не мог оправиться. Боязнь скоро и подготовила ему падение.

Прошло уже два года с тех пор, как перестали существовать Шекинское и Ширванское ханства; о Карабаге, по-видимому, забыли, — как вдруг двадцать первого ноября 1822 года в Тифлис пришла весть, что Мехти-хан бежал в Персию. Долго не могли понять причин, побудивших его к побегу. Но причины были. К этому времени открылось одно обстоятельство, по поводу которого хан мог опасаться серьезной ответственности. Дело в том, что с жителей ханства по воле государя были сложены значительные недоимки, накопившиеся за несколько лет, но они не воспользовались этой милостью: расточительный хан скрыл от них это обстоятельство и собрал недоимки в свою пользу. Но была и другая, еще более веская причина, — это трагическая история, разыгравшаяся тогда в Карабаге между Мехти-ханом и Джафар-Кули-агой, наследником карабагского ханства. Между ними давно уже, как сказано, шла тайная, но постоянная борьба, разгоравшаяся с каждым днем, и Ермолов, несмотря на все старания, никогда не мог примирить враждующих.

Джафар вел жизнь рассеянную и разгульную. Было время, когда он без утомления по сорока часов сряду просиживал за карточным столом и потом, как ни в чем не бывало, садился на коня и отправлялся на охоту. Раз, заигравшись в карты у Малахова, он поздно ночью возвращался верхом домой. У мостика, неподалеку от ханского дворца, его ожидала, между тем, засада. Судьба, в которую Джафар так безусловно и искренне верил,

спасла его: три пули просвистали мимо, и только четвертая пронзила ему руку, но рана была легкая.

Пораженные неожиданностью выстрелов, сопровождавшие Джафара нукеры смешались, и убийцы успели скрыться. Джафар заявил подозрение на самого хана, так как никому более и не могла быть нужна его смерть. Джафар говорил, что за несколько дней перед тем его секретно предупреждали о преступном намерении хана, и если он не брал никаких мер предосторожности, то только потому, что не мог предвидеть, чтобы покушение произведено было с такой наглой дерзостью. Назначено было формальное следствие, несколько приближенных лиц к хану были арестованы, и, вероятно, это-то обстоятельство так напугало мнительного Мехти, что он, в сопровождении всего пятнадцати-двадцати нукеров, выехал из дворца — и больше в него не возвращался. На другой день узнали, что хан уже в Персии. Он бежал почти без денег, покинув в Карабаге и жен, и все свое имущество.

Между тем следствие выяснило, что хан ни в чем виноват не был. Напротив, на самого Джафара падало уже подозрение, что он подстроил всю эту историю сам и сам себя легко ранил в руку, чтобы иметь возможность выступить обвинителем против хана и занять его место. Все обстоятельства сложились так, что Джафар, при тех подозрениях, которые на нем тяготели, уже не мог оставаться в крае и вместе со своей семьей был выслан в Симбирск. Семейство Мехти было отправлено в Персию. Карабаг остался без хана и без наследника — и был обращен в простую русскую провинцию.

В том же году, осенью, возвращаясь из Кабарды, Ермолов посетил Карабаг, и в его присутствии в Шуше открыт был диван (провинциальный суд), введено рус-

ское управление, и народ принял присягу на верность русскому императору. Жители города поднесли тогда Ермолу, в память присоединения области, булатную саблю с соответствующей надписью.

Присоединение ханств стало совершившимся фактом.

Правда, оставалось еще одно самостоятельное ханство, Талышинское, управляющееся полковником Мир-Хассан-ханом, утвержденным в этом звании только с четырнадцатого июля 1821 года, но оно, издавна разоряемое персиянами и находившееся в кровной вражде с ними, было не только неопасно для России, но еще освобождало ее от охраны самой отдаленнейшей части русской границы. Было время, когда и Мир-Хассан-хан, напуганный участью соседних владельцев, собирался покинуть все и также бежать под покровительство Персии. Но Ермолов поспешил его успокоить. Он известил его, что бежавшие ханы лишились своих владений вследствие измены, но что русское правительство никогда не имело притязаний на уничтожение ханской власти.

«Посмотрите на высокостепенного Аслан-хана, — писал ему Ермолов, — ему государь великодушный дал и ханство Кюринское и ханство Казикумыкское. Так вознаграждает он служащих ему с верностью!

Но впрочем, — прибавляет Ермолов, — если вы точно намерены удалиться, то место ваше тотчас же займет один из старших братьев ваших, который захочет быть усердным подданным великого государя. Так предписано уже от меня военному в Талышах начальнику, и от братьев ваших сего скрывать я не имею причины». Мир-Хассан-хан остался. Это, впрочем, не помешало ему изменить при первом слухе о готовившейся войне с персиянами.

Ханства более не существовали. Этим мирным присоединением их, обошедшимся без всяких тревог и волнений, Россия обязана была в весьма значительной степени князю Мадатову. Назначенный в 1817 году военным окружным начальником в ханствах, он, сам уроженец Карабага, с его воинственным характером, с его глубоким знанием татарских нравов и языков, был незаменимым на его посту человеком. Его благоразумная осторожность, соединенная со справедливостью и открытым, благородным характером, снискали ему всеобщую любовь жителей. В его деятельности народ познакомился именно с мирным управлением русских и научился видеть недостатки управления ханского, а под его предводительством вскоре побратался с русскими войсками кровью и на полях битвы.

В свободное от походов время Мадатов отдавал все свои мысли на устройство закавказских провинций, особенно в это неопределенное время перехода их от ханской власти под русское управление, и он успел утвердить в них такое спокойствие и безопасность, что сам Ермолов ездил там, и даже по ночам, в сопровождении лишь конвоя из туземных беков. При Мадатове появилась пословица, что «в Карабаге женщина может ходить безопасно с блюдом золота на голове».

Таким образом мысль Ермолова, направленная на закрепление ханств за русской властью, нашла в Мадатове замечательнейшего и энергичнейшего исполнителя, которого не должна забыть история.

3. АБХАЗИЯ

По берегу Черного моря, начиная от Гагр до реки Ингуры, лежит Абхазия – одна из благодатных стран Кавказа, покрытая вечной, неувядающей зеленью. Здесь под открытым небом растут лимонные, персиковые и чайные деревья, цветут киноны, розы и лавры, есть целые пальмовые рощи, и громадные девственные леса еще неприступнее и диче, чем леса Мингрелии и Имеретии. Всякая растительность, имеющая характер трав и кустов, под влиянием абхазского солнца принимает древообразные формы, достигая гигантских размеров. Тонколиственные азалии, со своими красивыми желтыми цветами, испускающими тяжелый, одуряющий запах, вытягиваются до шести аршин и покрывают собою долины и поля Самурзакани и Абхазии; гигантский папоротник встречается в виде густых и частых посевов; коленчатый рододендрон – краса Черноморского побережья, с длинными листьями и роскошными лиловыми букетами, образует целые чащи по скатам и оврагам. И надо всем этим раскидывают темно-зеленую листву античные деревья: чинар, бук, каштан и пальма...

Край этот мог бы считаться одним из прекраснейших уголков земного шара, если бы не его нездоровый климат. Громадные леса, особенно колоссальные папоротники, скрывают под собою болота, служащие источником губительных лихорадок. Опыт показал, однако же, что

если папоротник выкашивать три года сряду, то он погибает окончательно, и тогда на месте нездоровых болот образуются превосходные покосы и луга. Это обстоятельство так важно и так очевидно, что перед ним не устояла даже классическая лень абхазцев, и там, где они истребляли папоротник, климат быстро изменялся к лучшему.

Богатая почва Абхазии, казалось, должна бы служить источником довольства и даже роскоши для ее обитателей. В действительности она-то и служит причиной их крайней бедности. Абхазцы сеют только гоми и кукурузу, которые не требуют ухода и дают чудовищные урожаи, и потому абхазец работает в течение года двадцать-тридцать дней, а остальное время проводит в беспечной бродяжнической жизни. Только немногие из них промышляют ловлей дельфинов, которых у берегов Черного моря так много, что они нередко опрокидывают каюки охотников, но абхазцы этого не боятся, потому что плавают не хуже дикарей океанских островов.

Абхазское племя занимало не одну Абхазию, оно жило также в Самурзакани и Цебельде и, наконец, по ту сторону Кавказского хребта, в земле абазин. Самурзакань, населенная преимущественно выходцами из Имеретии, Мингрелии и Гурии, подчинялась мингрельским Дадиянам, но власть этих последних была чисто номинальной. Цебельда всегда оставалась независимой; это было просто небольшое разбойничье племя, жившее в неприступных верховьях Кодора, откуда оно не давало покоя даже самим абхазцам. Абазины, малочисленное племя, в сущности те же абхазцы, которые покинули родину вследствие внутренних раздоров, ссор и кровомщений и, перевалившись через Кавказский хребет, поселились среди закубанских черкесов, между истоками Зеленчука и Белой; от коренных абхазцев они отличались более суровой воинственностью и чистотой нравов.

Абхазцы были когда-то христианами, потом под влиянием Турции приняли ислам, затем многие снова возвратились к христианству, и в конце концов не было у них ни одной религии, которая сохранила бы свою чистоту. И христиане и магометане одинаково исполняли лишь наружные обряды, и только одни абазины придерживались строго магометанского закона.

Не отличаясь религиозностью, абхазец в то же время не отличался ни умственными способностями, ни строгой нравственностью. В его национальном характере резко выделялись: отвращение к честному труду, воровские наклонности, корыстолюбие и вероломство. «Помоги тебе Бог, – говорила мать, благословляя сына и передавая ему в первый раз шашку, – приобрести этой шашкой много добычи и днем, и ночью», – иначе сказать: путем правым и неправым. Вся слава абхазца состояла в том, чтобы бродить из одного места в другое, воровать чужой скот и имущество, а при удаче – и самих поселян для продажи в неволю. Позднее, под властью русских, торговля людьми стала для них трудна, если не совершенно недоступна, но воровать можно было почти по-прежнему, отделываясь только временным заключением, а выпущенный из-под ареста абхазец не без гордости говорил, что он воротился из плена.

Убить кого-нибудь из засады было в Абхазии делом самым обыкновенным, чему способствовали густые леса, где, даже видя неприятеля, не всегда возможно было до него добраться. То и дело получались известия о солдатах, о казаках, реже о самих абхазцах, убитых в лесу неведомо кем, и хотя все это обыкновенно валилось на цебельдинцев, но справедливость требует сказать, что никто так не способен пырнуть ножом из-за угла, как житель самой коренной Абхазии.

Все народы абхазского племени носили черкесскую одежду, которая отличалась, однако же, двумя особенностями, не важными, но весьма приметными для жителей гор: черкеска абхазцев была гораздо короче черкески соседних с ними племен Адыге, а башлык они обвивали около шапки, в виде чалмы, чего никогда не делали черкесы; кроме того, у черкесов башлык всегда был белого цвета, а у абазин и абхазцев – черный или коричневый.

Когда-то Абхазия славилась своими красавицами, и у абазин остались еще яркие следы женской красоты этого племени; все женщины там безусловно прекрасны, и турки, скупая горских красавиц, до последних дней предпочитали им только гуриек. Но из коренной Абхазии давно уже вывезены лучшие женские типы за море, на долю туземцев осталась только посредственность, и красота мужчин резко преобладает теперь над красотой женщин.

России Абхазия досталась без затруднений, без усилий, спустя шесть-семь лет после занятия Грузии; абхазцы сами изъявили готовность подчиниться России. В 1810 году русские окончательно выгнали турок, господствовавших в стране в течение двух с половиной веков, и, заняв Сухум, утвердились на всем Черноморском побережье. Русское правительство, впрочем, заботилось в то время исключительно об уничтожении турецкого влияния в этих краях и оставило тогдашнего владельца Абхазии князя Сефер-бея Шервашидзе (в христианстве Георгия) полным властелином страны.

Но описанный выше национальный характер абхазцев не обещал в будущем ничего, кроме бесконечных смут; и действительно, Абхазия и под властью России осталась классической страной вероломства, предательства и интриг, в которых не последнюю роль играл и сам правитель ее. Русское влияние было ничтожно, поддер-

живаемое исключительно малочисленным гарнизоном в Сухуме. За стенами Сухум-Кале уже не было безопасности. Самый гарнизон жил как бы в постоянной блокаде: нужно ли было нарубить в ближайшем лесу дров, или накопить сена – солдаты посылались вооруженными командами; никто из абхазцев не впускался в крепость вооруженным; сторожевая цепь, с ружьем у ноги, днем выдвигалась вперед на сто шагов от крепости; на ночь она убиралась, но крепостные ворота тогда запирались, и за стены выпускались собаки, которые оберегали гарнизон от нечаянных ночных нападений, громким лаем давая знать о приближении абхазцев, которых они ненавидели.

Да и в самом Сухуме положение гарнизона было печально. Сухум город старый; его основание, также как и Поты, относится к последней четверти шестнадцатого века, – и это были первые пункты, построенные турками на берегу Черного моря, когда они подчинили своей власти Имеретию, Мингрелию, Гурию и Абхазию. Во время владычества турок Сухум имел около шести тысяч жителей, крепость окружена была красивыми предместьями со множеством тенистых садов и пользовалась отличной водою, проведенной из гор. По красоте местоположения Сухум обыкновенно называли вторым Истамбулом. Но после занятия города русскими турки немедленно покинули предместья, абхазцы вообще не имели обыкновения жить в городах, а русское население не могло существовать в соседстве их при неустроенном состоянии края, – и Сухум опустел. Французский путешественник Гамба, посетивший его в 1820 году, говорит, что крепость, построенная в нем из дикого камня, с четырьмя бастионами по углам, имела вид развалин. Город весь состоял из единственной улицы и базара, в котором торговало до шестидесяти наезжих армян – вот и все

мирное население Сухума. Дольше других предместий за стенами крепости держались деревянные бараки, занятые греческими и армянскими купцами и служившие базаром, на который стекалось окрестное население, но лет за шесть до проезда Гамбы и эти бараки были уничтожены, потому что мало-помалу они обратились в притон разбойников и контрабандистов: под видом торговли здесь скрывались шайки хищников, а греки и армяне, падкие на барыши от продажи невольников, помогали им в нападениях на русских солдат.

Климат был здесь прекрасный; в Сухуме росли даже лавры, и наши солдаты употребляли их просто на банные веники – парились лаврами. Но когда водопроводы были разрушены, а кругом крепости разостлались заразительные болота, солдаты должны были пить вонючую воду, и в крепости появились страшные лихорадки. Гарнизон имел болезненный вид несчастных жертв, обреченных на гибель. Половина солдат, действительно, и вымирала ежегодно; они знали это, но безропотно доверялись своей судьбе, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственную русскому солдату.

Неудивительно поэтому, что русские не могли ничего сделать против постоянных смут, царивших в Абхазии, и владетель тщетно жаловался на неповиновение народа. Одной из главных причин такого положения дел было то, что князь Георгий сделался владетелем Абхазии против желания народа, более склонявшегося в пользу младшего брата его, Хассан-бея, человека железного, предприимчивого характера, но, к сожалению, всей душой преданного мусульманству. И до самых ермоловских времен страну терзали постоянные междоусобицы. Владение Абхазией было сопряжено с такими затруднениями, что несколько раз возбуждался вопрос о том, не следует

ли отдать ее обратно туркам. С особенной настойчивостью мысль эта проводилась в двадцатых годах. Ермолов явился крайним противником этой меры.

Вот пронизательные и неопровержимые доводы, приводимые им:

«Абхазия в теперешнем состоянии доставляет нам безопасные бухты, и Мингрелия почти не подвержена хищным набегам, ибо абхазцев обуздывает страх.

При первом взгляде эти выгоды могут показаться весьма ограниченными, но смотреть надо не на них, а на те неудобства и вред, кои произойти должны, если Абхазия отдана будет туркам.

Прежде всего доверенность здешних народов к России чрезмерно должна поколебаться, так как уступку земель они отнесут на счет могущества Турции. Владетельные князья Мингрелии, Гурии и даже князья имеретинские, видя участь Абхазии, могут ожидать таковой же впоследствии и для себя и заранее будут искать расположения турок, доказывая им свою приверженность бесконечными возмущениями, которые турки, в свою очередь, не упустят поддерживать.

Участь абхазского владельца, князя Георгия Шервашидзе, произведет на всех самое дурное впечатление. По чрезвычайной привязанности к родине он не оставит земли своей, и первая жертва, принесенная им новому правительству, — будет христианская вера. Но едва ли и это спасет его, ибо турки никогда не простят ему прежнюю перемену закона и вступление под покровительство христианского государя. Брат его, Хассан-бей, ревностнейший мусульманин, человек зверского характера, воспользуется расположением к себе турецкого правительства — и сделается владетельным князем коварнейший из врагов наших.

Распространение христианской религии, которая столь нужна для смягчения здешних нравов, не только прекратится, но надо ожидать страшных истязаний тем, которые отреклись от прежней веры и приняли христианство, надеясь на могущественную защиту России. Оставление единоверцев наших произведет наибольший для нас вред в общественном мнении.

По уступке Абхазии торг невольниками усилится в полной мере. И между тем как все государства прилагают столько забот о прекращении продажи негров, мы, хотя и невольно, будем содействовать торговле людьми, и для нас это будет тем более чувствительно, что продаваемые будут христиане, жители Мингрелии и Имеретии.

С уступкой Сухумской бухты разовьется морское пиратство, и в короткое время наши купеческие суда уже не осмелятся приходить в Редут-Кале, и мы, лишившись подвоза из России провианта, не в силах будем защитить наших владений — и тогда лишимся не одной Абхазии.

Если же я не довольно сильно умел выразить все описанные мною неудовольствия, и участь Абхазии будет решена, — писал в заключение Ермолов, — то прошу, чтобы исполнение этого было возложено уже на другого, ибо я, будучи начальником, много потеряю в общем мнении, тому способствуя».

Так писал Ермолов министру иностранных дел в марте 1820 года.

Прошел после этого год и выдвинул совершенно новые обстоятельства, которые заставили русское правительство рядом усилий прочно и навсегда подчинить Абхазию своей власти. Первым из этих обстоятельств была смерть князя Георгия и поставленный ею вопрос о наследовании абхазского владения.

Князь Георгий Шервашидзе (Сефер-бей) скончался седьмого февраля 1821 года. В стране сейчас же закипела

борьба партий. Уже восьмого числа жители селений, соседних с Сухумом и подвластных Хассан-бею, брату и личному врагу умершего князя, собрались в числе двухсот человек и внезапно напали на русскую команду, посланную в лес за дровами. В Сухуме услышали выстрелы, и комендант майор Могилянский отправил в помощь к атакованным поручика Гришкова с ротой пехоты и одним орудием. При его появлении абхазцы рассеялись. Команда возвратилась домой, потеряв одного человека убитым и четырех ранеными.

Вопрос о престолонаследии, между тем, зависел от воли русского императора, а пока шла переписка по этому поводу, правительницей была объявлена вдовствующая княгиня Тамара. Положение ее было весьма затруднительно, и она просила помощи, но сухумский гарнизон был слишком слаб, чтобы серьезно вмешаться в дела страны, и комендант получил только повеление, в случае необходимости дать в крепости убежище княгине, которая легко могла бы попасть иначе в руки мятежников.

Между тем Могилянскому приказано было всеми средствами стараться захватить в свои руки Хассан-бея, как одного из самых опасных противников. Могилянский прибегнул к вероломству. Он пригласил его в Сухум под предлогом совещания об абхазских делах, и когда Хассан, как почетный гость, вошел в его дом, на него набросилась толпа солдат, свалила его на пол, сорвала с него оружие и связала веревками. Немногочисленная свита князя, стоявшая во дворе, услышала шум, догадалась в чем дело и с обнаженными шашками бросилась к нему на выручку. Запертые двери были сорваны с петель, но здесь солдаты встретили нападавших штыками: два цебельдинские князя были заколоты, остальные обезоружены.

Весть об аресте Хассан-бея подняла почти всю Абхазию. Брат его, известный отцеубийца, Арслан-бей,

тотчас явился с большими силами убыхов и джегетов в окрестности Сухума и утром одиннадцатого сентября, во главе значительной конницы, с распущенными знаменами, торжественно проехал даже под самыми стенами крепости. Толпы его ежедневно росли. Комендант Сухума подполковник Михин, сменивший Могилянского, настоятельно требовал помощи.

Правитель Имеретии князь Горчаков собирал войска, а, между тем, в это время из Петербурга прибыл законный владетель Абхазии, старший сын покойного Георгия, князь Димитрий Шервашидзе, юноша, только что вышедший из Пажеского корпуса. Горчаков вместе с ним немедленно выехал из Кутаиса в Абхазию. Сопровождаемые мингрельской конницей, они догнали войска уже на походе, на самой границе Самурзакани, и здесь первого ноября получили известие, что Арслан-бей с тремя тысячами горцев стоит в крепкой позиции между Кодорским мысом и деревней Хелассури.

Дорога от границ Самурзакани идет по низменному песчаному морскому берегу, окаймленному с одной стороны густым и труднопроходимым лесом. Здесь-то, верстах в четырех от Кодора, мингрельская конница, следовавшая в авангарде, первая наткнулась на неприятеля и понесла большие потери. Русская пехота также встречена была сильным огнем. Но князь Горчаков, не оставившаяся, двинул войска вперед и овладел завалами. Напрасно горцы, вооруженные дальнобойными винтовками, пытались удержать наступление. Пушки расчищали дорогу, а в лесу, на близком расстоянии, и русские стрелки били не хуже черкесов. Неприятель наконец стал отступать и скрылся из виду. День этот стоил, однако, отряду двух офицеров и семидесяти пяти нижних чинов, причем большая часть потерь выпала на долю

мингрельцев, дрогнувших и смешавшихся при первом натиске горцев.

С прибытием Горчакова в Сухум волнения в Абхазии скоро затихли. Цебельдинцы первые изъявили покорность, знатнейшие абхазские фамилии также дали аманатов, и Арслан-бей должен был удалиться в Анапу. Тридцатого ноября 1821 года в княжеской резиденции Соупсу, при многочисленном собрании князей и дворян страны и в присутствии русских войск, князь Димитрий Шервашидзе торжественно провозглашен был владетелем Абхазии, князь Горчаков лично вручил ему знамя и меч как знаки его верховного владычества.

Устроив дела в Абхазии, Горчаков возвратился в Имеретию, а в Соупсу оставил две роты егерей, что было весьма кстати, так как беспокойный Арслан-бей снова успел собрать значительные партии горцев и спустя короткое время напал на самую резиденцию Димитрия. Две русские роты отразили нападение.

Новый владетель Абхазии не принес, однако, стране спокойствия, как и она не дала ему ничего, кроме тяжких забот и ранней смерти. Гамба в своих записках рассказывает, что он был в Петербурге как раз в то время, когда там получены были известия о смерти Сефер-бея. Император Александр потребовал тогда князя Димитрия, бывшего в Пажеском корпусе, в Зимний дворец, и лично объявил ему, что с этой минуты он – владетель Абхазии. Вечером, приглашенный ко двору, смущенный юноша сидел уже рядом с русским государем и служил предметом общего внимания сильной петербургской знати. Теперь, брошенный судьбою с далекого севера, из пышной столицы русских монархов, в дремучие леса своей полудикой родины, незнакомый народу и сам не знавший ни его языка, ни его обычаев, окруженный притом

интригами партий, он не сумел взяться твердой рукой за кормило правления и жил не полновластным государем своей земли, а пленником, за каждым шагом которого следили тысячи глаз. И власть его, естественно, была кратковременна: шестнадцатого октября 1822 года Димитрий умер внезапно, отравленный одним из приверженцев Арслан-бея.

Ближайшим наследником Абхазии теперь остался младший брат его, князь Михаил, тогда еще шестнадцатилетний юноша, но уже обладавший многими качествами, имеющими высокую цену у кавказских горцев: он был воспитан в обычаях родины, отлично стрелял из ружья, ловко владел конем и не боялся опасностей; в молодых летах он уже участвовал в битвах, и князь Горчаков свидетельствовал об отличиях, оказанных им при усмирении последнего абхазского восстания. По ходатайству Ермолова император Александр пожаловал ему чин майора и утвердил владетелем.

Так вступил во владение Абхазией знаменитый князь Михаил Шервашидзе (по-абхазски Хамит-бей) – впоследствии генерал-адъютант русской службы, которому суждено было управлять страной сорок четыре года, до окончательного покорения Кавказа, когда владетельные права князей Шервашидзе были наконец уничтожены и Абхазия обратилась в простую русскую провинцию.

Князь Михаил очутился в еще более тревожном положении, чем его покойный брат. Он был слишком молод, чтобы не вызвать попыток играть роль правителей со стороны сильных и знатных вассалов, из которых каждый считал себя неизмеримо выше, умнее и опытнее юного князя. И около него не нашлось искренно приверженных людей, которые остерегли бы его от опасности; напротив, многие из приближенных к нему явно

держали сторону Арслана, а мать его своими бестактными действиями еще более умножала число недовольных. Сделана была даже попытка отравить Михаила, так же как был отравлен и Димитрий. Один из дворян, по имени Урус Лаквари, поднес ему воду, насыщенную каким-то особенным ядом. Но осторожный князь обмакнул в воду кусок хлеба и бросил его собаке; та тотчас же стала бешено бросаться на людей, и ее принуждены были убить. Преступника схватили, и после сознания, что он же отравил и Димитрия, повесили в Соупсу на площади.

Молодой владетель с удивительной энергией и тактом умел выходить из самых затруднительных положений, но он был еще слишком юн и неопытен, чтобы бороться с внутренними смутами и заговорами, нити которых сосредоточивались тогда в искусных и сильных руках его дяди, Арслан-бея. И вот в апреле 1824 года волнения в стране настолько усилились, что сухумский гарнизон был вынужден напасть на одну деревню, где собирались мятежники. Деревня была разрушена, жители рассеяны, но на возвратном пути отряд попал в густом лесу на засаду, и одним из первых был убит храбрый начальник его, подполковник Михин. «Вероятно, — говорит Ермолов, — что за сим последовал некоторый беспорядок, и он был причиной потери нашей, ибо убито и ранено сорок два человека, что не весьма обыкновенно». Этой частной неудачи достаточно было, чтобы в крае вспыхнул общий мятеж. Владетель едва успел отправить свою мать в Сухум, под защиту русского гарнизона, как был атакован в Соупсу несколькими тысячами абхазцев. Две роты Мингрельского полка и два орудия, стоявшие в княжеском доме, под командой капитана Марачевского, очутились в блокаде.

Тревожная весть об этом скоро достигла князя Горчакова, и правитель Имеретии сам двинулся из Кутаиса

в Абхазию на помощь осажденному владетелю. При переправе через реку Ингур произошла первая, незначительная стычка с мятежниками, но далее, по дороге к Сухуму, войска встречали уже завал за завалом, и неприятель дрался упорнее. Так дошли до реки Кодор. Здесь стояли чебельдинцы, убыхи и джегеты. К Горчакову также подошли подкрепления: прибыл владетель Мингрелии генерал-лейтенант князь Дадиян, со своей милицией. Переправа взята была штурмом, и войска, при непрерывном бое, дошли до села Дранды.

Отсюда дорога спускалась через густой лес к морю и потом, поворачив направо, шла вплоть до Сухума берегом по глубокому песку, в котором колеса орудий вязли по ступицу. С одной стороны ее шумело море, с другой — высился сплошной страшный лес и поднимались одетые им крутые контрфорсы главного хребта, подпиравшие ряды снеговых вершин, врезавшихся в горизонт зубчатой блестящей стеной. Путь был тесен, местами не шире четырех-пяти саженей, и грозил опасностями — страшными именно своей неизвестностью. В этом-то месте абхазцы и преградили русским дорогу. От самого моря и до леса вытянулся высокий завал, прикрытый с фронта развалинами старой генуэзской крепости и упирившийся флангами с одной стороны в отвесный каменистый утес, с другой — в морскую пучину. Обойти его было нельзя, следовательно — его надо было взять штурмом, так как об отступлении не могло быть и речи.

Поражаемые почти в упор сильным огнем невидимого противника, шесть рот пехоты, молча, без выстрела, двинулись на штурм — и взяли завал штыками. Но за одним завалом тянулся ряд других. Трудно сказать, какая судьба постигла бы наступавшие войска без помощи судов, крейсировавших у берега Черного моря. Это были: бриг «Орфей» и фрегат «Светлана». Не теряя отряда из

виду, они медленно подвигались вдоль берега и анфилировали завалы прежде, чем войска устремлялись на приступ. Не выдерживая картечного огня морских кораблей, горцы постепенно очищали завал за завалом, и таким образом они переходили в наши руки уже без больших усилий. Не лишнее сказать, что на один из них первым вошел сам владетель Мингрелии князь Дадриан, во главе своей милиции.

Убедившись, что остановить наступление русских нельзя, абхазцы рассыпались по опушке леса; и, оставив в покое солдат, стали стрелять исключительно по артиллерийским и выючным лошадям. Скоро большая часть из них была перебита, и отряд хотя дошел по Сухума, но там вынужден был остановиться, так как не на чем было везти ни провианта, ни снарядов, ни орудий. Более шестисот убитых лошадей лежали на морском берегу и заражали воздух, что принудило на другой год нарядить два военные транспорта специально для отвоза их остатков в открытое море.

От Сухума до Соупсу только тридцать верст, но узкая дорога опять пролежала по самому берегу моря под утесистыми скалами, одетыми почти непроходимым лесом. Отряд уже потерял около ста человек в предшествовавшем бою, а потому князь Горчаков решил миновать этот опасный путь, тем более что лошадей нельзя было достать даже под орудия. Двадцатого июня половина отряда села в Сухуме на суда и отправилась морем в Бомборы, лежавшие всего в пяти верстах от Соупсу. Там при помощи жестокого огня с русских судов войска вышли на лесистый берег и стали укрепленным лагерем в ожидании остальной половины, которая не могла быть перевезена сразу по недостатку транспортного флота.

Только двадцать третьего июня явилась наконец возможность двинуться на выручку владетеля. И была пора.

В Соупсу две русские роты, защищавшие князя, изнемогали в борьбе против скопища джагетов, убыхов и мятежных абхазцев, общая численность которых простиралась уже до десяти или двенадцати тысяч человек.

Дом владетеля, обычной абхазской архитектуры, отличался от остальных только своими размерами, будучи несравненно выше их и просторнее. Высокий плетневый забор с широкими воротами огораживал обширный двор, от которого влево, в расстоянии близкого ружейного выстрела, находилась старинная церковь. Здесь, в этом дворе, и засели две роты сорок четвертого егерского полка, под командой капитана Марачевского, и с ними двадцать два абхазца, оставшиеся верными своему князю.

После нескольких дней осады абхазцы прежде всего попытались занять церковь как пункт, командовавший всей окрестностью. Это им удалось, и они стали обстреливать внутренность двора, что угрожало гарнизону неизбежной гибелью. И вот однажды ночью двадцать человек солдат, под командой офицера, имя которого, к сожалению, утеряно, сделали отчаянную вылазку, ворвались в церковь и перекололи всех засевших в ней абхазцев, за исключением одного, успевшего скрыться на хорах. Очистив церковь, они снова отступили в ограду владетельского дома, потеряв сами четырех человек убитыми. Этот урок подействовал на неприятеля так сильно, что он не решился более занимать церковь, стоявшую, как показал ему опыт, слишком близко от руки и штыка русского солдата. Человек, уцелевший в церкви от побоища, был известный впоследствии абхазец Каца-Маргани, передавшийся позже всей душой на сторону владетеля. Рассказывая об этом ночном происшествии, Каца говорил, что при одном воспоминании о нем его пробивает дрожь и что он, видевший много резни и крови на своем веку, не испытывал в своей жизни ничего более ужасного.

Но положение гарнизона представляло еще большие опасности с другой стороны: на дворе владетельного дома не было колодца, и приходилось пользоваться водою из ручья, протекавшего возле самой ограды. Но к ручью вел спуск, около десяти сажень, по совершенно открытому месту, и неприятель, занимая все пункты, с которых можно было обстреливать ручей, днем засыпал пулями каждого, кто подходил к воде, а ночью сам приближался к ручью и по берегам его закладывал цепь. В гарнизоне придумали, однако, другое, более безопасное средство запастись водою. У князя нашелся старый винный бурдюк. Его поставили на колеса, приделали к верхнему концу его клапан, а к нижнему груз, и в этом виде пускали его катиться под гору прямо в ручей; там он наполнялся водою, веревка натягивалась, и бурдюк втаскивали на гору. Несколько дней гарнизон пользовался водою, добытой этим замысловатым способом. Неприятель осыпал бурдюк выстрелами, но пули скользили по его толстой и упругой оболочке. Тогда несколько абхазцев засели ночью у самой ограды, и когда, на рассвете, бурдюк шел за водою, они напали на него и изрубили кинжалами; почти все они заплатили жизнью за это отважное дело, но другого бурдюка не было, и солдаты остались без воды. После нескольких дней мучительной жажды прошел сильный дождь, и гарнизон на время успел запастись водою, но провианта уже не было: люди доедали последнюю кукурузу, заготовленную для владетельских лошадей, которые все были съедены уже прежде. Так прошло три недели.

И вот однажды Марачевский увидел, что неприятель снимает блокаду и тянется к морю. Стало ясно, что с той стороны нужно ждать скорой помощи. Марачевский сделал вылазку и выжег все окрестные селенья, служившие для неприятеля притоном и прикрытием.

Прошло еще два дня – и двадцать третьего июня перекаты ружейной и пушечной пальбы, огласившие горы и лес, дали знать, что помощь приближается. Это, действительно, шел из Бомбор князь Горчаков. Но его движение по дремучему лесу, при непрерывной перестрелке и схватках с неприятелем, с орудиями, которые за неимением лошадей приходилось тащить на людях, представляло такие невероятные трудности, что на переход пятиверстного расстояния от Бомбор до Соупсу требовалось не менее (если, пожалуй, еще не более) суток. По счастью, смелый Марачевский сделал новую вылазку в тыл неприятеля, и абхазцы, поставленные между двух огней, рассеялись. Княжеский дом был наконец освобожден от блокады.

Ермолов сам назначил капитану Марачевскому орден св. Владимира 4-ой степени.

Присутствие сильного русского отряда, рассеявшего главные силы мятежников, принесло изнуренной междоусобиями стране лишь кратковременное успокоение. Как только войска вернулись в Имеретию и снова остались в Абхазии один сухумский гарнизон, опять закипели и смута и волнения. Правда, попыток одолеть молодого князя и на его гибели создать новое правление уже больше не было; абхазцы в походе Горчакова видели пример того, какую непреодолимую защиту князь имеет в России, – и власть его упрочилась. Но по всей стране стояло брожение, шла борьба партий, и мелкие шайки разбойников повсюду нападали на приверженцев и сторонников князя Михаила. Бывали даже случаи открытых нападений и на русские команды. Так, например, в декабре 1826 года абхазцы атаковали небольшой отряд, высланный из Сухума в лес за дровами, и в упорном бою убили пять казаков и семнадцать ранили. Все это являлось как бы нормальным состоянием края, а между тем, поль-

зуюсь этим, несчастную страну терзали и цебельдинцы, и самурзаканцы, и особенно убыхи, свирепые и вольные наездники, пускавшиеся в свои набеги не для добычи, не из нужды в средствах существования, а просто из неугомонной страсти к приключениям и грабежам.

К счастью, убыхи, постоянно увеличивавшие смуту в Абхазии, к этому времени получили хороший урок и стали осторожнее. Раз, как-то летом, еще в 1823 году, партия их, более чем в тысячу человек, предпринявшая набег, была замечена в горах абхазскими пастухами и попала в ловушку. Предупрежденные абхазцы, позволив ей спуститься на равнины, немедленно заняли все горные проходы, через которые хищники могли отступить, — и вся партия сделалась жертвой неосторожности. Пал в битве и сам предводитель ее. С тех пор убыхи ограничились своими набегами зимним временем, когда им приходилось преодолевать неимоверные трудности.

Так дело шло до начала 1827 года, когда, по выражению Паскевича, «Абхазия свернула наконец знамя бунта и в чистосердечном раскаянии в своем безумии, дорого стоившем ей от междоусобного кровопролития, изъявила готовность покорствоваться священной воле всеавгустейшего монарха». Тогда же добровольно подчинились России и цебельдинцы. Но с Самурзаканью пришлось еще много и долго возиться. Нужно сказать, что в 1826 году, вынужденный настоятельными просьбами мингрельского князя Дадиана, Ермолов отправил в Самурзакань отряд из трехсот человек, при одном орудии, и присутствие войск в самом сердце беспокойной страны удерживало еще хотя какое-нибудь спокойствие и повиновение владетелю. Но началась персидская война, один батальон из Имеретии нужно было передвинуть в Грузию, и Ермолов предписал снять отряд из Самурзакани. Тогда жители ее,

предоставленные самим себе, вновь принялись за пленопродавство и другие «непростительные шалости».

Любопытно заметить, что донесение Паскевича о судьбах Абхазии обнаружило весьма странное обстоятельство. Оказалось, что об Абхазии, уже фактически давно отвоеванной от турецкой власти и даже от турецкого влияния, в Петербурге, в дипломатических сферах, имели представление совершенно смутное, считая ее даже еще принадлежавшей Турции, за исключением разве одного Сухума. Вот что писал в 1827 году Паскевичу тогдашний министр иностранных дел граф Нессельроде.

«Говоря об Абхазии, я не могу скрыть от вас, что о возмущении, последовавшем в оной, я не имел никаких до сего сведений. Абхазия, и Большая и Малая, признавали себя подвластными Порте Оттоманской, которая только в последнее время, Аккерманской конвенцией, согласилась уступить нам Сухум-Кале, крепость, лежащую в Малой Абхазии и служившую местопребыванием князя оной земли. Из сего вы заключить можете, сколь необходимо мне знать обо всем, что там происходит, дабы я мог заблаговременно снабжать наставлениями посланника нашего в Константинополе, ибо, при положении его доселе, если бы турецкое министерство вошло с ним в объяснение о делах Абхазии, он нашелся бы в крайнем затруднении отвечать удовлетворительным образом».

Очевидно, тогдашняя русская политика не достаточно ценила факты, совершавшиеся на Кавказе, и не умела угадать громадной роли этого края в истории России — той роли, которую предвидели Петр и Екатерина и которая скоро должна была стать совершившимся фактом.

Остается сказать несколько слов о трагической судьбе одного из главнейших деятелей абхазского возмущения —

о Хассан-бее. Захваченный в Сухуме Могиянским, он напрасно старался выставить себя сторонником России и приводил в доказательство свои заслуги перед нею. Он говорил, что не раз помогал освобождению пленных солдат, захваченных горцами, выдавал преступников и раз имел даже случай спасти от гибели батальон майора Огаркова, следовавший из Сухума в Редут-Кале. Действительно, батальон этот, застигнутый метелью, сбился с дороги и с обмороженными наполовину людьми не мог тронуться с места. Горцы окружили его. Не смея нападать открыто, они, как волки, хватали все, что отставало или отделялось хотя на несколько шагов от колонны. И отряд уже был близок к гибели, когда явился Хассан-бей, вывел его на дорогу, дал своих лошадей для перевозки больных, снабдил его провиантом, а впоследствии выручил даже пленных, захваченных при этом бедственном переходе. Но все объяснения его не послужили ни к чему: он был сослан в Сибирь, где в Иркутске и прожил до 1828 года, когда ему позволили вернуться на родину. Гордый абхазский князь уединенно и мрачно провел эти годы изгнания, не прося ни участия, ни снисхождения. С одним он не мог помириться – с потерей дорогого для него оружия. Неоднократно обращался он и в Тифлис, и в Петербург, прося единственной милости – возвращения ему заветной шашки, отобранной у него Могиянским при аресте.

Он писал, что шашка эта досталась ему по наследству от предков, что по доброте и древности своей она не имеет цены и известна целой Абхазии. Ему не отвечали. Но когда он вернулся из Сибири, то принялся хлопотать с такой настойчивостью, что просьба его дошла наконец по самого государя. Император Николай рыцарским чувством оценил всю важность утраты азиатского князя и приказал во что бы то ни стало разыскать шашку. Могиянского в то время уже не было на Кавказе, он служил

в Херсоне и на все вопросы отвечал, что ни вещей, ни сабли Хассан-бея при его аресте, к нему не поступало, что вещи и оружие захвачены были командой и что Могиянский не считал для себя возможным отбирать их от солдат, которым они достались по праву войны. Могиянский писал, однако, что у него, действительно, имеется сабля, которую он купил на Кавказе у поручика Бочкарева за сто пятьдесят голландских червонцев, но чья была эта сабля, ему неизвестно. Потребовали мнения по этому поводу от командовавшего тогда войсками на Кавказе барона Розена. Розен отвечал, что Хассан-бей был взят не в бою, а арестован в Сухуме, и что поэтому вещи его никак не могли принадлежать команде по праву войны. «Что же касается до отзыва Могиянского о неизвестности, кому принадлежала сабля, – писал он далее, – то он неоснователен; кто знает здешние обычаи, тот может удостовериться, что никакое оружие никогда не продается здесь без больших или меньших рассказов об его истории». По резолюции государя сабля была отобрана у Могиянского, и Хассан-бей имел удовольствие получить ее ровно через одиннадцать лет после своего ареста. Сабля препровождена была к нему при собственноручном письме барона Розена.

Возвратившись из Сибири, Хассан поселился в Келасури, окружив себя угрюмой воинственной обстановкой. Его рубленый деревянный дом, имевший вид широкой четверугольной башни, стоял на высоких каменных столбах; крытая, обхватывавшая весь дом галерея, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону; двор был окружен высоким палисадом с бойницами, в котором имелась лишь тесная калитка, способная пропустить только одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую,

плотно закрытую калитку, чтобы понять всегдашнее состояние подозрительности и опасения, в котором Хассан-бей проводил свою жизнь.

Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, которую он успел возбудить во многих, несколько покушений на его собственную жизнь — заставляли бея не пренебрегать никакими предосторожностями. Барон Торнау, навестивший его во время своего известного путешествия в горы, так описывает свое свидание с ним. «Подъехав к дому, — говорит он, — я остановился и послал узнать, желает ли Хассан-бей видеть у себя проезжего. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дому меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспреданно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Хассан-бей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями. Я увидел в нем плотного человека небольшого роста, одетого в богатую черкеску, с высокой турецкой чалмой на голове, и вооруженного двумя длинными пистолетами в серебряной оправе. Один из них он держал в руке, готовый для выстрела. Кто только знал Хассан-бея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его раза два от смерти, и из которых он стрелял почти без промаха».

В Сухуме он никогда не бывал, имея к нему непреодолимое отвращение со времени своей ссылки в Сибирь. Но время шло, и в конце концов Хассан примирился с русским владычеством и новым установившимся порядком дел на его родине.

4. ВОЗРОЖДЕНИЕ АРМЕНИИ

С тех пор, как Армения окончательно потеряла свою политическую независимость, для нее не прекратились века несмолкаемой и мучительной борьбы за веру отцов и народность. Малочисленному племени, угнетаемому огромным мусульманским миром, раскинувшимся кругом, естественно было прийти к сознанию, что ему необходимо слить свое существование с жизнью сильной христианской народности. Но ожидать помощи было неоткуда. С востока, юга и запада неподвижной стеной стояли мусульманские страны, разделявшие его огромными пространствами от христианских земель; на севере изнемогала в непосильной борьбе, подобно ему, православная Иверия; и лишь за Кавказским хребтом возникало государство, настолько сильное, что одолело татар и распространило свое владычество до устьев великой реки Волги и берегов Каспийского моря. И вот взоры Армении устремляются все пристальнее и пристальнее на север.

Сношения армян с московским государством путем торговли начались с давних времен, и с каждым столетием росла между ними мирная связь, выражавшаяся льготами, даваемыми русскими царями предприимчивым обитателям далекого юга. Времена царя Алексея Михайловича ознаменовались целым рядом драгоценных для

армян жалованных грамот и царских указов, которыми скреплялись нравственная и материальная связь армянского народа с народом русским.

Петр Великий впервые взглянул на армян с точки зрения политической, гениально предвидя будущую роль России в судьбах Армении. И с этого момента начинается по отношению к ней деятельная политика русских государей. Еще до Дербентского похода к Петру уже являлось несколько депутатов от карабагских меликов, просивших его заступничества. Все они говорили, что как только русские войска станут приближаться к ним, начальные люди армян соберут свои войска в Нахичевани и, взяв царские знамена, в двадцать четыре часа выгонят неверных, а в пятнадцать дней овладеют всей землей; что взять Эривань будет нетрудно, так как в этом городе живет много армян и в их руках находятся пороховая казна и другие припасы; что, наконец, армянская страна может выставить до ста шестнадцати тысяч войска, так как армяне турецкие наверно пойдут на помощь персидским. И когда, перед оружием Петра пал Дербент, и русские войска готовились овладеть всеми северными провинциями Персии, казалось, заря армянской свободы занялась светло и ярко. Уже двадцать тысяч армян, под предводительством карабагских меликов, и тридцать тысяч грузин, с царем своим Вахтангом, стояли у Ганжи в ожидании царя и его приказаний. Эти христианские войска ликовали, считая освобождение от ненавистного мусульманского ига делом несомненным. Как громовой удар разразилась среди них весть, что Петр возвращается с Кавказа, не довершив начатого дела. По свидетельству армянского митрополита Исаея, этому не хотели верить, не могли понять, что такое случилось; одни говорили, что русские ушли обратно от болезней, другие, — что, по

случаю зноя, пали у них кавалерийские лошади, третьи, — что было крушение на море и погибли артиллерия и провиант.

Неожиданный отъезд Петра из Дербента поразил глубокой скорбью армянские и грузинские войска; энергия их упала. Вахтанг со своими грузинами ушел в Тифлис, который вслед затем был осажден, взят и разорен лезгинами. Карабагские мелики удалились в горы и, запершись там в неприступных башнях, в течение нескольких лет стойко выдерживали ожесточенную борьбу за свободу с турецкими, персидскими и дагестанскими полчищами. Эта борьба армян, вызванная, но не поддержанная походом Петра, была тем не менее началом уже не прекращавшихся попыток добиться свободы.

Христианскому населению Закавказья нанесен был тяжкий удар тем, что Петр, по договору с Турцией, оставил за собой лишь Каспийское побережье, — а все армянские и грузинские провинции уступил Оттоманской Порте, которая была, конечно, раздражена против христиан за их симпатии к России. Тучи бедствий висели над злополучным краем. Россия не могла помочь ему оружием, — еще не пришел час развернуть ей мощные силы, тогда только что начавшие крепнуть. Но судьбы армянского народа по-прежнему оставались близкими сердцу императора, — и он широко растворил двери своей империи для их эмиграции. Русские, владея Дербентом, Баку, Астрабадом, Гилянскими и Мазандераном, должны были заботиться о том, чтобы скрепить эти приобретения выгодами материального благоденствия, плодами мирной деятельности, — и это великое начало легло в основание дальнейшей политической программы Петра. И он старался привлечь армян в эти страны. «Стараться всячески, — писал он Матюшкину по поводу

заселения вновь покоренных земель, — призывать армян, а басурман zelo тихим образом, чтобы не узнали, сколь возможно убавлять». И вот на зов Петра сотни армян стремятся в Гиляны и в крепость Св. Креста. Петр писал своим сподвижникам, чтобы они оказывали переселенцам всевозможные льготы, отводили лучшие земли, где пожелают, защищали от обид и притеснений; «Понеже, — писал великий император, — мы оный армянский народ в особливую нашу императорскую милость и протекцию приняли». И в документах того времени ясно выражается взгляд Петра на ту пользу, которую он ожидал от водворения умного, торгового и предприимчивого армянского народа в Российской империи.

Из числа первых эмигрантов до семисот человек тотчас же поступили в русскую военную службу и образовали в Гилянах два особых полка, армяне — драгунский, грузины — гусарский.

Но пока ничтожная часть армян искала убежища в пределах России, вся масса населения изнемогала в непосильной борьбе с мусульманами и взывала о помощи. «До сих пор, — писали армяне Петру, — имея неприятелей с четырех сторон, мы по возможности оборонялись; но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрано»...

Это последнее послание, к несчастью, не застало уже в живых гениального русского царя.

Нерешительная политика преемников Петра еще тяжелее отозвалась на судьбах армянского народа. О мужественной борьбе его, веденной одновременно с турками, с персиянами и с дагестанскими горцами, — борьбе, исполненной героизма, когда горсть армян восемь дней кряду выдерживает, например, ожесточенную битву с целым сорокатысячным турецким корпусом Сары-Мус-

тафы Сераскира, — свидетельствует фельдмаршал князь Долгоруков. Но он же прибавляет в донесении своем, что армяне требуют серьезной помощи оружием и что если теперь не оказать ее, то впредь уже будет трудно привлечь армян на нашу сторону. Оставайся энергичный князь Долгоруков на Кавказе, быть может, судьбы этого края были бы иные. Но Долгоруков пал, императрица Анна Иоановна, мало заботившаяся о поддержании того, что создано было Великим Петром, решает вовсе оставить покоренные им земли. Русские войска отступают на Терек, — и власть над армянами переходит опять от турок к персиянам.

Страх нового владычества заставляет многих армян променять тогда прекрасную карабагскую природу на болотистые берега Терека, куда, вслед за войсками, идут и те из них, которые уже основали свои поселения в Гилянах и в крепости Св. Креста.

Так образовывается армянское поселение на Тереке, в Кизляре. Число переселенцев, вероятно, возросло бы до весьма значительной степени, если бы императрица Анна Иоановна, в угоду Надир-шаху, не издала указа 29 мая 1734 года, которым, в доказательство дружбы к шаху и доброжелательности к персидскому народу, повелевалось всех грузин, армян и других иноземцев, вышедших из Персии, отправить обратно к шаху, — «даже тех, которые сего возвращения и не желали бы». Правда, эта ничем не объяснимая ошибка правительства императрицы Анны через несколько лет была несколько заглажена особым указом, уже воспрещавшим выдавать персиянам тех из армян, которые приняли русское подданство; но впечатление, сделанное первым распоряжением, долго не могло изгладиться в умах армян.

Так или иначе, но надежды армян могли основываться только на помощь все той же России, которая

одна могла оградить их интересы под кровом своей могущественной власти. И спустя лишь несколько лет, в 1760 году, приезжал в Петербург из Англии богатый армянин, по имени Эмин Осипов, наживший миллионы в Индии. Он просил помочь армянам вернуть свою независимость и предлагал на это все свои огромные богатства. Но правительство императрицы в ту пору было далеко от активного участия в делах закавказских, – и предложение Осипова не встретило сочувствия.

В таком положении оставались дела до воцарения Екатерины Великой. При ней, когда заселялись обширные степи Южной России, возникают по эту сторону Кавказа новые армянские поселения, и между ними значительный город, внесший оживление в малолюдный и пустынный край. Двадцать тысяч армян в то время покидают татарский Крым и идут на Дон. Переселение это сопряжено было с громадными утратами, лишениями и жертвами. Два года скитаются переселенцы в палатках, в окрестностях Самары и Екатеринослава, подвергаясь и голоду, и стуже, и зною; многие не выдерживали трудностей пути и умирали, с любовью вспоминая родной Крым, его монастыри и церкви; но остальные все-таки бодро шли к новой цели – и основали, наконец, город Нахичевань на Дону, где их встретили льготы, преимущества и выгоды, щедро расточаемые правительством. Но более чем выгоды и сильнее чем льготы манила армян надежда на нравственный отдых, на религиозную свободу, на охрану их интересов прочным государственным порядком и под кровом христианского правительства.

В то же время, как бы возрождая великие идеи Петра, Екатерина обращает особое внимание и на дела Закавказья. В 1783 году русские войска занимают Грузию, делающуюся с тех пор вассальным царством России.

Составляются тогда проекты освобождения Армении, и всемогущий Потемкин входит в деятельные сношения с армянским архиепископом Иосифом, чтобы создать из Армении сильное христианское государство в Азии, под верховным главенством России.

Таким образом армянский вопрос вновь выдвигается на сцену. Есть известие, подтверждаемое многими официальными документами, что князь Потемкин стремился стать царем восстановленной Армении, которая должна была граничить с Персией, Турцией и Россией и иметь гавань в Каспийском море. Он уже заказал за границей, в Индии и в Китае, богатую фарфоровую посуду с золотыми гербами древних армянских царей*. Армянские царские гербы уже печатались и на страницах издаваемых тогда армянских книг. Архиепископ Иосиф, в письмах к эчмиадзинскому патриарху и к знатым армянам, предлагал радоваться и молиться Богу, намекая на что-то важное, которое готовится армянам заботами Великого Севера.

Дело было в том, что Иосифу предложили составить проект договора, который должен был предварительно быть заключен между российским императорским двором и армянской нацией. На первом плане этого любопытного документа стояла полная свобода и независимость армянской церкви, и избранный царь Армении, будет ли он армянин или один из преданнейших сподвижников императрицы, – обязывался держаться армянских законов. Царское коронование предполагалось в святом Эчмиадзине, по примеру прежних царей Армении. Столицей назначалась Ани или Эчмиадзин. Герб армянского царства должен был состояться из трех древних гербов – одноглавого орла Арзасидов, агнца Божия – времен

* Экземпляр такого фарфорового кувшина с гербом хранится в Тифлисе, в Кавказском музее.

христианства, и двух львов – герба Малой Армении. В воспоминание важнейших моментов исторической жизни Армении учреждались три ордена: первый – во имя Ноева Ковчега, на ленте трех цветов, красного, зеленого и синего, в подражание цветам радуги, другой – во имя Григория Просветителя, третий – в честь Нерукотворного образа Спасителя.

В политическом отношении Армения проектировалась состоящей под покровительством России. Небольшой русский отряд должен был занимать страну для защиты границ ее от нападения турок и персов, а один из армянских царевичей – находиться постоянно при дворе императорском. Армянское царство обязывалось уделять России часть добываемого им серебра и золота. В случае войны обе державы должны были помогать друг другу.

Любопытной статьей этого договора остается требование со стороны армян, чтобы в стране их не было введено крепостное право как совершенно несвойственное характеру народа. Армяне ссылались на свою историю и указывали на тот факт, что когда греки, владевшие Арменией, хотели закрепить их рабами за своими вельможами, народ перешел в подданство багдадских калифов, предпочтя тяжкую политическую зависимость потере свободы народной внутри страны.

Исполнение проекта требовало больших сил и денежных средств. Естественно, что тут вспомнили об Эмине Осипове, предлагавшем за несколько лет перед тем свои миллионы на дело освобождения Армении. Но Эмина уже не было в живых, и капиталы его как выморочные достались ост-индскому банку.

Нашелся, однако, и на этот раз некий, также индийский армянин, по имени Шамир-шах, предложивший свой полный кошелек Армении. Только по его мнению

не следовало начинать войны, а просто ценой золота купить Армению у Турции и Персии. Этот богач предполагал в Борчалах, Лори и в Эриванской области развести индиго, сахарный тростник, хлопчатую бумагу, кофе, завести фабрики, построить заводы – и разом оживить разоренную вековыми бедствиями страну.

Таким образом, капиталы имелись уже в виду, – оставалось действовать. Решено было начать с Карабагского ханства, – свергнуть Ибрагим-хана и посадить на его место правителя из армян. Самая кампания предполагалась летом 1784 года; готовились уже войска.

Но пока писались проекты и подготавливалось их выполнение, политические обстоятельства круто изменились. Омар-хан опустошает Грузию, несмотря на присутствие в ней русского войска, и готовится двинуться на Карабаг. Россия начинает в это время вторую турецкую войну и уже не в состоянии защитить Грузию. Армения вновь предоставляется своей судьбе и подвергается мести за свои стремления. Персияне и Ибрагим-хан карабагский начинают среди них страшные неистовства. Армения снова обгагрется кровью; преданные России карабагские мелики истребляются почти поголовно, и лишь немногие из них успевают бежать в Тифлис, к царю Ираклию.

Ни армяне, ни русское правительство не могло, однако же, отказаться от заветной идеи, от задачи, предложенной историческим течением дел и предвиденной еще Петром Великим. В рескрипте, данном на имя главнокомандующего графа Зубова, перед персидской войной 1796 года, вновь прямо сказано, что Россия поднимает оружие для освобождения древних христианских царств Армении и Грузии. Но и этот блестящий поход, как известно, окончился весьма неудачно, – император Павел внезапно отозвал войска назад, и все предназначения Екатерины,

лежавшие в основе этого военного предприятия, – рухнули. Русские войска опять оставили Закавказье, и, на этот раз, можно сказать, прямо на жертву свирепости Ага-Мохаммед-хана. Быть может никакие тамерлановские опустошения не сравнились бы с кровавыми ужасами, которые готовил шах Армении, если бы летом 1797 года нож убийцы внезапно не положил конец его кровожадным проектам.

Но прошло три-четыре года, – и половина задачи, столь трудной, если судить по фактам недавнего еще прошлого, исполнилась сама собой; Грузинское царство, со смертью царя Георгия, вошло в состав России. Это обстоятельство приблизило освобождение Армении, изменив, однако, в корне прежние проекты; теперь о существовании вассального, самостоятельного царства Армянского рядом с присоединенной к России Грузией – уже нечего было и думать.

Число армян собственно в Грузии в тот момент, как она присоединилась к России, сравнительно было не велико; но оно начало теперь быстро возрастать. При князе Цицианове, несмотря на суровые отношения этого замечательного кавказского деятеля вообще к армянам, несколько десятков тысяч их поселились в Грузии и приняли русское подданство. Преследуемые персиянами, сотнями бежали армяне из пограничных персидских ханств, теряя все свое имущество. Лишенные всякой материальной помощи, они кое-как устраивались у своих единоплеменников, старожилов Грузии, заселяли пустоши и даже записывались в крепостные. Сотнями вымирали от холода, голода, изнурительных лихорадок, а чума 1804–1805 годов не оставила и четвертой доли этих несчастных. Тем не менее армяне заселили тогда части уездов Телавского, Сигнахского, Борчалинского и Лори, – места, страдавшие отсутствием мирного зем-

ледельческого труда. Обработывая пашни, те же армяне служили проводниками для русских войск, предупреждали измену и возмущения, доставляли сведения о неприятеле, давали провиант и, когда нужно было, храбро дрались в рядах русского войска.

Во время Ганжинского и Эриванского походов Цицианова и Гудовича архиепископ Иоаннес и монахи Нерсес собрали армянскую дружину в полторы тысячи человек и стали сами во главе этого ополчения. Армяне постоянно находились в авангарде, штурмовали Ганжу и понесли большой урон в знаменитом сражении 20 июня 1804 года, при разгроме Цициановым персидской армии. Карягин, Котляревский и даже сам Цицианов, относившийся, как сказано, к армянам весьма недружелюбно, единогласно говорят о многих подвигах, совершенных в их времена армянами.

Важнее всего было то, что в армянах русские приобретали надежных друзей, на которых можно было положиться. Так в смутное время кахетинского бунта Ртищев писал, что «армянский народ, составляющий значную часть населения Грузии, остался в непоколебимой верности и, жертвуя своим имуществом и самой жизнью, сражался с мятежниками, не раз выказывая опыты мужества и искреннейшей верности».

Император Александр ответил тогда на это донесение высочайшей грамотой «всему любезно-верноподданному армянскому народу, обитающему в Грузии», данной 15 сентября 1813 года. «Все сословия армян, – говорилось в ней, – доказали чувства верноподданнической благодарности на многократных опытах и непоколебимой верности во всех случаях; они отличались примерным постоянством и верностью, когда легкомыслие и неблагонамеренность старались всю поколебать водворенное

нами в Грузии спокойствие, и посреди смутных обстоятельств пребыли тверды и непоколебимы в своем усердии к нам и к престолу нашему, жертвуя имуществом своим и самой жизнью на пользу службы нашей и общего блага. Да сохранится это свидетельство в честь и славу их в памяти потомков».

Ртищев признал необходимым, чтобы «этот особый знак высочайшего благоволения, долженствующий в роды родов оставаться незабвенным памятником для армянского народа как свидетельство преданности его престолу русскому», был объявлен всенародно торжественным образом. И вот 22 ноября того же года все знатнейшие армянские князья и почетнейшие граждане были собраны в доме главнокомандующего. Здесь высочайшая грамота положена была на богатую парчовую подушку; четыре старейшие князя и два из знаменитейших граждан приняли ее и в сопровождении густой массы народа, наполнившей все ближайшие улицы, двинулись торжественным шествием к главному армянскому собору Ванк. Ртищев, со всем штатом военных и гражданских чиновников, участвовал в процессии; войска при появлении высочайшей грамоты отдавали воинскую почесть. У самого монастыря архиепископ Минас в торжественном облачении, со всем духовенством, с крестами и святыми иконами, встретил процессию; он принял высочайшую грамоту в свои руки и, возложив ее себе на голову, двинулся к собору, при пении молитв, при колокольном звоне и радостных криках народа. У входа в храм ожидал процессию первенствующий армянский архиепископ Аствацатур, окруженный всем величием, подобающим его высокому сану. Приняв высочайшую грамоту, он благоговейно поднял ее также на голову и продолжал шествие через церковь. У подножия престола архиепископ

преклонил колени и, положив грамоту на приготовленное место, дал благословение начинать благодарственное молебен. «Истинное благоговение и слезы душевного умиления, кои при сем случае видны были на лицах всех сословий армянского народа, — доносил Ртищев, — суть вернейшие истолкователи истинных чувств их благодарности и усердия к императору».

Вечером общество армянское дало блестящий бал, и армяне пожертвовали тут же четыре тысячи рублей для раздачи бедным, чтобы и их сделать участниками общей народной радости. Курьер, привезший грамоту, получил от общества тысячу рублей. И эти факты искренней радости армянского народа при благосклонном слове русского царя лучше всего доказывают, как велико было стремление армян к освобождению от власти иноверных иноплеменников, как непреодолимо было их тяготение к могущественной северной державе и как, потому, естественна и законна была принятая на себя Россией миссия в Закавказских христианских странах.

Проходили годы. А освобождение армянских святынь из рук неверных и армянского народа от притеснений их веры — все не наступало. Но в коренной Армении не умирала идея освобождения, именно при помощи России. Некогда один из святых отцов армяно-григорианской церкви предсказал, что Армения будет освобождена северным народом. В это предание армяне верили всеми силами своей души, и оно жило в их памяти так крепко, что умирающие отцы на смертном одре завещали своим детям праздновать колокольным звоном тот день, когда заря освобождения взойдет над Арменией, чтобы и они в могилах, за пределами земной своей жизни, услышав благовест, возрадовались бы о спасении отчизны. И этого

радостного события армяне ждали с особенной страстностью и надеждами.

И вот, когда началась персидская война 1827 года, армяне персидских провинций встретили русские войска с восторгом, как своих избавителей. В это время выразителем народных стремлений армян и их предводителем является архиепископ Нерсес, личность в высокой степени энергичная и всей своей жизнью как бы прямо подготовленная для своего тяжелого подвига.

Нерсес был сын священника селения Аштарак. С юных лет он посвятил себя монашеской жизни и, всюду сопровождая покровительствовавшего ему архиепископа Даниила, приобрел тот опыт, то знание людей, жизни и обстоятельств, которые так пригодились ему впоследствии. В сане архимандрита, в 1799 году, он был с Даниилом в Константинополе, узнал знатнейших армян турецкой столицы, видел падение тамошнего патриарха Иоанна, сосланного в заточение, возвышение на его место Даниила; потом низложение, через десять месяцев, самого Даниила, с которым вместе он и очутился в ссылке в Тифлисе. В это время скончался эчмиадзинский патриарх Иосиф Долгоруков, – и Даниил был провозглашен на место его католикосом Армении. Он и Нерсес поспешили в Эчмиадзин; но по дороге, в Баязете, они узнали, что в Эчмиадзине уже провозгласил себя католикосом Давид и утвержден в этом сани и султаном, и шахом вследствие будто бы завещания покойного патриарха, которое, однако, оказалось подложным. Тогда Даниил остановился в небольшом монастыре Уч-Килиса, близ Баязета, – и с этого момента начинается известная в истории армянской церкви борьба за патриарший престол, в которой Россия, поддерживавшая сначала права Давида, – удостоверившись в подложности патриаршего завещания,

перешла на сторону Даниила. Эриванский сардарь, как говорят, подкупленный двенадцатью мешками денег, вмешался в эту распрю, и Даниил вместе с Нерсесом, закованные в цепи, были привезены в Эчмиадзин и там ввергнуты в темницу. Нерсес успел бежать отсюда в Грузию, в то время как Даниил был сослан в Марагу. Но прошло немного времени, и персидское правительство, под угрозой России, само низложило Давида, и патриарший сан перешел к Даниилу. Нерсес явился в Эчмиадзин и был посвящен в епископы.

Еще большим влиянием Нерсес стал пользоваться при преемнике Даниила, Ефреме. Но вследствие притеснений персидского правительства, в 1814 году, он покинул Эчмиадзин, приняв место епархиального архиерея в Грузии, где встретил большое расположение со стороны Ермолова. Между тем политические обстоятельства сложились так, что и сам патриарх вынужден был бежать из Эчмиадзина и искать убежища в Грузии, в епархии Нерсеса. Они свиделись в Шуше. Старец Ефрем, поселившись в одном из монастырей, вновь поручил Нерсесу верховное правление престолом. Аббас-Мирза, зная влияние Нерсеса на армянское население и беспокоясь, что он совершенно вне его власти, старался всеми средствами, деньгами и почестями, склонить его переехать вместе с патриархом в Эчмиадзин. Под давлением его требовали возвращения Ефрема и эчмиадзинские монахи. Но Нерсес хотел остаться независимым от персидского правительства и оставался в Грузии, склоняя к тому же и патриарха.

Нужно думать, что уже в то время Нерсес не чужд был надежд на скорое освобождение родины и действовал в этом направлении. Нерсес был страстный патриот, с детства воспитанный в этом направлении своим отцом.

Позже он со слезами говорил, что последней волей его покойного отца было то, чтобы он не приходил к могиле его, пока не исполнится пламенное желание армян и не воскреснет вновь угнетенная магометанами святая вера, что с тех пор он и жил только надеждой пойти и поклониться могиле отца вместе с русским военачальником.

И вот, когда весной 1827 года авангардные русские войска, с Бенкендорфом во главе, вступили в Эриванское ханство, среди них был и Нерсес. Присутствие его в войсках, пришедших освобождать христиан, воодушевляло армянское население.

Во все времена военных действий Нерсес пробыл в Эчмиадзине, с трепетом следя за грозными перипетиями войны; он видел нашествие Аббаса-Мирзы, грозившее самому Эчмиадзину, аштаракский бой, падение Эривани и Тавриза и заключение мира. В один из моментов уверенности в освобождении отечества он имел утешение исполнить завещание отца. В полуверсте от бедной деревни Аштарак, родины архиепископа, находилось уединенное кладбище семейства Шахазизиан Камсаракан. Тогда привел Нерсес генерала Красовского и на коленях, с горячими слезами, припал к гробу отца, к которому долгие годы не смел приближаться.

Освобождение коренной армянской земли от персидской власти не могло не найти отклик в армянах, живших в Персидских областях, не могло не вызвать в них патриотического чувства и стремлений к свободе. И уже вскоре по занятии русскими войсками Тавриза к Паскевичу стали являться депутации от азербайджанских армян, с просьбами о переселении их в русские пределы. Это было вполне согласно с видами русского правительства. Главнокомандующий ласкал их и отпускал домой с разрешением готовиться к переселению.

Жестокая зима, а быть может и надежда, что самый Азербайджан навсегда останется за русскими, удерживали, однако, христиан до марта месяца от сборов к далекому путешествию. А там могли появиться другие препятствия: раздумье самих армян, подговоры со стороны персидского правительства и тому подобное – и русские власти решили принять меры, чтобы поддержать в армянах нравственную бодрость. Нерсес послал для этого в персидские провинции архиепископа Стефана и архимандрита Николая; Паскевич отправил туда же полковника Лазарева, вызванного из Петербурга именно с целью руководить всем делом переселения.

Полковник Лазарев принадлежал к той, давно поселившейся в России армянской фамилии, которая известна основанием института восточных языков, построением армянских церквей в столицах и, вообще, широкой помощью своим соотечественникам. История обогащения этой фамилии, как говорят, тесно связана и с историей одного из драгоценнейших камней, составляющих принадлежность императорской русской короны. Бриллиант, принадлежавший Надир-шаху, добыт именно одним из Лазаревых. Когда шах был убит, драгоценный камень этот, переходя из рук в руки, дошел до армянина Шафраса, жившего тогда в Петербурге. Лазарев взял на себя посредничество к приобретению его для графа Григория Орлова, и бриллиант был куплен за четыреста тысяч рублей. Орлов поднес его императрице Екатерине в первый день Пасхи, в футляре, сделанном в виде красного яйца. По чрезмерной величине своей, по отличной игре, огранке и воде камень этот составляет такую редкость, что знатоки оценивали его в несколько миллионов рублей. Екатерина приказала вделать его в императорский скипетр.

Один из представителей этой-то фамилии и появился теперь в Армении, чтобы своим влиянием облегчить дело армянского переселения. Лазарев сам ездил с этой целью и в Марату, и в Салмаз, и в Урмию, а несколько русских офицеров проникли даже в Курдистан, где также жили немногие армяне. И дело переселения вначале пошло весьма успешно.

Лазарев писал с дороги Паскевичу, что армяне показывают истинное желание остаться навсегда в русском подданстве, и, несмотря на то, что всякому человеку трудно расстаться со своей родиной, они готовы покинуть дома и идти, куда прикажут. «Вам принадлежит слава, – писал он Паскевичу, – быть восстановителем народа армянского, избравшего меня, по доверенности к роду нашему, для изъяснения чувств перед вашим высокопревосходительством». Действительно, едва стало известным, что войска в скорости должны очистить Азербайджан, – армяне стали собираться в дорогу.

На первый взгляд дело переселения как Лазареву, так и многим казалось нетрудным, тем более, что армяне сами просили о нем; но на практике встретились большие затруднения. Когда переселенцам приходилось окончательно расставаться с домами, с могилами своих трудолюбивых предков, оставивших им в наследство прекрасные и плодородные поля, когда пришлось бросать многолетние заведения со всеми их выгодами и верное настоящее менять на неизвестное будущее – армяне начали колебаться. Первые показали пример нерешительности несторианцы. Когда они полагали, что весь Азербайджан останется за русскими, – они пресмыкались у ног Паскевича; но когда наступил час пожертвований, они предъявили такие требования и притязания, которые благоразумие приписывало отвергнуть. И несторианцам, которые,

как выражается Лазарев, корыстолюбивую руку простирали к России, а сердце отдавали персиянам, – было им во всем отказано. Тем не менее, пример несторианцев нашел отголосок и в коренном армянском населении. Справедливость требует сказать, что нашлись даже армянские епископы, как например Израиль Салмасский, которые в угоду персиянам, забыв долг христианский, тайными пронырствами и явными угрозами, как свидетельствует о том Нерсес, удерживали армян от переселения. Нужно сказать, что условия, предложенные Россией переселенцам, были действительно тяжелы и не могли не вызывать колебаний. Все богатство армян состояло в недвижимом имуществе; а между тем дома, плодовые сады, отлично возделанные поля – все это должно было быть брошено, и потому естественно было просить им, чтобы Россия вернула хотя бы третью часть стоимости того, что они покидали. Правда, туркменчайский договор предоставлял им право продавать свою собственность магометанам; но на деле это оказалось не выполнимым, так как персидское правительство просто запретило своим подданным всякие торговые сделки с армянами, заставляя последних, таким образом, или остаться в персидском подданстве, или лишиться всего своего имущества.

Между тем Лазарев, в точности исполняя предписание Паскевича, старался не обольщать армян никакими несбыточными надеждами. Он прямо говорил им, что они не найдут за Араксом того, что покидают в Персии, что все пособие не может простираться в сложности более пяти рублей серебром на каждое семейство; но что под сенью единой державы они могут быть уверены в благоденствии их потомства и в собственном спокойствии.

Действительно, для первоначальных пособий переселенцам ассигновано было только пятьдесят тысяч

рублей, и все надежды армян могли возлагаться лишь на обещание освободить их на несколько лет от податей и повинностей. Но, оставляя дома в такое время года, когда всякого рода домашние запасы начинают уже истощаться, и получая всего по шесть-семь рублей на семейство, армяне не могли купить даже достаточного количества хлеба; те же, у которых были некоторые запасы, — не имели способов к перевозке их по отдаленности пути и дороговизне скота, которого в последнее время и купить даже было невозможно. За дрянного ишака приходилось платить по двенадцать и по пятнадцать рублей серебром.

Персидское правительство, неохотно терявшее громадное число трудолюбивых подданных, со своей стороны ставило Лазареву всевозможные преграды. Оно по всей стране рассыло агентов, которые внушали армянам, что по прибытии в Россию их обратят в крепостных и будут брать в солдаты, между тем как Персия освободит их от всяких податей и даст многие льготы. В доказательство им предлагали теперь же гораздо более денег, чем мог предложить Лазарев. Но когда и это не действовало, персидское правительство прибегло к последнему средству: оно объявило, что русские переселяют армян силой и тем нарушают туркменчайский трактат. Аббас-Мирза писал в этом смысле Лазареву, упрекая его в насильственном уводе армян, и прося его не употреблять во зло влияния на умы привязанного к нему населения. «Если рассудить по совести, — говорил он в письме, — как возможно, чтобы несколько тысяч семейств по искреннему и добровольному желанию бросили бы тысячелетнюю родину, имение, сады, поля, — чтобы остаться без места и безо всего».

Под видом ограждения интересов армян из Тавриза прислан был даже капитан английской миссии, Виллок. Лазарев заставил его поехать вместе с ним в стан переселенцев и предоставил самому опрашивать армян. Когда же те отвечали, что «лучше согласятся есть русскую траву, чем персидский хлеб», Лазарев заставил Виллока дать ему в том письменное удостоверение. К серьезным походам переселения надо отнести и ненависть магометан, которые осыпали переселенцев бранью, а в некоторых местах бросали в них камнями. Можно было опасаться даже кровопролития, тем более, что персидское правительство не обращало никакого внимания на неистовые поступки татар, надеясь, быть может, устроить армян и удержать их в Персии. Особенная враждебность замечалась в Курдистане, откуда удалось выселить, и то с величайшей опасностью, лишь несколько семейств. Рассеянные жилища тамошних армян, находясь среди крутых и высоких гор, соединялись с остальным миром узкими тропинками, извивавшимися над пропастями, а кругом лежали селения магометан, лишь номинально подчинявшихся Персии. Надо было удивляться отважности офицеров, которые, в сопровождении двух-трех казаков, решились проникнуть в эти тущобы, где каждая вершина утеса, каждый глубокий овраг и темное ущелье — грозили им засадой и смертью. В озлобленной ярости куртинцы даже среди белого дня нападали на небольшие партии армян, грабили их, убивали или гнали назад. Лазарев должен был просить помощи у генерала Панкратьева, и только войска, прибывшие из Урмии, рассеяли разбойников.

Но все эти препятствия, конечно, уже не могли остановить начатого дела, — и по мере того, как выступали

из персидских провинций русские войска, вместе с ними уходило и армянское население.

Первая, самая большая партия двинулась в путь 16 марта 1828 года. Стояла роскошная восточная весна; со всех сторон, по отлогостям гор азербайджанских, двигались огромные караваны переселенцев и направлялись к Араксу. «Трогательно было видеть, — рассказывает Глинка, — как матери учили малюток выговаривать священное имя первого армянского царя — Николая, как они внушали им помнить великого своего избавителя».

Известный художник Мошков написал большую картину, изображающую это переселение сорока тысяч армян под личным распоряжением полковника Л. Е. Лазарева. Вдали видны Арарат, Араке и селения, лежащие по дороге к Эривани. На правой стороне картины — сам Лазарев, отдающий приказания армянским старшинам, а кругом его свита и поверенные в делах, английский и персидский; на заднем плане картины — обширный стан переселенцев.

Не совсем, однако, ласково на первых шагах встретила этих переселенцев их новая родина. Когда более пяти тысяч семейств уже приближалось к Араксу, Лазарев получил известие от эриванского областного правления, что оно, по недостатку хлеба, не может дать нужной помощи прибывающим, и просило удержать их на персидском берегу Аракса до собрания жатвы. Армяне стояли под открытым небом и терпели во всем крайний недостаток; свободных земель не было, и большую часть переселенцев пришлось отправить отсюда в Карабаг.

Так совершилось переселение армян, доставившее России огромные выгоды приобретением трудолюбивого и, можно сказать, единственного земледельческого на-

рода в Закавказье. Напротив, население Азербайджанской области заметно поредело, и Персия понесла ущерба более чем на тридцать два миллиона рублей, по исчислению самого персидского правительства. На все переселение, как видно из отчетов Лазарева, было израсходовано только четырнадцать тысяч червонцев и четырехста рублей серебром; и на эту-то ничтожную сумму было переселено восемь тысяч двести пятьдесят семей, что в сложности составляло более сорока тысяч жителей.

«Смею сказать, — доносил Паскевичу Лазарев, отдавая ему отчет в своих действиях, — что, населив приобретенные вами обширные области народом промышленным и трудолюбивым, вы открыли для государства новый источник богатства, и как бы ни была велика сумма, издержанная на переселенцев, она с избытком вознаградит правительство. Вместо пустынь, покрывающих теперь поля древней Великой Армении, возникнут богатые селения, а может быть, и города, населенные жителями трудолюбивыми, промышленными и преданными Государю».

Впоследствии, в 1833 году, министерство юстиции возбудило вопрос о древнем армянском гербе, и исследования по этому поводу возложены были на ученого армянина, профессора Черпети. Черпети, ссылаясь на древних армянских писателей, отвечал, что при царе Тигране, современнике Кира, употреблялось изображение семиглавого дракона; позднее, при династии Авшакуни, дракон был заменен одноглазым орлом; со времен введения христианства на гербе Армении изображался нерукотворный образ, потом образ заменился агнцем с изображением креста, и наконец на гербе Рупиниянов появился лев. Из всех этих знаков хотели составить один общий герб для Армянской области; но дело почему-то не сладилось, и герб в окончательной форме

получил следующий рисунок: посередине накладного щита, на голубом поле, изображена серебристая снеговая вершина Арарата; ее окружают серебряные облака, а на вершине – золотой ковчег.

Нижняя часть герба разделена надвое: направо, в красном поле, древняя корона армянских царей; корона – золотая, с серебряной звездой, и вся осыпана жемчугом; повязка и подкладка ее – голубые. Налево, в зеленом поле, – церковь эчмиадзинская, вся серебряная, а главы и кресты золотые.

В верхнем отделении герба, в золотом поле, двуглавый русский орел. Он объемлет и держит в лапах озащенный щит. А надо всем – императорская корона.

В гербе же собственно русских императоров остался лев как герб последней царственной династии Армении – Рупиниянов.

Не лишнее сказать, что в тридцатых годах армянами составлен был проект образования местного армянского войска, которое, под командой и русских, и местных офицеров, должно было нести пограничную и внутреннюю службу. «Армянская нация, – писалось между прочим в этом проекте, – за счастье почтет, если из сыновей богатейших и первых фамилий ее составитя дружина или эскадрон и будет находиться в Петербурге, при особе монарха, в виде гвардии. Чем меньше будет стеснений, чем проще служба, тем значительнее возрастет и число желающих». Для образования же офицеров из армян проект предлагал устройство особых корпусов, без всякого пособия от казны, с введением как в них, так и в других армянских заведениях обязательного обучения русскому языку. К сожалению, дальнейшая судьба этого проекта неизвестна.

Два замечательнейших деятеля освобождения Армении были и первыми деятелями на поприще ее умиротворенной жизни. Это – Красовский и Нерсес.

Когда пала Эривань и вся провинция вместе с Нахичеванской областью присоединены были к России, в пышном дворце эриванских сардарей поселился генерал-лейтенант Красовский, первый русский военный губернатор Армении. Не нужно искать каких-нибудь громких деяний в мирной деятельности его в только что покоренной стране; достаточно знать, что армяне, истощенные недавними бедствиями, благословляли его имя не меньше, чем его подчиненные, что гуманное отношение его к населению в это тяжкое время дало даже повод к обвинению его в пристрастии к армянам.

Фактический духовный глава армянского народа, архиепископ Нерсес, мог и оставил более ясные следы своей кратковременной деятельности. В порыве благодарных чувств к Богу и русскому императору за освобождение Армении от ига неверных, он на могиле отца дал обещание построить в Сардар-Абаде на собственный счет православную церковь, во имя святителя, чудотворца Николая. В этом добром желании приняло горячее участие все сардарь-абадское Христианское население, и храм был заложен в присутствии Красовского 1 января 1828 года.

Еще ранее этого совершилось такое же торжество и в Эривани. Когда русские вошли в этот город, в нем был только один христианский храм, принадлежащий армянам. Это была убогая, деревянная церковь Зоровар, «Святыня Сильных», которая, по преданиям, хранит в своих подземельях мощи апостола Анания, крестившего Савла. Паскевич желал увековечить память покорения

персидской твердыни основанием нового храма, достойного самого события. И вот, по его ходатайству, главная эриванская мечеть, построенная турками в 1582 году и украшавшаяся золотой луной, была обращена в православную церковь, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в память взятия в этот день крепости. Стараниями Нерсеса храм приготовлен был ко дню тезоименитства государя императора. К этому времени с берегов Невы на берега Занги присланы были священная ризница, иконостас, драгоценная утварь и августейший дар двух императриц, Марии Федоровны и Александры Федоровны, – одежды на престол и на жертвенник и три воздуха, вышитые их собственными руками. Освящение храма совершилось 6 декабря 1827 года. В это же время во всех армянских церквях и магометанских мечетях приносились молитвы за русского царя – нового повелителя Эриванской области. Население встретило эти события с энтузиазмом; не только армяне, но даже татары собрали между собой весьма солидную сумму, свыше трех тысяч рублей, для раздачи войскам, расположенным в Эриванской провинции. Но скоро, почти в самом же начале, деятельность как Красовского, так и Нерсеса должна была прерваться вследствие недоразумений с Паскевичем.

Паскевич, недовольный Красовским еще с того времени, как тот был его начальником штаба, не мог простить ему Аштаракского боя и дошел в своей вражде к нему до того, что не только слепо отрицал в нем военные дарования и административные способности, но и возвел на него целый ряд обвинений по управлению вновь покоренным краем. Паскевич жаловался, что доходы с Эриванской области в казну не поступают, тогда как Азербайджан, при худших условиях, дает их; что описания казенных имуществ в ханстве не сделано, и долги

Эриванского сардаря в известность не приведены; что местные средства края пошли не на довольствие войск, а на помощь жителям и розданы Красовским для посевов, тогда как для войск доставлять продовольствие из Грузии крайне затруднительно и так далее. Паскевич упрекал Красовского в предоставлении Нерсесу неограниченного влияния на все дела, и во вредном покровительстве армянам, тогда как три четверти населения области составляют магометане.

«Не служив с Красовским до сих пор во время войны, – писал Паскевич Дибичу, – я почитал его человеком способным и просил о назначении его начальником штаба. Вам известно, какую пользу в этом звании принесла его служба. Потом я полагал, что он может командовать отдельным отрядом, – вы изволите знать, какие были последствия из этого назначения. Наконец, он был назначен в управление вновь покоренной областью, в которой от первого начала зависело все будущее устройство ее и даже образ мыслей насчет правительства, – вы изволите усмотреть, выполнил ли Красовский обязанности и по этому званию»... «Могу ли я желать себе такого помощника?.. Не буду ли ответствовать перед императором?» – спрашивает Паскевич далее, – и приходит в конце концов к заключению, что «Красовский полезен быть не может».

Дибич, которому хорошо была известна истинная причина оставления Красовским должности начальника штаба, постарался ослабить резкость подобного мнения. И Красовский хотя, в угоду Паскевичу, и был отозван с Кавказа и зачислен по армии, однако же, вместе с тем получил за окончание персидской войны алмазные знаки ордена св. Анны 1-ой степени и от государя единовременно сто тысяч рублей.

28 апреля 1828 года Красовский выехал из Эривани в Россию. Проводы, сделанные ему, могли утешить его вполне за неудовольствия, которые он должен был вынести. Один из очевидцев говорит, что в них выразилось уважение не к «присвоенному ему чину – это было личное к нему уважение». Депутация тифлиских армян приезжала благодарить его за услуги, оказанные им армянской нации; католикос Ефрем, старец, уже ступающий во гроб, благословлял его за попечения о бедных: архиепископ Нерсес, во главе эчмиадзинского духовенства, напутствовал его прощальной речью как избавителя первопрестольного монастыря от мести и злобы врагов христианства, а чувства подчиненных его нашли себе выражение в адресе, поднесенном ему от лица всего военного сословия.

«С достоинством воина, – говорилось в нем, – Вы соединили в себе достоинство человека, – и вот почему Вам справедливо принадлежат и души, и сердца наши».

Офицеры двадцатой пехотной дивизии испросили высочайшее соизволение на поднесение Красовскому большой картины, изображавшей бой при Аштараке, где сам Красовский представлен был в минуту отбития им персидской конницы от русских орудий.

«Мы, осчастливленные отеческим вниманием Вашим, спасенные Вами, в день Аштаракской битвы, – писали они ему, – желаем иметь изображение любимого начальника, равно как и изображение той минуты, когда мы содрогнулись при виде опасности, в которой Вы находились, присутствуя везде, где сильнее была сеча. И мы подносим Вашему Превосходительству портрет Ваш и картину, прося об исходатайствовании Высочайшего соизволения на гравирование оных. Не столь долговечно, слабо приношение наше, – но пусть оно покажет общее желание излить пред Вами и доказать пред светом чув-

ства живейшей признательности, искренней привязанности и глубочайшего уважения нашего».

Такая личность, как Красовский, конечно, не могла долго оставаться в тени, – и скоро он на деле опровергает мнение о себе Паскевича. С открытием турецкой войны Красовский командует седьмой пехотной дивизией, а в кампании 1829 года уже играет видную роль в качестве командира третьего пехотного корпуса, с которым осаждает Силистрию. И там, на полях европейской Турции, Красовский все тот же, каким видели его на Березине, на страшном штурме Борисова, под Парижем и в Аштаракской битве, – храбрый, распорядительный, веселый, обожаемый своими подчиненными! Один из офицеров, описывая дело под Силистрией, бывшее 5 мая, говорит: «Подъезжая к левому флангу, я увидел колонну первого егерского полка, при которой находился Красовский. Она шла на штурм редута. Сцена была прелестная! После нескольких залпов картечью Красовский берет полк, – сам впереди с песенниками, которые по его приказанию грянули веселую русскую песню. Потом, несмотря на дождь пуль, – громоносное «ура!» – и колонна вскочила в окопы». «... Наш Афанасий Иванович, – прибавляет он далее, – показал себя в этом деле самым храбрейшим генералом, который и в пылу боя сохраняет все хладнокровие и распорядительность. Солдаты в его присутствии жаждут подраться...»

«Что всего приятнее, – говорит он в другом месте, – это веселый дух солдат и храбрых офицеров. Этим третий корпус обязан нашему Красовскому, который знает все утонченные струны русского воина и мастерски ими управляет».

Под Силистрией 6 мая Красовский, осматривая вечером один из редуты, был контужен в плечо: ядро помяло

эполет, согнуло пуговицу сюртука, но ему повредило мало; только на другой день он почувствовал боль в контуженной и обожженной руке.

Когда Силистрия, 18 июня, пала, Красовский блокирует Шумлу и содействует Дибичу в переходе за Балканы. Имя его становится в ряду лучших русских генералов, и он получает Владимира 1-го класса, награду исключительную в генерал-лейтенантском чине.

В польскую войну Красовский — уже начальник главного штаба первой армии, фельдмаршала князя Остен-Сакена. Когда Варшава пала и последние остатки польских войск были преследуемы за Вислой, фельдмаршал князь Остен-Сакен отправляет его, чтобы руководить военными действиями шестого пехотного корпуса. Именем фельдмаршала Красовский настаивает на самом энергичном преследовании — и настигает Рамарино у местечка Ополе. Здесь неприятель занимает неприступную позицию, к которой можно подойти только по бревенчатой плотине, тянувшейся на целую версту. Осмотрев позицию, Красовский решается взять ее штурмом. Напрасно некоторые из генералов объясняют ему, что переход через болота невозможен. Красовский скрывает досаду и продолжает делать свои распоряжения; он рассчитывает только на своих храбрецов и, обладая даром действовать на них, говорит, указывая на тринадцатый егерский полк: «Они не знают невозможного!» Электрически действуют эти слова на храбрых егерей, в рядах которых Красовский начал свою службу. С криком «ура!» бросаются они на неприятеля, — неприятель, в пять раз превосходнейший в силах, бежит из Ополе.

Для шеститысячного русского отряда разгром Рамарино был подвигом весьма знаменательным. «Там, где генералы показывают хороший пример, — справедливо

замечает Сmidt в своей истории польской войны, — солдаты совершают даже невозможное».

Покончив с Рамарино, Красовский изъявил желание разделить труды и славу побед с генералом Ридигером, который действовал в то время за Вислой, против корпусов Ружицкого и Каминского. Красовский был старше Ридигера, облечен большим полномочием со стороны фельдмаршала и, несмотря на то, просил позволения сделать поход под его начальством. Ридигер поручает ему авангард. 12 сентября, у Скальмиржа, Красовский разбивает наголову корпус Каминского, быстро преследует его и останавливается только под стенами вольного Кракова, куда Каминский едва успел укрыться. Красовский потребовал, чтобы мятежники тотчас оставили Краков. «В противном случае, — писал он, — ежели Краковский сенат не имеет достаточных сил, чтобы принудить их к повиновению, — то я явлюсь за ними сам». Краков очищен, и русские войска победоносно вступили в город.

Наградами Красовскому за польскую войну были алмазные знаки ордена Александра Невского и звание генерал-адъютанта.

Вот какой блестящей деятельностью ответил Красовский на устранение его с Кавказа, за отсутствие будто бы в нем «военных дарований».

По окончании войны Красовский опять занимает должность начальника главного штаба первой армии. Потом он был членом военного совета, а в 1842 году, с производством в генералы от инфантерии, назначен командиром первого пехотного корпуса, расположенного в Киеве. Там, спустя несколько месяцев, он и окончил свою жизнь на шестьдесят втором году от рождения.

5. ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА

Покорение Осетии, стоявшее на очереди после присоединения к России джаро-белоканских лезгин, тесно связывалось с вопросом о безопасности Военно-Грузинской дороги, служившей единственным путем, соединявшим Россию и Грузию. Боковых сообщений через Баку или Поти тогда не существовало, и потому охрана этого пути, как единственной коммуникационной линии, по которой двигались войска и ходили транспорты, составляла всегда предмет живой заботливости русских главнокомандующих.

До Ермолова дорога, начинавшаяся в Екатеринограде, тотчас по переезде через Малку, шла через Моздок, по правому берегу Терека, в самом ближайшем соседстве беспокойных чеченцев. Ермолов перенес ее на левую сторону и направил на Татартуб и Ардон. Расстояние выходило короче, но относительно безопасности дорога выиграла не много. Военные посты, расставленные по ее протяжению, были не в состоянии вполне оградить ее от набегов, и чеченцы из-за Терека, а осетины из горных ущелий нередко прокрадывались небольшими партиями и нападали на проезжающих.

Почтового тракта по этому пути не было, — он прекращался у Екатеринограда, откуда до самого Владикавказа проезжающие нанимали лошадей и отправлялись один или

два в неделю с конвоем, носившем название «оказии». Теперь подобные путешествия отошли уже в область преданий; но вот как рассказывает о них Пушкин, посетивший Кавказ именно в описываемую нами эпоху.

«В Екатеринограде, — говорит он, — на сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или более. Пробили в барабан: мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За ней потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжавших из одной крепости в другую; за ними закрипел обоз двухколесных арб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали ногайские проводники в бурках и с арканами. Все это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, непрерывный скрип ногойских арб выводили меня из терпения. Татары тщеслаятся этим скрипом, говоря, что они разъезжают как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На этот раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почетном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба — вершины Кавказа, каждый день являющиеся все выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы не разбежаясь, с заржавевшими пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока...»

За Владикавказом нельзя было достать уже и этого. В горах не было ни постоянных дворов, ни маркитантов,

и путешественникам приходилось запасаться провизией почти до самого Тифлиса. Самый Владикавказ, имевший важное стратегическое значение для края, был беден промышленностью, хотя и представлял собой небольшой городок с правильно разбитыми улицами и с четырехтысячным смешанным населением русских и горцев.

От Владикавказа начинался уже переезд через горы. Дорога верст пять шла по равнине, но потом исчезала совершенно в горных теснинах. Громады, которые, казалось, загораживали путь, с приближением к ним точно раздвигались, и Кавказ принимал путешественника в свое святилище.

Говорят, что тот, кто видел Кавказ, может умереть, не завидуя Швейцарии; но кто видел только Швейцарию, тот не имеет еще понятия о грозном величии Кавказа. Здесь нет очаровательных, ласкающих видов, нет голубых и зеленых озер, окаймленных вдали снеговыми вершинами. В горах Кавказа все поразительно, величаво и по большей части угрюмо. В Швейцарии первенство принадлежит ландшафту. На Кавказе впечатления, производимые красными пейзажами, меркнут перед образом возникающей тут же грозной горной картины. Самый Монблан уступает даже второстепенным кавказским горам, не говоря о Казбеке и Эльбрусе, которые превышают его почти на целую версту. Шум горной швейцарской Рейсы далеко не может сравниться со лвиным ревом Терека, и никакая Симплонская дорога не может стать в параллель с русским путем, проложенным в Дарьяльском ущелье.

До Балты, где теперь почтовая станция, а во времена Паскевича стоял казачий пост, природа сохраняет еще живописный и мягкий характер; множество звонких ручьев с холодной кристальной водой сбегает с гор на дорогу; самый Терек, разбегаясь в кустах, как бы прячется в

зелени густых, тенистых садов, и вся картина обрамляется великолепной рамой, составленной из перспективы гор, зеленых, лесистых, блещущих под лучами солнца то белыми известковыми, то порфировыми, то черными шиферными скалами.

Но с каждым шагом за Балту ущелье становится уже, природа – угрюмее и диче. Горы достигают уже такой высоты, что огромные сосны, растущие на их вершинах, кажутся мелким кустарником. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны через утесы, преграждающие ему путь. Каменные подошвы гор обточены его волнами.

«Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачной прелестью природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин... Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между которыми хлещет Терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, Ваше благородие, убьют!» Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».

Ларс – это, собственно, замок со сторожевой башней, стоящей одиноко на выдавшемся голом уступе. Кругом его лепятся бедные осетинские сакли, едва приметные глазу. В старые годы, по всей вероятности, здесь было жилище какого-нибудь феодала, наводившего страх на целую окрестность. Отсюда он владел ущельем и собирал дань с проезжающих, если ленился их грабить. Но с тех пор, как гром русских пушек раздался в кавказских ущельях, пали все неприступные замки, истребились

все гнездилища разбойников, и в ларской башне мирно обитало семейство Дударовых, принадлежавшее к лучшим фамилиям Осетии. Внизу, под самой скалой, стоял военный пост, и в нем размещались казаки да одна или две роты пехоты.

Теперь от фамильного замка Дударовых остались одни развалины, а на месте военного поста раскинулся поселок, где русские избы мешаются с целым рядом туземных духанов. Самая станция перенесена отсюда на несколько верст дальше, туда, где на берегу Терека лежит громадный камень, весом в несколько пудов, упавший с окрестных гор во времена Ермолова. Камень так и называется «ермоловским»; но на нем нет ни надписи, ни знака, которые могли бы удовлетворить любопытство путешественника.

Уже подъезжая к новому Ларсу, вы попадаете, как говорит Владыкин в своем путеводителе, точно в глухой переулок, из которого нет другого пути, кроме обратного – так тесно сдвинулись скалы, рассеченные надвое, словно мечом, прядяющим Тереком. Глаз поражается причудливым очертаниям этих голых, лишенных растительности скал, и тем не менее вся прелесть, весь ужас горной природы – еще впереди: вы только у входа в Дарьяльское ущелье, которое, как узкая щель, чернеет в нескольких саженьях от крыльца почтовой станции.

Дарьял, или правильнее Дариол, по-персидски значит тесная, узкая дорога, и это название вполне характеризует путь, проложенный между двумя отвесными стенами утесов. Здесь так узко, что не только видишь, но, кажется, даже чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, синее над вашей головой. Здесь волны Терека едва находят себе место, и на протяжении нескольких верст, кроме дороги, высеченной в скале, нет ни пяди земли, где бы могла ступить нога человека. Но и эта неровная каменистая

дорога была проделана только во время Ермолова. До него здесь не было никакого сообщения, и проезжающим приходилось лепиться по тропе, подходившей почти под самые льды Казбека. Следы этой тропы видны доселе, как видна и скала, прорванная в одном месте порохом в виде крытых ворот или арки, но до того низкой, что путешественники должны были снимать кузова карет или колясок и на руках перетаскивать их несколько сажень. Сколько терялось при этом времени на перетяжку рессорных ремней, на отвинчивание и привинчивание гаек; а случалось и так, что разобранный экипаж не умели собрать снова и бросали его, совершая дальнейший путь на дрогах или на грузинской арбе.

Мрачную обстановку Дарьяльского ущелья усиливает Терек. Как пойманный зверь, с яростью бьется и мечется он из края в край в этой гранитной клетке, и, падая с утеса на утес, увлекает за собой громадные скалы, и с грохотом катит их по каменистому руслу. Шум его, повторяемый раскатами горного эха, заглушает слова человека. «Дико прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелье!» – восклицает Марлинский. И еще диче, еще грандиознее, при неумолкаемом рокоте волн, кажутся стоящие кругом его гранитные стены, местами обугленные, точно обожженные огнем, закопченные дымом. Это действие весенних водопадов. Они низвергаются вниз с такой стремительностью, что увлекают за собой тяжелые обломки гранита, который, падая, выбивает искры, оставляющие на каменных глыбах следы огня и дыма. Ничего нельзя себе представить более дикого, мрачного и грозного, нежели природа Дарьяла. Солнце заглядывает сюда лишь на несколько часов; сильный ветер дует постоянно, то со снежных вершин, то из узких горных проходов; горизонт замыкается утесами печального серого цвета;

по ним бродят облака и, спускаясь вниз, покрывают дорогу туманом. Нередко раздражаются грозы, сопровождаемые страшными раскатами грома, вызывающего падение каменных обвалов, срываемых сотрясением воздуха. И покатоности гор, и дно ущелья, и ложе Терека – все завалено обломками порфиристых и гранитных скал.

Ияд, кя, ячуденябылявокруга
ВеЯяБож, йям, рххя

Только в одном месте громада утесов, как бы раздвигаясь, оставляет небольшую прогалину, на которой стоит небольшая крепость, выстроенная из черного и розового гранита. Эта крепость – новая. А рядом с ней, на выдавшемся голом уступе скалы, виднеются развалины неизмеримо более древнего замка, седого и мшистого, одетого, как ризой, плющом и повеликой. Это знаменитый замок Тамары. Он прирос столетними деревьями и зеленеет в цветах диких роз и тамариндов.

Теперь образованный север шлет одряхлевшему и усыпленному Востоку дары своего просвещения, плоды своей цивилизации и братскую любовь, а было время, когда образованный Восток древнего мира ограждал себя стенами и башнями по ущельям и высям гор от нашествия северных варваров. И этот старый замок некогда также сторожил грузинские пределы от вторжения скифов. Если судить по развалинам еще уцелевших башен и стен, по водопроводам, проложенным под закрытыми сводами, – то надо сознаться, что лучшего места для обороны найти было трудно. В этом тесном ущелье несколько сотен солдат могли остановить целую армию, с какой бы стороны она не подходила. Самое ущелье запиралось деревянными, окованными железом воротами, которые поставлены были здесь царем Мирманом за полтора года до Рождества Христова.

Впоследствии и ворота, и замок разрушились; они еще раз возникли в XII веке при царе Давиде Возобновителе, – но затем уже навсегда отошли в область воспоминаний. Это факт исторический. Но народная легенда не может довольствоваться летописью великого царя, ей нужны мифы, – и она видит в замке Давида волшебный дворец какой-то баснословной царицы Дарьи, передавшей свое, не знакомое истории, имя и самому ущелью. Народу нет дела до того, что по-персидски дария значит ворота. Он уловил знакомый ему звук, воплотил его в образ волшебной царицы и связал ее имя с мрачными развалинами, полными таинственности и суеверного ужаса. Позднее Дарья преобразилась в Тамару, как в имя более знакомое и близкое народу. Но это не та великая, историческая Тамара, которой полны грузинские летописи: та – идеал величия и силы; эта представляет собой миф, такой же таинственный и страшный, как и сама природа Дарьяла. Кому не известна поэтическая легенда, рассказанная Лермонтовым:

Вяглубокой2еЯ, неяДарьяла,я
Гдеярое2ЯяТерекияоямгле,я
С2ар, ннаябашняЯояла,я
ЧернеянаячернойЯкалеххя

От этого замка начиналась Грузия, и путь становился безопаснее, потому что по дороге лежали уже грузинские селения, бедные и малолюдные, но предпочитавшие упорный труд легкой наживе рыцарей большой дороги. Бедность и нищета являлась здесь поразительная. Земля не производила ни фруктов, ни винограда, и единственным источником пропитания жителей служили небольшие посевы ячменя и пшеницы; но эти посевы были так малы, что, например, в деревне Гвилеты, стоявшей у подножия Казбека, на двадцать дворов приходилось всего полдесятины пахотной земли, без пастбищ и сенокосов.

И на этих-то скудных полях хлеб нередко пропадал на корню, потому что все мужчины и весь скот в самую страдную пору обыкновенно отбывали казенную работу. Натуральные повинности жителей были тяжелы и распределялись несоразмерно с населением. Жители бесплатно снабжали все посты по Военно-Грузинской дороге дровами, лесом для построек, ячменем и сеном, выставляли быков для частных проезжающих при перевале их через горы, переносили на руках почту во время снежных завалов или разливе Терека исправляли дорогу и перевозили казенные транспорты от Ларса до Тифлиса, за что платили им один рубль тридцать четыре с половиной копейки медью – и это почти за двести верст расстояния! Нужно сказать, что большая часть этих повинностей была унаследована нами от грузинских царей. Почему грузинские цари издревле обложили здешний народ податью гораздо большей, нежели какая была установлена в других частях Грузии, где и земли несравненно обширнее, и способы сбыта произведений легче, – объяснить трудно. Можно предположить только, что цари, устанавливая подать, принимали в расчет не количество и плодородие земли, а спокойствие и безопасность жителей. Грузия ежегодно разорялась лезгинами, турками и персиянами, а жители здешних горных теснин были недоступны неприятелю.

За Дарьяльской тесниной тотчас начинается Хевское ущелье; оно гораздо шире Дарьяла, и в нем более света и воздуха. Из-за гор уже начинает показываться белая шапка Казбека. Здесь переправа через Бешеную балку, самое имя которой достаточно характеризует этот поток, мгновенно превращающийся после дождя и во время таяния горных снегов в реку, превосходящую своим бешенством Терек. За Бешеной балкой снова долина, – и по

ней разбегается Терек. Громады гор обступают его со всех сторон,

Иямеждуян, х,япрорезавя2уч, ,я
С2о, 2явЯхявышеяголовойя
Казбек,яКавказаяцарьямогуч, й,я
Вячалмея, яр, зеяпарчевойххя

Дорога идет у самой подошвы этой горы, мимо грузинской деревни с готической церковью и княжеским домом, выстроенным со всеми затеями восточной архитектуры. Эта деревня имеет историческое значение, так как в старые годы служила передовым форпостом, заставлявшим выход из Дарьяльской теснины. Она была пожалована грузинскими царями князьям Казы-бекам, выходцам Большой Кабарды, обязавшимся защищать дорогу от горских набегов. От имени князей, поселившихся у подножья исполинской горы, русские стали называть и самую гору Казбеком. Так, по крайней мере, объясняют происхождение этого названия, вовсе неизвестного соседним народам. Местные жители называют гору Бешлам-Корт, грузины – Мхинвари, а осетины Черпети-Чуб, то есть пик Христа.

Волшебный и полный поэзии мир окружает эту гигантскую гору, поднимающую свое чело в заоблачные пространства более чем на шестнадцать тысяч футов. Вековые снега ее дают начало бурному Терек и в солнечные дни горят и сверкают ослепительным блеском. На одной из заоблачных скал Казбека, как раз напротив военного поста, где теперь почтовая станция, чернеет старинная церковь или монастырь, называемый и Степан-Цминде и Цминде-Самеба. Божественная служба совершается здесь ежегодно только три раза, и тогда масса богомольцев со всех сторон приходит на поклонение святыне. Храм окружают могильные плиты, и из рассев-

шихся кое-где каменных стен уже пробивается трава, свидетельница многих веков, протекших над его крепкими сводами. Внутри сохраняются еще некоторые старинные украшения, и как памятники прошлого величия Грузии стоят какие-то старые трофеи, – турецкие бунчуки, Бог весть кем и когда сюда занесенные. Вид со скалы, с высоты семи тысяч шестисот футов, на соседние горы и ледники Казбека – очарователен. Но еще более очаровательное и чудное зрелище представляет сам монастырь в час раннего утра, когда белые, разорванные тучи протягиваются через вершину горы, и уединенная церковь, озаренная первыми лучами солнца, кажется, плавает в воздухе, несомая облаками.

ВыЯкоянадыАмьеюгор,я
Казбек,я2войцарЯвенныйяша2еря
С,яе2явечным,ялучам,я
ТвойямонаЯрыязяоблакам,я
Какяянебеяреющ,йяковчег,я
Пар,2чу2яв,днийянадыгорам,я
Далека,йявожденныйяб!ег!я
Тудаяб,яЯказавяп!оЯ,яущелью,я
Подня2Яявявольнойявыш,не!я
Тудаябвязаоблачнуюякелью,я
ВяЯЯдЯвоЯбогаяЯ!ы2Яямне!я

Многие полагают, что с этим монастырем связана та чудная легенда, которая рассказана Лермонтовым в его поэме «Демон». Но это едва ли справедливо, потому что есть монастырь еще выше, еще неприступнее, на грозных скалах, поднимающихся уже на рубеже вечного снега.

Тамяуяво!о2яегояЯоя2я
НаяЯ!ажеяче!ныеяг!ан,2ы,я
ПлаЯам,яЯежным,япок!ы2ы,я
Ияная!уд,я,х,явмеЯояла2,я
Льдыявековечныеяго!я2я

Посещавшие этот монастырь говорят, что он несомненно был обитаем; там есть и кельи, высеченные в скалах, и могильные плиты, на которых грубые надписи уничтожены временем. Но была ли здесь церковь, – народ не помнит, и потому приходится верить поэзии:

УЯышяявеЯ,явяо2далень,я
Оячудномях!амеяя2ойяЯ!ане,я
СявоЯокаяоблакаяоднея
Спеша2якянемуянаяпоклоненьех

Самая вершина Казбека, по народному поверью, место святое, которого никто не может достигнуть, если не будет чист так же, как девственные снега Казбека. Арарат хранит на своей вершине ковчег. На темени Казбека разбит шатер Авраама, осеняющий вифлеемские ясли, в которых покоился божественный Младенец. У местных жителей сохранилось предание о том, как при царе Ираклии один благочестивый священник вызвался взойти на вершину и взял с собой сына. Старик погиб бесследно в ледниках Казбека, но юноша вернулся с куском неведомого дерева, с лоскутом шелковой материи и с золотыми монетами, приставшими к подошвам его бандулей, – это было то самое золото, которое волхвы, сопровождаемые звездой, принесли Спасителю в дар вместе со смиренной и ладаном. Так рассказывают об этом старые люди. Через сто лет члены лондонского альпийского клуба, известные ходоки по горам, Фрешвильд, Мур и Теккер взялись опровергнуть мнение об абсолютной недоступности вершины Казбека и поднялись на нее 18 июня 1868 года. Сокровищ там они никаких не нашли, а вернувшись с пустыми руками, не поколебали веры туземцев в неприступность Казбека.

Несмотря на святость чтимого места, народные легенды населяют и Бешлам-Корт горными духами, которые

стерегут его вершину и иногда показываются тем, кто охотится за турами.

За Казбеком дорога заметно начинает подниматься в гору. Быстро извиваясь, еще с ревом бежит бурный Терек в каменной раме утесов, но берега его уже не так угрюмы и дики. Подъезжая к бедной осетинской деревне Ачхоты, путник поражается шумом горного потока, мешающимся с ревом дикого Терека. Это вырывается из Гудошаурского ущелья Черная речка, по временам величественная и страшная не менее самого Терека. В сороковых годах по этому ущелью пробовали проложить почтовую дорогу в обход Крестового перевала. Дорога через Буслачир и Гудомакарское ущелье действительно выводила прямо к Пассанауру; но снежные завалы, еще более страшные на этом пути, чем на старой дороге, скоро заставили от нее отказаться.

Между множеством развалин церквей и башен, мелькающих по вершинам окрестных скал, резко выделяются на своих утесах Сион и Георге-цixe, лежащие друг против друга. Никаких преданий о них не существует. Но здесь, как и во всей Грузии, церкви сохранились как памятники от лучшей эпохи ее, а замки – от годин кровавых смут и народных бедствий. Бывали тяжелые времена и для бедных обитателей Хевского ущелья. Это были дни, когда междоусобная война, разгоравшаяся между эриставами Арагвы и Ксана, заливала кровью и освещала огнями пожаров весь длинный путь от старого Душета до теснин Дарьяльских.

Над хевцами являлись тогда властелины, но не было у них покровителей, и народ, заключенный в своих бесплодных горах, лишенный всякой промышленности, угнетенный хищными соседями, вынужден бывал для возделывания своих каменистых нив выходить на работу

целыми селами с оружием в руках, а на ночь укрываться в каменных стенах, в башнях и пещерах. Чтобы спасти себе жизнь, он должен был ютиться в орлиных гнездах, менять цветущие долины на каменные склепы в области вечных туч и туманов. Напротив, Господние храмы созидались в счастливейшие дни Грузии и ставились так высоко только во свидетельство соседним народам торжества христианской религии. Все эти храмы, поражающие величием архитектуры и дошедшие до нас через целые тысячелетия, – памятники или Давида, или Тамары. Повсюду их громкие имена, их светлые лики.

Проезжая среди этих мрачных развалин, поражающих глаз все новыми и новыми впечатлениями, путник достигает станции Коби. Здесь перекресток трех ущелий, которые, сходясь, образуют довольно широкую, красивую долину. Справа, из Ноокаузского ущелья непрерывным каскадом вырывается Терек. Освободившись от горных теснин, плавнее бегут по долине его быстрые волны, как бы набирая новые силы для борьбы с твердым гранитом Дарьяла. Слева чернеет ущелье Ухат-дона, откуда несет шумный поток и, пересекая долину, сливает свои мутные воды с Терекком.

Окрестности богаты минеральными источниками; некоторые бьют фонтанами и своим кисловатым вкусом, и своими целебными свойствами напоминают Нарзан.

От Коби начинается уже перевал через главный Кавказский хребет. Дорога по крутому подъему поднимается прямо на Крестовую гору. На шестой версте, среди пустынной и безжизненной природы, где зимой царство вечных снегов, переезжают речку Байдару. Здесь, прислонившись к скале, стояли две небольшие осетинские сакли и висел колокол, в который звонили во время метели. Далеко разносился благовест посреди завывания

бури и давал путнику весть о близком спасении в этой снежной заоблачной пустыне, готовой засыпать и похоронить его под страшными завалами.

От Байдары подъем еще продолжался две-три версты и наконец достигал вершины горы, где на высоте семи тысяч девятисот семидесяти восьми футов чернеет гранитный крест, – старый памятник, обновленный Ермоловым. Говорят, что первый крест воздвигнут был здесь царем Возобновителем как знамение его владычества над целым Кавказом; но предания относят его ко временам еще отдаленнейшим и утверждают, что здесь, на этом самом месте, Кир распинал непокорных скифов, и самая гора, вследствие орудия казни, названа Крестовой. Ермолов возобновил этот крест в память сооружения Военно-Грузинской дороги. И теперь любопытный путешественник прочтет на мраморной доске, врезанной в его гранитный пьедестал, следующую надпись: «Во славу Божию, в управление генерала от инфантерии Ермолова, поставлен приставом горских народов майором Кононовым в 1824 году».

Спуск с Крестовой был еще труднее подъема. Теперь по этим диким местам проложено прекрасное шоссе; но при Паскевиче, да и гораздо позднее его, до самого конца пятидесятих годов, перевал через Крестовую был такой, что путешественники обыкновенно выходили из экипажа и шли пешком. Пушкин рассказывает, что перед ним проехал здесь какой-то иностранный консул: он велел завязать себе глаза, и когда его свели под руки и сняли повязку, он стал на колени и благодарил Бога, что очень изумило его проводников.

Спустившись с Крестовой, нужно было подниматься опять на Гуд-гору, составлявшую высшую точку перевала, около девяти тысяч футов. Она отделялась от Крестовой

узкой долиной, известной под именем Чертовой. «Вот романтическое название! – восклицает Лермонтов. – Вы уже видите гнездо злого духа между неприступными утесами – не тут-то было! Название Чертовой долины происходит от слова «черта», а не чёрт – ибо здесь когда-то была граница Грузии». Но Лермонтов, однако же, едва ли прав в своем заключении. Граница Грузии была дальше, там, где стояли Дарьяльские ворота, а самое название произошло, как можно полагать вернее, именно от мрачных ужасов, окружающих долину, и частых несчастий, случавшихся здесь от снежных обвалов. Зимой, когда снега накаплиются на вершинах гор и над самой дорогой висят пласты их в несколько сажень толщиной, когда в зловещем безмолвии заоблачной пустыни здесь и там грохочут срывающиеся завалы и необъятные лавины снега, перелетая через дорогу, низвергаются в пропасть, сокрушая все, что встречается им на пути, – тогда умолкают в путнике все страсти, все помыслы и чувства, кроме благоговейного страха: здесь он сознает, в смирении, что близок к смерти, близок к Богу...

Величественная и грозная природа Кавказа, с ее необъяснимыми для необразованного ума явлениями, сделала горцев чрезвычайно суеверными. Пылкое воображение их населило горы бесчисленными таинственными обитателями и создало множество легенд, из которых расскажем одну, относящуюся собственно к Гуд-горе, получившей свое название от могучего горного духа, обитающего на ее вершине. В понятиях осетин страшный Гуд представляется в виде одушевленного существа со всеми человеческими желаниями и страстями, – достигающими в нем, разумеется, размеров чудовищных. Человеку нельзя было безнаказанно увидеть горного великана. Находились смельчаки, которые взбирались на самую

вершину горы, чтобы посмотреть на заколдованное жилище грозного духа, – и могучий Гуд показывал им все ужасы своего мрачного царства. Но никому из этих смельчаков не удавалось возвратиться в аул подбру-поздорову. Все они погибали, и только горные орлы да сам старый Гуд знают, на дне каких стремнин и пропастей белеют их кости.

В той самой Чертовой долине, которую переезжают, спустившись с Крестовой, есть и поныне аул, с которым соединена легенда, характеризующая наклонности горного духа. Вот что рассказывают старые осетины.

В глубоком ущелье, на самом дне его, там, где Арагва вырывается из горной расселины, стоит осетинский аул, называющийся Гуд. Со всех сторон скрывают его громадные горы, которые, кажется, вот-вот раздавят бедные сакли. Но проходят века, – а горы стоят неподвижно; и только в далекой вышине их слышатся из аула глухие раскаты. То старый Гуд на своей недостижимой вершине забавляется, сталкивая в пропасть огромные снеговые глыбы.

В этом-то ауле, в самой крайней сакле, жила бедная осетинская семья, которую Господь благословил рождением дочери Нины. Не было ребенка красивее Нины в целой Осетии, – и старый Гуд пленился малюткой. Хотела ли Нина подняться на гору, тропа, ведущая туда, сама собой выравнивалась, а камни и скалы покорно складывались в удобную и пологую лестницу; искала ли Нина со своими подругами цветов и трав, Гуд собирал и прятал лучшие из них под сводами камней, распадавшимися тотчас при приближении малютки. Никогда ни один из пяти баранов, принадлежавших этой семье, не падал в кручу и не делался добычей дикого зверя. И не раз старый Гуд, опершись могучими локтями на

каменные громады, долго, не отрываясь, следил за своей маленькой Ниной. Тихие слезы текли тогда по длинной седой бороде его и, скатываясь на камни, струились ручьями до самого подножия гор.

И говорили люди: «То жаркие весенние лучи солнца растопили лед на самой вершине!»

Так прошло пятнадцать лет. Из хорошенького ребенка Нина сделалась замечательной красавицей; но она, как и прежде, не замечала заботливости старого Гуда и чаще и чаще заглядывалась на молодого соседа, красавца Сосико. Гуд стал ревновать. Он заводил в трущобы, когда тот с винтовкой гонялся за газелью, застилал перед ним туманом бездонные пропасти или засыпал его снеговой метелью. Но Сосико был отважен и ловок. Он счастливо избегал опасности, и ярость старого Гуда достигала тогда крайних пределов. В бессильном бешенстве, как шумный ураган, мчался он по своим далеким снежным пределам и на пути сталкивал в пропасть груды камней, разметывал снега, поднимал бурю, собирал грозовые тучи, кидал молнии. Гуд шел по горам, трепетали внизу люди и спешили скорее в сакли.

«Старый Гуд разыгрался!» – говорили они.

А старый Гуд не терял надежды отомстить Сосико и разлучить влюбленных. И вот однажды, когда Сосико и Нина, в глубокую зиму, случайно остались в сакле одни и не могли наговориться между собой, Гуд сбросил на них огромную лавину снега. Сакля была погребена под обвалом. В первую минуту влюбленные даже обрадовались, потому что могли некоторое время оставаться одни; они развели очаг и беспечно, усевшись перед огоньком, предались радужным мечтам и ласкам. Но скоро голод предъявил свои требования. Отысканные где-то в углу две хлебные лепешки да небольшой кусок сыра утолили

его не надолго. Прошел еще день, – и вместо веселого говора и звонкого смеха в сакле послышался ропот отчаяния: узники думали уже не о любви, а о хлебе. На четвертый день голодная смерть для обоих казалась неизбежной. Сосико, в мучительной тоске метавшийся из угла в угол, вдруг, в порыве дикого исступления, бросился к Нине и впился в ее плечо зубами...

В эту минуту послышались людские голоса, мелькнул свет и дверь, очищенная от снега, распахнулась. Нина и Сосико бросились к своим избавителям, но уже с чувством отвращения и ненависти друг к другу.

Обрадовался этому старый Гуд и разразился таким смехом, что целая груда камней посыпалась с гор в Чертову долину. Большое пространство ее и до сих пор еще густо усеяно осколками гранита.

«Вот как смеется наш могучий Гуд», – прибавляют осетины, рассказывая эту легенду.

Взбираясь на Гуд-гору со стороны Крестовой, на протяжении какой-нибудь четверти версты, вам кажется, что вы поднимаетесь на самое небо, потому что дорога, насколько может видеть глаз, идет все круче, все выше, и пропадает наконец в облаках, охватывающих наверху туманом и сыростью. Гроза разражается здесь уже под нашими ногами. Здесь-то, на вершине Гуд-горы, Пушкин написал превосходное стихотворение:

КавказяподоямноюжОд, нявявыш, нея
С2оюянадяНегам, яуж! аяяЯ! емн, ны;я
О! ел,яЮ2даленнойподнявш, Яяве! ш, ны,я
Па! , 2янеподв, жнояЯямнойяна! авнеххх

В ясные дни с вершины Гуд-горы открывается очаровательный вид на Койшаурскую долину. Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной Грузии – очарователен. Светлые равнины, орошаемые веселой

звонкой Арагвой, сменяют голые утесы, мрачные ущелья и грозный Терек, оставшийся далеко позади, в Коби. «Славное место эта долина!» – восклицает Лермонтов. Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар; желтые обрывы, исчерченные промоинами; а там высоко-высоко золотая бахрома снегов; а внизу Арагва, обнявшись с другой безымянной рекой, шумно вырывающейся из черного, полного мглой ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своей чешуей. И все это вам кажется отсюда в уменьшенном, игрушечном виде, на дне трехверстной пропасти, по самому краю которой спускается опасная дорога.

Не так легко спуститься в очаровательный край, как отрадно обнимать его взором с заоблачной выси Кавказа. С вершины Гуд-горы дорога на протяжении четырех верст, вплоть до Койшаурского поста, спускалась крутыми зигзагами; она до того узка, что две почтовые телеги едва-едва могли разъехаться, а между тем с одной стороны высоко поднимались гранитные гиганты, образуя сплошную отвесную стену, с другой – дорогу очерчивала пропасть такая, что целые деревни осетин, живущих на дне ее, казались гнездами ласточек. В Койшауре был пост и почтовая станция. Отсюда предстоял еще один последний спуск с Койшаурской горы, – и вы уже в долине Арагвы.

В настоящее время и Гуд-гора, и Койшаурская станция остаются в стороне. С Крестовой спускаются прямо в Квишетскую долину, на станцию Млеты. Млеты лежат ниже Крестовой, почти на четыре тысячи футов, а между тем по этому единственному в свете спуску вы едете все время рысью, даже не тормозя экипажа. Страшные рассказы о тех опасностях, которые встречались здесь в былое время, теперь кажутся легендами. Но чтобы

восстановить в воображении читателя старые образы, расскажем переезд через горы со слов одного декабриста, барона Розена, проезжавшего здесь в 1838 году.

В Коби семейство Розена прибыло утром восьмого ноября. Военный пост заключал в себе убогую саклю для проезжающих, бедный духан да несколько землянок для роты, которые здесь сменяются по очереди. Услужливый ротный командир, штабс-капитан Черняев – совершенный тип Лермонтовского «Максима Максимовича», принес детям молока и очень сожалел, что помещение для них было холодное и тесное. «Впрочем, – сказал он, – если не поздно, то засветло успеем переехать через горы. Который теперь час?» Розен отвечал, что в исходе двенадцатый. «Так собирайтесь скорей, сейчас запрягут лошадей, а я и мои солдаты готовы».

Лошадей запрягли в пять минут; штабс-капитан сел на своего коня, за ним тридцать шесть солдат двинулись на крутую Крестовую гору, поддерживая коляску, когда измученные лошади останавливались. Штабс-капитан часто подъезжал к экипажу и, подобно Максиму Максимовичу, рассказывал о старом времени, когда служил под начальством Ермолова. «Теперь еще вижу, – говорит Розен, – его усмешку, его кавказские замашки, его маленького рыжего коня, который спокойно и смело ступал по самому краю пропасти. Из под конских копыт выбивались камни и падали в бездну; тогда стук и гул от падения их раскатывался эхом по целой долине, а штабс-капитан спокойно покуривал трубку; и когда я упрашивал его не ехать по такому опасному месту, он, улыбаясь, отвечал: «Мы и наши кони привыкли к таким местам; случается часто мне одному ездить по этой дороге. Кажись, место просторное, а бестия рыжая все тянет к краю да к пропасти. И знаете, все как-то тут ехать веселее и виднее».

Переехав Байдару и миновав крест, уже засыпанный снегом, начали спускаться с Крестовой. День был неясный, облака плавали внизу по Чертовой долине. Тучи другого яруса собирались вверху над головой, и скоро пошел пушистый снег большими хлопьями. Штабс-капитан заметил, что густой снег как будто убавляет свету, и повторил вопрос, который час? Часы показали то же, что в Коби: в исходе двенадцатый. Они остановились. Штабс-капитан, стянув брови, заметил с досадой: «Часы нас обманули, но воротиться назад будет хуже».

Стало смеркаться, когда путешественники приблизились к перевалу через Гуд-гору. Дорога пошла вниз зигзагом, под прямым углом, и очень круто. Солдаты веревками и цепями, укрепленными к дрогам и к задней оси, придерживали экипаж, который, сверх того, затормозили. «Посмотрите, как спускается коляска вашей супруги!» – сказал Розену штабс-капитан. Дорога, действительно, шла почти по отвесному склону; с одной стороны – утес, с другой – на один шаг от колес ужасная пропасть, которая поглотила уже много повозок и поклажи. Жена Розена держала на руках дочь и потом рассказывала, что всеми силами должна была упираться ногами в передний ящик, чтобы самой не выпасть из коляски или не выронить ребенка. Дорога была испорчена от дождей и камней. Коляска качалась. Штабс-капитан грозно крикнул: «Не качай коляски!» Один из солдат отвечал: «Темно, ваше благородие!» – «А что, вам свечи надо, что ли?». Коляска перестала качаться, – ее спустили почти на руках.

До Койшаура добрались благополучно. Теперь оставалось спуститься версты три в Квишету. Штабс-капитан спросил команду: «Не устали ли ребята?» – «Никак нет, ваше благородие, рады стараться!» Однако с Койшаурского поста взяли еще двенадцать солдат, и уже в совер-

шенной темноте стали спускаться все в прямом направлении. Штабс-капитан безмолвствовал; солдаты тихо-молком ворчали: «Что он задумал ночью переправлять такие экипажи, да еще с маленькими детьми!»... Розен объяснил солдатам, что всех обманули часы, что нет еще беды никакой и что с таким начальником да с таким конвоем можно безопасно проехать по всему аду. В это мгновение зазвенела железная цепь под коляской. «Это что такое?» – спросил нахмурившись штабс-капитан. «Цепь перетерлась пополам, ваше благородие». «Тем лучше, – сказал штабс-капитан, – теперь вам не на что надеяться, как только на самих себя». Солдаты усердно схватились кто за веревку, кто за рессоры, кто за ремни, и в десятом часу вечера Розен уже был в Квишетах. В Квишетах переезд через горы оканчивался. Здесь была уже настоящая Грузия и, как волшебный призрак, манила к себе красками иного неба, очерками иных гор, мягкие контуры которых обвивались роскошной зеленью. «Это другая, какая-то райская область, – говорит А. Муравьев, – где звонкий ропот серебряной Арагвы сменяет перед вами те ужасы, которые страшным ревом своим навевал дикий Терек и голые, вздымавшиеся к небу утесы». Здесь вы видите кругом прекрасные поля, белые домики, сады, ореховые деревья; по горам красиво раскиданы башни и замки. И между ними –

НаяЯклонейкаменнойго! ы,я

НадяКойшау! Якоюядол, ной,я—яя

Стоит знаменитый замок Гудала, воспетый Лермонтовым. От замка остались одни развалины.

ВЯя2, хожНе2ян, гдеЯедовя

М, нувш, хяле2;я! укаявековя

П! , лежно,ядолгоя, хяЯие2ала,я

Иянеянапомн, 2ян, чегоя

ОяЯавномя, мен, яГудала,я

Оям, лойядоче! , яегоххх

Теперь эти замки служат лишь украшением ландшафта; но, присмотревшись внимательнее, вы увидите, что они расположены в известном порядке, так что посредством сигнальных огней могли мгновенно извещать о нападении жителей целой долины.

В Квишетах жил окружной начальник; но почтовой станции не было, и от Койшаура ехали прямо в Пассанаур, небольшое местечко, приютившееся в горах, покрытых богатой растительностью. Следующая за Пассанауром станция – Ананур, памятный в истории горькой участью своих эриставов. Еще стоит на горе их опустелый зубчатый замок с двумя церквями, во вкусе древнего грузинского зодчества. В одной-то из этих церквей, в дыму и пламени, погибло семейство арагвского эристава.

В другой церкви еще совершаются богослужения, но все иконы на стенах истыканы кинжалами лезгин, которые помогли эристам ксанским разорить родное гнездо их единокровных братьев.

Мрачно смотрит Ананур своим запустевшим замком, и зрелище этих развалин – этот древний храм, эти остатки каменных стен с зубцами и башнями, руины дворца и угрюмо стоящие окрест горы, поросшие дремучим лесом, – все располагает к глубокой думе о старине, когда так много было пролито крови. Ананур, после мцхетского собора, принадлежит к интереснейшим памятникам грузинской древности; и так как с его руинами связано воспоминание о таком кровавом событии, которое было редкостью даже в те времена полнейшего варварства, то мы расскажем то, что сохранилось о нем в народных преданиях.

Во времена грузинских царей существовала должность эриставов, то есть правителей или главы народа.

По ущельям Арагвы и Терека, начиная от ворот Душета до Дарьяльских теснин, находились владения эриставов арагвских, имевших свою резиденцию в Анануре. По реке же Ксану, который сбегает с гор Осетии бурным потоком и впадает в Куру у высокой скалы, где и теперь виден древний замок князей Мухранских, лежали владения эристава ксанского. Обе фамилии, как истые соседи, то ссорились, то мирились между собой, но в общем деле, касавшемся их родины, стояли крепко. Нужно сказать, что в начале прошлого века, при ослаблении власти царей и общем неуладии страны, грузинская аристократия была еще настолько сильна своим единодушием, что не раз возбуждала серьезные опасения в шахском наместнике, сидевшем в Гори. И вот, чтобы ослабить влияние знати, один из этих наместников задумал кровавое дело. Лучшие князья, тавады и азнауры Грузии были приглашены им в Гори. Говорили, что оттуда предполагается большой поход на Осетию, а в сущности их ожидали там наемные убийцы, которые в одну ночь должны были истребить все, что составляло силу и опору Грузинского царства. От прозорливости ксанского эристава, Шанше, не скрылась вероломная затея наместника. Будучи уже в Гори, он сообщил свои опасения Георгию, эриставу арагвскому, приглашая его бежать. Но когда тот пренебрег советом, Шанше бежал один и поднял оружие в горах родного ущелья. Это событие, расстроившее план наместника, спасло князей от гибели, но поселило окончательную рознь и вражду между двумя соседями, из которых один не поддержал другого.

Случаи взаимных оскорблений между ними случались все чаще и подогревали вражду, которая искала для себя исхода. Однажды брат ксанского эристава, Иоссе, поехал в Кахетию с молодой женой. Путь лежал

мимо Ананура; а в Анануре на беду шел пир горой, и молодой Борзим, сын эристава, с высокой башни заметил красивую путницу, сопровождаемую лишь небольшой толпой слуг. Отуманенная вином, молодежь решила похитить красавицу. Крикнули: «Лошадей!» — и через несколько минут на дороге шла уже кровавая свалка. Ксанцы бежали; сам Иоссе, преследуемый несколькими всадниками, едва успел ускакать, но жена его очутилась в плену и была отвезена в Ананур. Час спустя, красные шаровары, снятые с княгини, уже развевались над угловой башней в виде победного знамени. Это был позор, который мог омыться только потоками крови. Когда отпущенная наконец княгиня вернулась домой, старый Шанше дал клятву истребить весь род эриставов Арагвы. Он пригласил на помощь к себе лезгин и вместе с ними осадил Ананур. Это было в 1737 году. Арагвцы, слишком уверенные в неприступности эриставского замка, встретили врагов язвительными насмешками, и красные шаровары как символ позора опять заменили собой башенный флаг. Шанше молчал; но он в глубине души прибавил к первой клятве другую — заменить шаровары головой эристава. Осада была продолжительна. Ананурцы две недели отбивались стойко и, может быть, отсиделись бы в своем неприступном логовище, если бы им не изменила женщина; она указала осаждающим место, где проведена была вода. Водопровод разорили, и гарнизон, измученный жаждой, не выдержал последнего приступа. Георгий, его жена и дети укрылись в церкви; но лезгины обложили ее зажженным хворостом, и все, что находилось в храме, задохлось в дыму и пламени. Только сыну Борзима, Утруту, удалось пробиться в замок Шеуповал, стоявший на высокой горе, в двух или трех верстах от Ананура. Там его настигли лезгины,

и несчастный Утрут был сожжен живым, вместе со всем своим семейством. Рассказывают, что в последнюю роковую минуту некоторые женщины, не выдержав ужасных мучений, стали бросаться вниз с высокой скалы; одни из них убивались до смерти; других, которые еще дышали, дорезывали лезгины.

Крепость и старая ананурская церковь с тех пор остаются в развалинах. Трупы погибших были погребены в одном общем склепе, и над их могилой поныне стоит каменный балдахин, поддерживаемый четырьмя столбами. Под балдахином – плита, покрытая грузинскими надписями. Вахтуш, описывая Ананур, говорит: «В древности была здесь церковь малая, но в 1704 году Георгий эристав построил на высокой скале церковь большую, с куполом, и окружил ее каменной оградой. Он думал найти в ней твердыню, не доступную для врагов, но сделал ее на беду себе местом убиения себя и детей, и сродников».

За Анануром, полным кровавых воспоминаний, следует Душет, – крайний предел бывших владений арагвских эриставов. Душет беден историческими памятниками, и даже крепость его построена не позже половины минувшего столетия последним эриставом Джимшером, происходившим, как говорят предания, из рода князей Челокаевых. В 1750 году Джимшер был убит в Млетах своими собственными людьми, – и с его смертью самое звание эриставов было упразднено. Округ обратился в уделы царевичей, а с утверждением в Грузии русского владычества на месте его образовалась «дистанция горских народов», подчинявшаяся особому приставу.

За Душетом начиналась уже Тифлисская губерния.

КАВКАЗ И РОССИЯ

1. Чечня

Под именем Чечни известна обширная страна, расположенная в неопределенных границах, которые приблизительно совпадают на севере с Терекон и Качкальковским горным кряжем, отделяющим ее от Кумыкской степи; на востоке – с рекой Акташем, за которой начинается уже собственно Дагестан; на юге – с Андийским и Главным Кавказским хребтами, и на западе – с верхним течением Терека и Малой Кабардой, представляющей собой по населению уже полученский, полукабардинский край.

Эта малодоступная страна лежала первой на пути распространения русского владычества не потому только, что она приходилась ближайшей к русским владениям, с которыми не могла не сталкиваться постоянно. Главнейшее значение ее было в том, что она, со своими богатыми горными пастбищами, с дремучими лесами, посреди которых издавна раскидывались роскошные оазисы возделанных полей, с равнинами, орошенными множеством рек и покрытыми богатой растительностью всякого рода, была житницей бесплодного каменистого Дагестана. И только покорив Чечню, можно было рассчитывать принудить к покорности и мирной жизни горные народы восточной полосы Кавказа. Но ничего не было труднее, как подчинить какой-либо власти не столько полудикий

чеченский народ, как дикую природу Чечни, в которой население находило себе непреодолимую защиту. И первые попытки русских посягнуть на нее и проникнуть внутрь страны – экспедиция Пъери при графе Павле Потемкине и булгаковский штурм Ханкальского ущелья – разрешились кровопролитнейшими эпизодами, а после Булгакова больше уже не возобновлялись. И природа и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости.

Топографически Чечня распадается на две весьма отличные друг от друга части: южную – нагорную и северную – плоскую, обе одинаково покрытые вековыми лесами.

Собственно настоящая лесистая Чечня начинается, впрочем, только за Сунжой; в пространстве же от Терека и вплоть до Сунжи, в обширном треугольнике, образуемом этими реками и перерезанном параллельно Тереку двумя невысокими горными кряжами, раскинулась степная глушь, все орошение которой ограничивается лишь несколькими минеральными, преимущественно теплыми ключами. Край этот почти необитаем, и чеченские аулы встречались, ко времени Ермолова, только по его окраинам: по правому берегу Терека и левому Сунжи.

Но за Сунжой уже прямо начинаются безгранично господствующие леса. Равнина, питающая их, слегка покатая от гор к северу, орошается многочисленными и многоводными, почти параллельными притоками Сунжи, из которых быстрая Гойта делит всю местность на две почти равные части, известные под именем Большой (восточной) и Малой (западной) Чечни. Здесь-то, среди лесов, в которых огромные чинары, дубы, клены и особенно орешник, перевитые диким виноградом и другими вьющимися и цепкими растениями, образуют непроходимые дебри, по преимуществу и лежат обширные, прекрасно обработанные поляны и тучные луга, делающие

Чечню житницей восточного нагорного Кавказа. Но здесь же, главным образом, в этой лесистой Чечне, шла и суровая борьба свободных горских племен с северным колосом; тут, что ни шаг, то след битвы, что ни река или аул, то историческое имя, связанное с кровавым эпизодом и памятное часто не одному Кавказу; тут лежат аулы Герменчук, Шали, Маюртуп, Большие и Малые Атаги, Урус-Мартан, Алды, Чечен, Белготой и другие; тут несут свои волны Фортанга, Рошня, Гойта, Геха, и быстрый Аргун, и воспетый Лермонтовым Валерик, и много других, оставивших неизгладимые следы в памяти старых кавказцев.

Непрерывные усилия России ныне отняли у лесистой засунженской Чечни ее неприступный характер; широкие просеки дают возможность проникать повсюду, и нет боле недоступных аулов. Но южная, нагорная, Чечня, бывшая ареной борьбы гораздо позже, уже в последние времена кавказского завоевания, и теперь еще сохраняет свою вековую физиономию. По-прежнему вершины и склоны гор ее одинаково закутаны вековыми корабельными лиственными лесами, давшими этим чеченским возвышенностям имя Черных гор, в противоположность горам Главного Кавказского и Андийского хребтов, постоянно одетых белой пеленой снега. И горные леса эти, прорезываемые могучими горными потоками, почти до последних дней борьбы служили для чеченцев естественной крепостью, из которой они делали свои буйные вылазки и куда запирались каждый раз, как русские войска выгоняли их из лесов Чеченской плоскости, составлявших для них как бы передовые укрепления.

Среди этой-то суровой природы жило оригинальное племя, воспитанное вековой борьбой с внешними врагами и закаленное внутренними междоусобиями.

Чеченцев обыкновенно делят на множество групп, или обществ, давая им имя от рек и гор, на которых они

обитали, или от значительных аулов, обнаруживавших влияние на другие. Таковы алдинцы, атагинцы, назрановцы, карабулаки, джерахи, галгаевцы, мичиковцы, качкалыковцы, ичкеринцы, ауховцы и прочие, и прочие. Но это разделение чеченского народа на множество отдельных родов сделано, однако же, русскими и, в строгом смысле, имеет значение только для них же. Местным жителям оно совершенно неизвестно. Чеченцы сами себя называют нахче, то есть народ, и название это относится одинаково ко всем племенам и поколениям, говорящим на чеченском языке и его наречиях.

Происхождение и история чеченского народа, как и большей части кавказских племен, теряются в тумане прошлого. Достоверных исторических данных об этом нет, а народные предания поражают своей необычайной бедностью и ординарностью. Еще о происхождении народа сохранились кое-какие сказания, но о том, как народ этот рос и развивался, какова была его дальнейшая судьба до появления на Кавказе русских, — обо всем этом, вместо цельных легенд эпического характера, встречаемых у других народов, чеченцы сохранили лишь жалкие обрывки преданий без имен и без характерных особенностей места и времени, и притом все эти предания касаются только средней, засунженской Чечни.

Старики чеченцы расскажут вам, что в дремучих, непроходимых лесах богатой плоскости, простирающейся от северного склона дагестанских гор до Сунжи, еще не так давно рыскали только дикие звери и совершенно не встречалось следов человеческого существования. Лишь назад тому не более двухсот пятидесяти лет на эту плоскость спустилось с гор Ичкерии несколько горских семей и, следуя по течению вод, поселилось в нынешней лесистой Чечне, на плодородной почве по Аргуну, Гойте, Гехе и другим притокам Сунжи. Родоначальником этих

выходцев одно из преданий называет некоего Али-Араба, уроженца Дамаска. Преступления, совершенные им на родине, заставили его бежать в кавказские горы; он поселился в верховьях Ассы, у галгаевцев, женился там, а ловкость, сметливость и восточное красноречие араба создали ему между жителями гор почетное положение. Сын его, Начхоо, отличался необыкновенной силой и неустранимостью, за что и получил название Турпаль (Богатырь), а внуки, носившие уже одно общее имя Нахче и каким-то образом очутившиеся далеко от территории галгаевцев, на другом крае нагорной Чечни, — вследствие семейных раздоров, разделились между собой и, выйдя из Ичкерии, положили начало племени, которое, принимая к себе различных выходцев, постепенно размножилось до значительного народа. Чеченцы и поныне считают Ичкерию своей колыбелью и знают имя Начхоо, как имя своего родоначальника. Вот что говорит об этом старинная чеченская песня.

«Неохотно приближаемся к старости, неохотно удаляемся от молодости. Не хотите ли, добрые молодцы, храбрые потомки Турпалья Начхоо, я спою вам нашу родную песню. Как от удара шашки о камень сыплются искры, так и мы явились от Турпалья Начхоо. Родились мы в ту ночь, когда щенилась волчица; имена нам даны были в то утро, когда голодный барс ревом своим будил уснувшие окрестности. Вот мы кто — потомки Турпалья Начхоо».

Укрытые от хищных соседей вековыми лесами и быстрыми горными речками, чеченцы долго жили спокойно и мирно, пока хищные кумыки, начавшие распространяться по Сулаку и Аксаю, не встретились с ними на Мичике. Тогда и кумыки, а вслед за ними ногайцы и кабардинцы — народы искони воинственные, проведая о богатых соседях, сделали их предметом своих постоянных кровавых нападений и грабежей. Эти-то тяжкие

обстоятельства, вечная необходимость защиты и отпора, по преданию, быстро изменили характер чеченцев и сделали пастушеское племя самым суровым и воинственным народом из всех племен, обитавших тогда на Кавказе.

В течение долгого времени чеченцы не умели находить мер и средств для своей защиты, и долго набег в Чеченю был настоящим праздником для удалых наездников; добыча там была богатая и почти всегда верная, а опасности мало, потому что в Чечне жил народ не знавший ни единства, ни порядка. Бедствия заставили, наконец, чеченцев понять весь вред разъединения и подсказали им средство завести порядок; они решили сообща призвать к себе сильного, храброго князя и вручить ему власть над всею, разрозненной до того землей. Депутация от чеченцев отправилась в Гумбет, и вскоре явилась из гор славная семья дагестанских князей Турловых, многочисленная дружина которых была всегда готова столько же идти за ними в битву, сколько, по первому знаку их, заглушить семена бунта и неповиновения в самой Чечне. Власть Турловых скоро окрепла и принесла стране благодатные плоды. Чеченцы, подчиненные одному княжескому дому, тогда впервые осознали свое народное единство и сплотились на долгое время в нечто целое. Когда князья выезжали на тревогу, жители, ограничивавшиеся прежде защитой лишь своего родного аула, теперь должны были следовать за ними и принимать деятельное участие в защите общенародной. Страна отдохнула под управлением князей и разбогатела. Но возникшее сознание собственной силы вызвало уже среди самих чеченцев хищнические инстинкты, и, не довольствуясь обороной, партии смельчаков их стали вторгаться к соседям и опустошать их земли. И скоро

кумыки и кабардинцы перестали презирать чеченцев, а калмыки и ногайцы стали их бояться.

К этому периоду чеченской истории относится сохранившееся в народе предание о нашествии на них тавлинцев, под именем которых разумелись жители соседней с ними Горной Чечни. Это бывшие одноплеменники, завидуя их благосостоянию, огромным скопищем спустились к ним за добычей. Они вышли на равнину из Аргунского ущелья, где ныне крепость Воздвиженская, и направились к ущелью Ханкальскому. Чеченцы не препятствовали их движению вперед, показывая вид, что спешат укрыть в леса семейства и имущество, но то была только хитрость, позволившая им обойти врага и занять позицию в тылу его, у входа в Аргунское ущелье. Тавлинцы, видя, что им заграждено отступление, пытались пробиться назад, но мгновенно были окружены и рассеяны, причем большая половина их истреблена. С тех пор у чеченцев сложилась поговорка, которая и поныне служит памятником этой кровопролитной битвы. Чтобы вызвать представление об огромном количестве ничего не стоящих вещей, они говорят: «Это дешевле, чем тавлинские папыхи на Аргуне». Предание, утратившее точность относительно времени, причисляет это событие к эпохе, когда минуло сто лет после выхода чеченцев из гор.

Имя князей Турловых долгое время пользовалось в стране общим уважением. Но по мере того как силы чеченцев росли, в них восставал и прежний дух необузданной вольности. Скоро княжеская власть стала казаться им уже тяжелым ярмом, и Турловы были изгнаны. Они удалились, впрочем, лишь в надтеречные чеченские аулы и там долго еще пользовались правами княжеской власти, а чеченцы, обитавшие за Сунжой, упрочив за собою занятые земли, возвратились к своему старинному быту.

На этой стадии развития политического и общественного быта застали чеченцев русские. Они нашли в них упорного, неукротимого врага, которого и физические силы, и чисто демократические обычаи, и весь образ жизни, словом, дышали войной и волей.

Чеченец красив и силен. Высокого роста, стройный, с резкими чертами лица и быстрым решительным взглядом, он поражает своей подвижностью, проворством, ловкостью. Одетый просто, без всяких затей, он щеголяет исключительно оружием, соревнуясь в этом отношении с кабардинцами, и носит его с тем особенным шиком, который сразу бросается в глаза казаку или горцу.

По характеру чеченец имеет много общего с другими горными племенами Кавказа; он также вспыльчив, неукротим и легко переходит от одного впечатления к другому; но в его характере нет той благородной открытости, которая составляет характерную черту, например, кровного кабардинца; они коварны, мстительны, вероломны и в минуты увлечения опасны даже для друга.

Собственно военные способности народа были невелики, но этот недостаток с лихвой вознаграждался у него необыкновенной личной храбростью, доходившей до полного забвения опасности. И в песнях чеченской женщины с особенной яркостью отражается этот дерзкий, предприимчивый, разбойничий дух чеченского наездника.

Яяположу! укуяподяголовуюмоемуямолодцу-х! аб! ецуя
 ОняЯед, яноч, ,янаяво! ономяконе,янея! азб, ! аяяб! оду,яя
 я я я я яяяпе! еплывае2яТе! екя
 Во2яняподъехалякказацкойя2ан, це,яте! еп! ыгнуляог! аду!я
 Во2яняЯква2, ляку! чавогоямальчугана;яво2яняувоз, 2я
 я я я я я яяямальчуганая
 Смо2! , 2е,япод! уг, :явоня2олпаяказаковягон, 2Яязаямо, мяя
 я я я я яяяямолодцом-х! аб! ецом,я

Ияпылья, ядымя2явыЯ! еловяза2емняю2язвездочк, ,яя
 я я я я яяяян, чегоянеяв, дноя
 Во2янаЯ, гаю2ямогоямолодца-х! аб! ецаж! Во2янявыхва2, ляя
 я я я , зячехлаяЯвоея! ымЯкоея! ужье;я
 Во2яняповал, людногояказака;яво2ад! угаяказачьялошадьяя
 я я я я яяЯкаче2ябезявЯдн, кажя
 О,яАллах!яМойямолодец-х! аб! еця! анен,як! овья2ече2яя
 я я я я я яяпогоя! укежя
 Ах,якакая! адоЯь,якакоеяЯнаЯье!яЯбудуяухаж, ва2ья
 заямо, мямолодцом-х! аб! ецом,япе! евязыва2ьябудуя! ануя
 я я я я мо, мяшелковыми! укавомя
 Мойяк! аб! ец-молодец! одаЯямальчуганаявЯнде! , ,я
 я я яяявяДагеЯан,я, яп! , везе2ямнеяпода! окя
 То-2оямыябудемяж, 2ь-пож, ва2ьяЯн, м!хя

Такова чеченская народная песня.

Дерзкие при наступлении, чеченцы бывали еще отважнее при преследовании врага, но не имели ни стойкости, ни хладнокровия, чтобы выдержать правильную битву. В аулах чеченцы защищались редко, разве случайно удавалось захватить их врасплох; обыкновенно они бросали дома на произвол судьбы, мало дорожа своими постройками, которые всегда могли легко возобновить при изобилии лесного материала. Но там, где были дремучие леса, овраги и горные трущобы, они являлись поистине страшными противниками.

Русские войска, вступая в Чечню, в открытых местах обыкновенно совершенно не встречали сопротивления. Но только что начинался лес, как загоралась сильная перестрелка, редко в авангарде, чаще в боковых цепях и почти всегда в арьергарде. И чем пересеченнее была местность, чем гуще лес, тем сильнее шла и перестрелка. Вековые деревья, за которыми скрывался неприятель, окутывались дымом, и звучные перекаты ружейного огня далеко будили сонные окрестности. И так дело шло

обыкновенно до тех пор, пока войска стойко сохраняли порядок. Но горе, если ослабевала или расстраивалась где-нибудь цепь; тогда сотни шашек и кинжалов мгновенно вырастали перед ней, как из земли, и чеченцы с гиком кидались в середину колонны. Начиналась ужасная резня, потому что чеченцы проворны и беспощадны, как тигры. Кровь опьяняла их, омрачала рассудок; глаза их загорались фосфорическим блеском, движения становились еще более ловки и быстры; из гортани вылетали звуки, напоминающие скорее рычание тигра, чем голос человека. Такими они были, по рассказам очевидцев, во время резни в Ичкерийских лесах и такими являлись всегда, когда имели дело со слабыми, расстроенными командами или с одиночными людьми.

Один из русских писателей, выражая характер военных экспедиций в Чечню, прекрасно сказал, что «в Чечне только то место наше, где стоит отряд, а сдвинулся он — и эти места тотчас же занимал неприятель. Наш отряд, как корабль, прорезывал волны везде, но нигде не оставлял после себя ни следа, ни воспоминания».

Таким образом, чеченцы являлись, в сущности, не воинами, в обыкновенном смысле этого слова, а просто разбойниками, варварами, действовавшими на войне с приемами жестоких и хищных дикарей. Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике, есть нечто, напоминающее волка. И это верно уже потому, что чеченцы в своих легендах и песнях сами любят сравнивать своих героев именно с волками, которые им хорошо известны; волк — самый поэтический зверь по понятиям горца. «Лев и орел, — говорят они, — изображают силу: те идут на слабого; а волк идет и на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагой и ловкостью. В темные ночи отправляется он за своей добычей и бродит вокруг

аулов и стад, откуда ежеминутно грозит ему смерть... И раз попадет он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли». Не те же ли самые черты рисуют перед нами и образ настоящего чеченского героя, самое рождение которого как бы отмечается природой; в одной из лучших песен народа говорится, что «волк щетинится в ту ночь, когда мать рождает чеченца».

При таких типичных свойствах характера, понятно, что чеченец и в мирное время, у домашнего очага, выше всего ставил свою дикую, необузданную волю и потому никогда не мог достичь духа общности и мирного развития.

Естественно, что быт чеченцев отличался обычной простой, патриархальностью самых первобытных обществ; родовое начало было в нем преобладающим элементом, и притом настолько сильным, что каждое общество, каждое селение жило своей особенной самостоятельной жизнью.

Это были отдельные независимые мирки, в которых адат (обычай) заменял закон, а старший в роду был в одно и то же время военным предводителем, судьей и первосвященником. Каждая деревня имела свои обычаи, сохраняла свои предания и старалась не иметь никаких общих интересов даже с соседними аулами. Но, конечно, столкновения были неизбежны, и прямым последствием их являлись ссоры, оканчивавшиеся нередко убийствами и грабежами, потому что пылкий чеченец никогда не прощал обиды. Тогда начинался длинный ряд кровомщений, «канлы», ведущий к истреблению целых семей и даже аулов. Не лишнее сказать здесь, что обычай кровомщения, бывший причиной постоянных междоусобий в чеченской земле, был лучшим союзником русских, которые нередко прямо пользовались им, как средством бросить в страну семена розни и внутренней вражды. И это средство было тем действеннее, что

«канлы» был обычаем священным, неисполнение которого набрасывало на виновного всеобщее презрение. Вот что говорится в одной народной чеченской песне.

ВыЯхнеЗяземлянаямог, лямоейя—я, язабудешьяЗыяменя,я
я я я я я мояя! однаямаЗыя
По! аЯеЗякладб, щеймог, льнойя! авойя—язаглуш, Зя! авая
я я я яяяяЗвоеяго! е,ямойяЯа! ыйяоЗеця
СлезыявыЯхнуЗянаяглазаяЯЯ! ыямоейя—яЗогдаяулеЗ, Зя
я я я я яяя, яго! ея, зяЯ! дцаяеея
НоянеязабудешьяЗыяменя,ямойяЯа! ш, йяб! аЗ,я—япокаянея
я я я я я оЗомЯ, шьямоейяЯе! З, ж
Неязабудешьяменя, яЗы,ямладш, йяб! аЗ,я—япокаянеяляжешья
я я я я я вмяог, луя! ядомяЯмноюя
Го! ячаяЗы,япуля,я, янеЯшьяЗыяЯе! Зыя—яноянеяЗыял, ябылая
я я я я я моейяве! нойя! абою?я
Земляяче! ная,яЗыяпок! оешьяменя—яноянеяял, яЗебяя
я я я я я я конемяЗопЗал?я
ХолоднаяЗы,яЯе! Зы,ядажеяЯе! Зыях! аб! еця—янояведьяяя
я я я я я быляЗво, мягоЯпод, номя

На почве именно обычая кровомщения выработался в Чечне, как и в других кавказских странах, особый, любопытнейший тип людей, называвшихся абреками. Название это обыкновенно присваивалось русскими всем отважным наездникам, пускавшимся в набеги небольшими партиями, но, в сущности, абрек есть нечто совершенно иное; это род принявшего на себя обет долгой мести и отчуждения от общества вследствие какого-нибудь сильного горя, обиды, позора или несчастья. И нигде абречество не принимало такого удручающего характера, как у чеченцев. Эти люди становились одинаково страшными и чужым и своим, отличаясь жестокой, беспощадной ненавистью ко всему человеческому. Уже по клятве, которую приносил чеченец, решившийся сделать абреком, можно судить о безграничном человеко-

ненавистничестве, на которое он обрекал себя. Вот эта клятва, записанная с возможной точностью.

«Я, сын такого-то, сын честного и славного джигита, клянусь святым, почитаемым мною местом, на котором стою, принять столько-то летний подвиг абречества, и во дни этих годов не щадить ни своей крови, ни крови всех людей, истребляя их, как зверя хищного. Клянусь отнимать у людей все, что дорого их сердцу, их совести, их храбрости. Отниму грудного младенца у матери, сожгу дом бедняка и там, где радость, принесу горе. Если же я не исполню клятвы моей, если сердце мое забьется для кого-нибудь любовью или жалостью — пусть не увижу гробов предков моих, пусть родная земля не примет меня, пусть вода не утолит моей жажды, хлеб не накормит меня, а на прах мой, брошенный на распути, пусть прольется кровь нечистого животного».

Встреча с абреком — несчастье, и вот как описывает ее один из путешественников.

«Если вы, — говорит он, — завидели в горах кабардинку, опушенную белым шелком шерсти горного козла, и из-под этих прядей шелка, раскинутых ветром едва ли не по плечам наездника, мутный, окровавленный и безумно блуждающий взор, бегите от владельца белой кабардинки — это абрек. Дитя ли, женщина ли, дряхлый ли, бессильный старик — ему все равно, была бы жертва, была бы жизнь, которую он может отнять, хотя бы с опасностью потерять свою собственную. Жизнь, которой наслаждаются, для него смертельная обида. Любимое дело и удаль абрека, надвинув на глаза кабардинку, проскакать под сотней ружейных или винтовочных стволов и врезаться в самую середину врага.

Слово «абрек» значит заклятый. И никакое слово так резко не высказывает назначения человека, разорвавшего узы дружбы, кровного родства, отказавшегося от любви,

честь, совесть, сострадания, словом — от всех чувств, которые могут отличить человека от зверя. И абрек поистине есть самый страшный зверь гор, опасный для своих и чужих: кровь — его стихия, кинжал — неразлучный спутник, сам он — верный и неизменный слуга шайтана...»

Абреки нередко составляли небольшие партии или шли во главе партий, перенося всю силу своей ненависти на русских. И встреча с ними войск неизбежно вела за собой кровопролитные схватки. Абреков можно было перебить, но не взять живыми.

Впоследствии мюридизм, несколько подчинивший свободные проявления воли воле и пользе общественной, значительно ослабил обычай кровомщения, а вместе с тем и абречество, но во времена Ермолова и тот и другое процветали еще во всей своей силе.

Такова была страна и таковы люди, трудная задача покорения которых лежала перед русскими. Но чтобы не ограничиться ничем не говорящими воображению определениями свойств чуждого народа, приводим рассказ, в котором, в картине набега, отражены бытовые черты чеченских племен, их взаимные междоусобия и недостаток внутренней племенной связи, мешавшие им направить всю силу своей непреклонной и дикой энергии против внешних врагов, уже стоявших на рубеже их родины. И это было до тех самых пор, пока, наконец, в горах Дагестана не появились, с мечом в одной руке и с Кораном в другой, грозные вожди газавата, известные в истории под именем кавказских имамов и слившие разрозненные общества в одно грозное политическое целое.

ЧЕЧЕНСКИЙ НАБЕГ

В той местности, которая теперь известна под именем Малой Чечни, в верховьях быстрого Шато-Аргуна, среди дремучих лесов стояло некогда богатое селение Шары. Века прошли над ним с бедствиями войны и разорения, многочисленные народы приходили один за другим искать его гибели, и реки крови своей и чужой были пролиты шарцами при защите родных лесов, за которыми они считали себя безопасными... И вот в одну бурную ночь цветущее селение погибло: остались только печальные развалины, стены рухнувших сакль, закоптелые, с провалившимися потолками, башни, да черные обугленные пни деревьев, по которым время от времени вспыхивали и пробегали тонкие зловещие огненные змейки.

Всю ночь бушевала страшная буря, и свирепый пожар быстро совершал свое разрушительное дело. Под утро набежала тучка, но было уже поздно. Огонь, правда, легко уступил враждебной стихии и, свившись в черные клубы дыма, прилег к пепелищу, но все уже было покончено с Шарами.

Во время пожара никто не приходил спасать имущество; не было обыкновенных в такое время явлений: суеты, криков, беготни, тревоги. Шары сгорели спокойно, как жертва на костре, заранее лишенная жизни. Людей, по крайней мере живых, в то время там уже не было. И гордый аул не увидел восходящего над собою солнца.

Шары были жертвой междуплеменной вражды.

Раздоры между ними и одним из аулов карабулакских были древни, как самое существование этих народов. Отцы заповедовали их детям, поколения – поколениям. И пробил, наконец, час возмездия – последний страшный час шарцев. Карабулаки, соединившись с ингушами*, темною ночью прокрались через леса, в глубокой тишине, окружили Шары и, по условному знаку, напали на сонных жителей аула. Короток, но беспощаден был этот бой, в котором все шансы были на стороне нападавших. Когда окончил свое дело меч, начал огонь, его всегдашний преемник.

Наутро не было и следов богатого селения. Союзники, в ожидании ночи, которая должна была скрыть их отступление, расположились станом на ближней возвышенности. Они захватили с собою все, что могли: домашнюю утварь, скот, хлеб и прочее, а чтобы предохранить себя от всяких покушений со стороны неприятеля, так как часть шарцев могла избежать меча и огня, площадка холма была окружена окопом.

Набег был совершен буйной шайкой, составленной из разного сброда. Здесь были и ингуши-язычники, и ингуши-магометане, были, наконец, христиане, или, по крайней мере, считавшие себя христианами. На Кавказе всегда было обычным делом, что два врага подавали друг другу руки и общими силами губили третьего, чтобы после снова начать резню между собою. Так было и тут. Цель похода была достигнута – и миру не было уже места в лагере союзников. С последним выстрелом проснулись все замолчавшие на время распри; их старые племенные и фамильные ссоры, забытые на короткое время набега,

* Ингуши (назрановцы) жили по рекам Камбилейке, Верхней Сунже и Назрановке, а карабулаки – по рекам Ассе, Сунже и Фортанге.

снова зашевелились и подняли свои «сто голосов и сто языков».

Главным предметом несогласий была, как и следовало ожидать, захваченная добыча. Редкий был так счастлив, чтобы в грабеже захватить себе нужное; холостому досталось несколько пар женских туманов, христианскому священнику попал в руки богатый Коран; кто рассчитывал добыть коня – захватил корову или несколько баранов; один видел себя обладателем воза безупрядной скотины; другой, наоборот, владел скотом, а не было воза... Словом, меновая торговля сделалась неизбежной потребностью шайки.

Пока разбирались с добычей, пленницы, согнанные к одной стороне табора, сидели в углу, возле самого вала, и оглашали стан печальным причитанием над родными покойниками, тела которых остались в глубине долины, там, где курились свежие, облитые кровью развалины. Тяжела и печальна участь кавказской женщины, попавшейся в плен, в руки неистовых варваров!

В середине стана, где шел базар и менялась добыча, стояли три или четыре намета горских предводителей. При каждом из них развевались значки из красной или синей материи, и при каждом значке находился часовой, от бдительности которого зависела честь народа и войска, к которым он принадлежал. Один из этих часовых, усатый ингуш в огромной бараньей папахе, с накинутым на плечи нагольным тулупом, опершись о винтовку, стоял с ложкой в руке между кадушкой сливок и кадушкой меду, в нерешительности, чему отдать предпочтение. Прочие сидели вокруг костра, и один из них насаживал на рожон кусочки баранины, чтобы готовить шашлык. Но тут случилось обстоятельство, которое погубило и шашлык и кадушки. У одного из наметов стоял огромный

рыжий бык, привязанный к колу, а возле развевалось раздражавшее его красное знамя. Бык трясся от ярости, бил и копал землю копытами и, наконец, бешеным прыжком оборвал свою привязь. Знамя первым сделалось жертвой его ярости, за ним пострадали кадушки, шашлык и, наконец, часовой, который возился с вертелом. Бык устремился далее. В это время обладатель кадушек, не успевший ничего отвратить ни из той, ни из другой, в припадке гнева приложился из винтовки; грянул выстрел – и «неприятель» был ранен. Почувствовав боль, разъяренный бык еще ужаснее заметался по табору, все опрокидывая и сокрушая вдребезги на своем пути. После нескольких выстрелов, из которых часть попала в людей, бык, весь израненный, вскочил в огромный костер и разбросал головни во все стороны. Одна из них упала на чье-то тряпье, которое мгновенно и вспыхнуло. Бывшие вокруг него, чтобы остановить пожар, разбросали впопыхах тряпье и такое, которое уже тлело, и подожгли остальную рухлядь. Пожар, раздуваемый сильным ветром, охватил весь стан. В суматохе не успели выхватить нескольких ящиков с порохом, и холм потрясся от страшного грохота взрыва.

Паника охватила весь стан. Ингуши и карабулаки с криком и проклятиями бросились в разные стороны, толкая друг друга и топча упавших. Вал, который должен был служить охраной, едва не сделался причиной их гибели. И пока удалось им выбраться из окопов, истребительная стихия много обожгла усов и бород. Крики боли, страха и проклятий, смешавшись с ревом перепуганного скота, составили поражающую музыку. Наконец преграда была разрушена, – и отлогие скаты холма покрылись толпами бегущих. Счастлив был тот, кто целым очутился внизу, потому что бывшие сзади валили

передних, топтали их в бегстве, путались и сами падали. Однако же нашлись смельчаки, которые, презирая опасность, возвратились к вещам, чтобы по крайней мере спасти то, что было подрагоценнее.

Добыча подверглась новому грабежу. Право собственности, уже несколько установившееся, опять уничтожилось.

Усатый ингуш, который своим необдуманным мщением за опрокинутые кадушки был главной причиной несчастья, бросился к пленницам, о которых в суматохе совсем забыли. Схватив первую попавшуюся, он сдернул с нее чадру, взглянул в лицо, плюнул и столкнул ее в пропасть; другую, третью постигла та же участь. Наконец он попал на одну, которая ему понравилась. Но едва он сбежал со своей добычей вниз, к подножию холма, на него напали двое, с криком показывавших, что эта пленница их и принадлежит обоим по равной доле. Крик перешел в ссору, и ссора готова была уже разразиться рукопашной свалкой. Но в ту минуту, как новый обладатель пленницы готовился доказывать свои права кулаками, кто-то толкнул его в затылок, и он упал наземь. Два претендента, пользуясь счастливым моментом, уже схватили пленницу, один за одну, другой за другую руку, и намеревались скрыться с нею, но усатый ингуш, вскочив с земли, успел схватить несчастную за ноги. Все трое снова закричали, посылая друг другу угрозы и проклятия, а бедная жертва их спора едва слабым стоном извещала признаки жизни и неминуемо жестоко пострадала бы в этом распинании, если бы не явился четвертый и не вмешался в ссору. То был сам предводитель, поспешивший на шум, чтобы помешать начинавшемуся побоищу.

– Стойте! – сказал он. – Вы оба домогаетесь права на половину этой пленницы. Так?

– Так.

– Следовательно, вся-то она, как есть, никому не принадлежит из вас?

– Никому, – отвечали оба претендента.

– А ты, третий, спас ее от огня и теперь говоришь, что она твоя?

– Моя.

– Почему же?

– Потому что я спас ее от огня.

– Эта причина недостаточна, – сказал предводитель.

– Например, если кто кому спасет жену – неужели же он может присвоить ее себе? Если бы ты спас меня самого, то неужели и я был бы твой? Каждый скажет, что нет. Следовательно, девушка и тебе не принадлежит, так же как и им.

Поднялся новый спор, и тогда порешили бросить жребий. По жребию девушка досталась усатому ингушу.

– Уступи мне ее за двадцать баранов, – сказал тогда предводитель.

– Да ты спроси прежде, кто она такая, – не без гордости возразил ингуш, – ведь она сестра здешних узденей, Лейля.

– Так что ж из того! Уздени лежат под пеплом своего аула, выкупа от них не дождешься.

– Но кто же видал, чтобы сестру узденей продавать за двадцать баранов! – сказал усач, соображая, сколько же он может попросить за пленницу.

– Ну, хорошо. Возьми за нее мою крымскую винтовку. Ингуш призадумался. Винтовка была хороша, лучше ее не найти... А все же девка может стоять дороже.

– Ну, так слушай же, – сказал предводитель, – бери винтовку и, в придачу, любого из моих жеребцов – на выбор.

На этом торг наконец состоялся, и Лейля перешла к новому владельцу.

Между тем наступила ночь, и партия направилась в обратный путь. Пискливые зурны открывали шествие.

Напрасно предводители старались их унять, убеждая, что отступление требует глубочайшей скрытности и тишины; но набег окончился, и никто больше не думал о повиновении. Партии приходилось прежде всего пройти густой лес, перерезанный множеством оврагов, без всякого следа торной дороги. Ночь была темная, дождь лил как из ведра, и земля, растворившись, образовала непролазную грязь. Конным труднее было держаться вместе, чем пешим, и потому они разбрелись по целому лесу: кто попал на тропинку, тот отправился сам по себе, а кто засел в овраге или застрял в кустах, тот выбирался, где и как ему было удобнее.

И вдруг посреди лесной тишины зловеще грянул ружейный выстрел, за ним другой... Двое раненых присели, схватившись один за голову, другой за ногу. В шайке пошла суматоха, и несколько винтовок ударили наудачу.

Брань и крики ингушей послышались с той стороны, куда направлен был залп карабулаков.

– Да там наша конница, – заговорили пешие. – Кто же это стреляет-то?..

Но снова грянул выстрел, за ним опять другой, и двое новых раненых опять опустились на землю.

– В шашки! В шашки! Живьем хватайте их! – кричали ингуши и карабулаки.

И хотя все гикали во всю мочь, однако же лишь немногие сунулись вперед, да и те воротились, потеряв одного убитым. После этого уже никто не считал себя обязанным рисковать жизнью, и на каждый выстрел шайка отзывалась только угрозами и криком. А тем временем два невидимых стрелка посылали пулю за пулей, и редкий выстрел их не приносил новой жертвы.

Заколдованный лес наконец окончился, шайка подошла к реке. Но вследствие сильного дождя, шедшего всю ночь, переправы не было. Одна конница с трудом перебралась вплавь, да и то потеряв несколько человек, унесенных течением воды. И вдруг из кустов выскочили два человека и кинулись рубить все, что ни попало под руку. Испуганная неожиданным нападением, шайка метнулась в сторону и пока опомнилась, пока пришла в себя и сообразила, что нападающих только двое, те уже снова скрылись в кусты, а на песчаном берегу лежали следы их нападения – несколько изрубленных трупов.

Утро наступившего дня было пасмурное, но не дождливое. Между развалинами сожженного аула чернела сумрачная башня, и из ее бойниц кое-где пробивался дымок как бы от разложенного внутри нее небольшого костра. Там, погруженные в мрачные думы, сидели два человека, два героя нынешней ночи. Они одни пережили родной аул и справили по нем кровавую тризну. Эти два человека были уздени, братья несчастной пленницы Лейли.

Не скоро оправились Шары от этого погрома, а когда оправились, то сотни других аулов уже лежали в развалинах, свидетельствуя все о том же непокорном и строптивом духе чеченской земли, вносившем рознь и смуту во все ее жизненные проявления и облегчавшем чуждым пришельцам овладение ее недоступными лесными дебрями и горными твердынями.

Грозная

Настал один из важнейших моментов в истории Кавказской войны. Возвратившись из Персии, Ермолов приступил к выполнению обширного плана, имевшего конечной целью действительное покорение Кавказа, которое одно только и могло вывести богатый и плодородный край на путь мирного развития. Чечне приходилось первой испытать на себе всю силу энергии нового главнокомандующего.

Грозная молва в горах предшествовала Ермолову. Говорили, что даже сам князь Цицианов, этот памятный всем бич кавказских гор, смиренный агнец перед свирепым и страшным Ярмулом. Молва имела свои основания. Первые распоряжения Ермолова уже внушали страх, показывая горцам, что кончилось время, когда от набегов их откупались, когда русские войска, если и вторгались в их земли и жгли их аулы, то и сами несли огромные потери, ничего не изменяя в сложившихся отношениях и ничего не приобретая для будущего. Всем было известно, как энергично распорядился Ермолов в деле освобождения Швецова, заключив в Кизлярскую крепость всех кумыкских князей, по землям которых проезжали хищники, и пригрозив им даже виселицей. Стоустая молва создавала, по обыкновению, множество преувеличенных слухов. В горах говорили, что Ермолов приказал из пленных чеченок отбирать красивейших и выдавать их замуж в далекую Имеретию, а некрасивых и старых распродавать

лезгинам по рублю за каждую. И чеченцы ожидали Ермолова с тревогой. Но в то же время они не прекращали и своих набегов, усилившихся особенно с тех пор, как русские поставили на Сунже новый редут, названный Преградным Станом.

Решив перенести передовую линию за Терек, Ермолов на первом шагу имел перед собою две ближайшие цели, составлявшие, впрочем, только начальные звенья в длинной цепи предстоявших действий: обуздание так называемых мирных чеченцев и заложение крепости, которая обеспечила бы устойчивость новой Сунженской линии. Но к исполнению своих предначертаний ему удалось приступить не без препятствий, которые он встретил вначале со стороны Петербурга. А между тем, в предначертаниях Ермолова сказалась именно только обычная его проницательность.

Мирные чеченцы, действительно, составляли одно из главных зол в наших отношениях к горцам. Еще в 1783 году, во время управления Кавказским краем Потемкина, чеченские выходцы, жившие до того в вассальной зависимости от кумыкских князей, сбросив с себя это иго, просили позволения поселиться на плоскости между реками Сунжой и Тереком, обещая составить передовые посты для Терской линии. Обещания этого они конечно не сдержали, а между тем весь правый берег Терека, издавна принадлежавший казакам, отошел под чеченские поселения. Таким образом явилось это особое сословие мирных чеченцев, самых злых и опасных соседей прилинейного жителя. Мирные аулы служили притоном для разбойников всех кавказских племен; в них укрывались партии перед тем, чтобы сделать набег на линию; здесь находили радушный прием все преступники; и нигде не было так много беглых русских солдат,

как именно в этих надтеречных аулах. Приняв магометанство, многие из дезертиров женились, обзавелись хозяйством и при набегам бывали лучшими проводниками для чеченских партий. Ермолов видел зло, которое приносила нам близость этих аулов; он признавал необходимым возратить казакам их древние затеречные владения и просил о дозволении желавшим из них переходить на Сунжу целыми станицами.

«С устройством крепостей, — писал он государю, — я предложу живущим между Тереком и Сунжой злодеям, мирными именующимися, правила для жизни и некоторые повинности, кои истолкуют им, что они подданные Вашего Величества, а не союзники, как до сего времени о том мечтают. Если будут они повиноваться по надлежащему, то назначу по числу их нужное им количество земли, разделив остальную между казаками и карангайцами; если же нет — предложу им удалиться к прочим разбойникам, от которых различествуют они одним только именем, и в сем случае уже все земли останутся в распоряжении нашем».

Отстаивая необходимость занятия Сунжи, Ермолов писал, что эта мысль принадлежала еще покойному князю Цицианову, которому только преждевременная смерть помешала привести ее в исполнение. Он не скрывал от государя, что предприятие небезопасно, что чеченцы не позволят спокойно возводить укреплений на своей земле, и, в обеспечение успеха, просил усилить войска на линии хотя одним егерским полком из числа расположенных в Крыму, «в местности, наиболее сходной по климату с Кавказом».

«Рано или поздно, Государь, приступить к сему необходимо, — писал он императору, — но теперь повсюду мир и спокойствие тому благоприятствуют. Кавказская линия

требует защиты, а я желаю, чтобы в Ваше царствование она воспользовалась спокойствием и безопасностью».

Но в Петербурге смотрели на дело иначе. Там никак не могли себе уяснить, что такое затевается на Кавказе, почему там постоянные хищничества и к чему поведут наступательные действия. Крутыми, энергичными мерами нового главнокомандующего также не были довольны — и это тем более, что они шли вразрез с мыслями самого государя, требовавшего кроткого обращения с соседями. В столице считали полудиких горцев чем-то вроде воюющей державы, с которой можно было заключить мирный договор и успокоиться. Но Ермолов, стоявший у самого дела, сознавал, что чеченцы совсем не держава, а просто шайка разбойников, и рядом представлений, разъясняя сущность дела, настойчиво добивался разрешения действовать наступательно.

«Если Вашему Величеству благоугодно будет утвердить мои предположения, — писал он государю, — то нужен на имя мое высочайший указ в руководство и непрременную цель преемникам моим. В предположении моем нет собственной моей пользы; не могу я иметь в предмете составлять военную репутацию мою на счет разбойников, и потому в мой расчет входят не одни средства оружия. Не у всякого, однако же, на моем месте могут быть одинаковые виды».

И наконец Ермолов добился утверждения своих предположений. Перед ним теперь оставались только те препятствия, которые ему могли противопоставить горцы и с которыми ему управиться уже было легче. С весны 1818 года и начинается на линии строгое проведение Ермоловской системы.

К этому времени на Сунже существовали уже два небольших укрепления. Генерал Дельпоццо, еще во

времена командования Ртищева, поставил на ней Назрановский редут со специальной целью прикрыть Военно-Грузинскую дорогу, проходившую тогда от Моздока к Владикавказу через землю ингушей; а в 1817 году Ермолов, уезжая в Персию, приказал поставить и другое укрепление, Преградный Стан, в пятидесяти верстах от Назрана, близ нынешней Михайловской станицы. Этот новый редут был занят ротой Владикавказского гарнизонного полка с двумя орудиями и сотней казаков. Лес против него за Сунжей был вырублен, и мера эта сильно обеспокоила чеченцев своей неожиданностью. План главнокомандующего стал перед ними выясняться. Но чеченцы еще слишком надеялись на неприступность своих аулов, закрытых густыми лесами и топкими шавдонами, чтобы при первых признаках надвигавшейся грозы изъявить покорность; они колебались только в выборе системы борьбы: обороняться ли в случае движения русских на Сунжу, или самим нападать на них. И когда поставлен был Преградный Стан, они ответили рядом набегов, распространяя опустошения по Тереку, где стало опасно выходить за ворота станиц. По примеру прежних лет они надеялись вынудить тем и Ермолова войти с ними в соглашения и заключить договоры. При всем ужасе, возбуждаемом в них Ярмулом, они все еще не верили его угрозам, и даже сбор войск на Тереке мало беспокоил чеченцев, привыкших к мимолетным вторжениям русских и думавших, что, сделав два-три перехода, войска вернутся назад, и все останется по-прежнему. Только мирные чеченцы, обитавшие между Сунжой и Терекком, могли до некоторой степени оценивать значение совершавшихся событий.

Но чем беспокойнее и злее становились чеченцы, тем скорее должно было наступить возмездие, тем больше

было поводов Ермолову перейти от угроз к решительному действию, и с ранней весны 1817 года на Тереке начал сосредоточиваться сильный отряд. К двум батальонам шестнадцатого полка, стоявшим здесь зимою, прибыл из Крыма восьмой егерский полк, пришел из Кубы батальон Троицкого полка и был передвинут из Грузии батальон кабардинцев. В станице Червленной в то же время сосредоточено шестнадцать орудий и по пятисот донских и линейных казаков. Вскоре на линию прибыл и сам Ермолов, чтобы лично руководить военными действиями. Он выехал из Тифлиса в апреле, когда дорога через горы еще была завалена глубокими снегами, и большую часть пути делал пешком. Объехав затем весь правый фланг Кавказской линии и Кабарду, он прибыл наконец, в станицы Гребенского войска и восемнадцатого мая остановился в Червленной, откуда должно было начаться движение в чеченскую землю.

Здесь первым делом Ермолова было дать урок мирным чеченцам. Он вызвал к себе старшин и владельцев всех ближних аулов, раскинутых по Тереку, и объявил, что если они пропустят через свои земли хоть одну партию хищников, то находящиеся в Георгиевске аманаты их будут повешены, а сами они загнаны в горы, где истребят их голод и моровая язва. «Мне не нужны мирные мошеники, — сказал им Ермолов, — выбирайте любое: покорность или истребление ужасное».

А двадцать пятого мая войска уже перешли за Терек. Батальон Кабардинцев и две отборные сотни Волжского казачьего полка, под общей командой майора Швецова, недавно возвращенного из плена, шли в авангарде. Дни стояли жаркие, и Ермолов разрешил войскам идти без мундиров, в одних рубахах, а для отдания чести ни перед кем не снимать фуражек.

В шести верстах от знаменитого Ханкальского ущелья, прославленного и древними, и новыми битвами, отряд остановился. Здесь должна была вырасти крепость, которой суждено было играть видную роль во всех дальнейших событиях Кавказской войны, до последнего выстрела, раздавшегося уже на вершинах Гуниба. Чеченцы издали следили за отрядом, не решаясь пока начать перестрелку. Те из жителей окрестных селений, которые чувствовали себя виноватыми, бежали в горы, остальные остались в домах, а Ермолов от всех аулов, сидевших над Сунжой, взял аманатов. В Чечне между тем держался упорный слух, что русские войска, пробыв некоторое время на Сунже, непременно возвратятся на линию; в возможность заложения крепости в здешних местах чеченцам как-то не верилось. Но тем сильнее были они поражены, когда десятого июня в русском лагере совершенно было торжественное молебствие, а затем, при громе пушек, заложена была сильная крепость о шести бастионах, которую Ермолов назвал Грозной. Тогда чеченцы бросились укреплять и без того почти неприступное Ханкальское ущелье, чтобы заградить доступ внутрь чеченской земли. И с этих пор уже редкая ночь проходила для русских без тревоги. Но постройка крепости подвигалась быстро, солдаты работали неутомимо, а чеченцы, между тем, день ото дня становились отважнее и дерзче; выстрелы по ночам в секретах то и дело поднимали отряд и заставляли его становиться в ружье. Солдаты, проводившие дни на работах, а ночи без сна, изнурялись, и Ермолов решился наконец проучить чеченцев, чтобы отвадить их от русского лагеря.

«Однажды, — рассказывает Цылов, ближайший из ординарцев Ермолова, — когда привезли батарейные орудия для вооружения крепости, Ермолов приказал пятидесяти отборным казакам из своего конвоя ночью

выехать за цепь на назначенное место и затем, подманив к себе чеченцев, бросить пушку, а самим уходить врассыпную... С вечера местность была осмотрена, расстояния измерены, орудия наведены, и как только наступила ночь и казаки вышли из лагеря, артиллеристы, с пальниками в руках, расположились ожидать появления горцев. Старым охотникам весь этот маневр не мог не напомнить хорошо знакомых с детства картин волчьих засад, которые часто устраиваются крестьянами в наших степных губерниях. Пушка была отличной приманкой – и горные волки попались в ловушку. Чеченские караулы, заметив беспечно стоявшую сотню, дали знать о том в соседние аулы. Горцы вообразили, что могут отрезать казакам отступление, и тысячная партия их на рассвете вынеслась из леса... Казаки, проворно обрубив гужи, бросили пушку и поскакали в лагерь. Чеченцы их даже не преследовали. Обрадованные редким трофеем, они столпились около пушки, спешили и стали прилаживаться, как бы ее увезти. В этот самый момент шесть батарейных орудий ударили по ним картечью, другие шесть – гранатами. Что произошло тогда в толпе чеченцев – описать невозможно: ни одна картечь, ни один осколок гранаты не миновал цели, и сотни истерзанных трупов, и людских и конских, пали на землю. Чеченцы – оторопели; в первую минуту паники они потеряли даже способность бежать от страшного места и машинально стали поднимать убитых. Между тем орудия были заряжены вновь; опять грянул залп, и только тогда очнувшиеся чеченцы бросились бежать в равные стороны. Двести трупов и столько же раненых, оставшихся на месте катастрофы, послужили для горцев хорошим уроком и надолго отбили охоту к ночным нападениям».

Прошел уже целый месяц, как русские строили крепость, а в окрестностях Грозной не было еще ни одного

сколько-нибудь серьезного дела. Чеченцы, ожидавшие, что войска, как прежде, пойдут напролом, будут гоняться за ними в лесах и штурмовать завалы, на этот раз жестоко ошиблись и теперь недоумевали, что им делать; Ермолов упорно не давал им ни единого случая к лишнему выстрелу. Такое бездействие нравственно утомляло чеченцев, поселяло в них уныние и подрывало последнюю дисциплину, которая, в наскоро собранных шайках, могла держаться только во время непрерывных битв или набегов. Штурмовать же русский лагерь они не решались; им нужна была помощь. И вот в июле стал ходить слух о тайных сношениях между Чечней и Дагестаном. Чеченцы, действительно, ездили к аварскому хану и старались выставить перед ним постройку крепости на их земле как посягательство на вольность всех кавказских народов. Указывая ему на собственный пример, они предрекали и Дагестану горькую участь, если русские не будут остановлены общими силами. Посольство имело полный успех. Дагестанские владельцы и сами неприязненно смотрели на возведение Грозной, предвидя, что Ермолов на этом не остановится, но они еще не смели открыто перейти на сторону наших врагов и потому решили отправить в Чечню только партию охотников, под предводительством известного белад* Нур-Магомета. Чеченцы ожидали прибытия лезгин с нетерпением, а между тем просили помощи от соседних с ними кумыков и от единокровных качкалыковцев.

В русском лагере известия день ото дня становились тревожнее. Мегти-Шамхаль из Тарков и Пестель из Кубы одинаково доносили, что в горах приметно рождается дух мятежа и что Дагестан накануне восстания. Но Ермолов, уже заранее предвидевший возможность подобных

* Белад – вождь хищнических партий.

событий, принял свои меры. Пестелю приказано было немедленно вступить с войсками в южный Дагестан; к кумыкам отправлена прокламация, в которой объявлялось, что ежели качкалыковские чеченцы, живущие на аксаевских землях, осмелятся поднять оружие, то не только этот народ будет наказан совершенным истреблением, но и кумыкские князья поплатятся своими головами. Прокламация кончалась лаконично: «...для сего довольно вам знать, что я у вас буду».

Кумыки, перед тем несколько волновавшиеся, почли за лучшее остаться спокойными, а также не позволили восстать и качкалыковцам. Но дагестанцы пришли. С появлением Нур-Магомета в засунженских аулах среди чеченцев тотчас проявились необыкновенное оживление, деятельность и приготовление к чему-то решительному. Одна из наших колонн, высланная, под командой подполковника Верховского, в лес за дровами, была атакована так сильно, что из лагеря пришлось отправить в помощь к ней батальон Кабардинцев с двумя орудиями. Двадцать девятого июля нападение повторилось: чеченская конница, внезапно, среди белого дня, бросилась на наши отводные караулы и едва не ворвалась в лагерь, но сто пятьдесят казаков, выскочившие на тревогу, с донским генералом Сысоевым во главе, опрокинули и прогнали ее с уроном. Более же крупное дело должно было произойти четвертого августа.

В этот день ожидали в Грозную транспорт, следовавший с Кавказской линии под прикрытием роты пехоты, с одним орудием. Транспорт был большой; с ним ехало к отряду много офицеров, чиновников и маркитантов с товарами. Чеченцы и лезгинцы, отчасти соблазненные добычей, отчасти рассчитавшие, что успех поднимет их нравственные силы, решились сделать на него нападение.

Держкое предприятие обдуманно было хорошо и держалось в таком секрете, что лазутчики дали знать о нем когда и без них в Грозной заметили неприятеля, двигавшегося в значительных силах по ту сторону Сунжи.

Ермолов немедленно выслал из крепости навстречу транспорту сильный отряд и послал вместе с ним своего начальника штаба, полковника Вельяминова, на которого полагался как на самого себя. В это время чеченцы уже перешли за Сунжу, и конница их первая понеслась на транспорт; за нею двинулись густые толпы пеших, оставив, однако, сзади себя, на переправе, сильные резервы. Внезапное появление Вельяминова расстроило нападение. Чеченцы, которым самим угрожали с тыла, повернули назад, и всеми силами пошли навстречу отряду. Разгорелась сильная перестрелка. Чеченцы в этот день, по словам самого Ермолова, дрались необычайно смело, но все порывы их бешеной храбрости сокрушились о ледяное хладнокровие Вельяминова, не хотевшего допустить ни рукопашного боя, ни даже ружейного огня в стрелковых цепях. Поставив отряд с ружьем у ноги и выдвинув вперед артиллерию, он принялся осыпать нестройные толпы врагов гранатами и ядрами. Напрасно несколько раз чеченцы с гиком бросались на пушки — картечь била их сотнями. Неприятель стал, наконец, колебаться. Конница его, потерпевшая наибольший урон, первая покинула поле сражения; пехота еще держалась некоторое время. Но когда Вельяминов неожиданно двинулся к деревне Ачаги, чтобы захватить переправу, тогда и чеченская пехота обратилась в полное и беспорядочное бегство. В тесных улицах деревни Ачаги столпились перепутанные массы пеших и конных людей; здесь русские войска могли бы нанести чеченцам громадный урон, но так как при этом неминуемо пострадали бы

верные нам ачагинцы, то Вельяминов, снисходя к их просьбам, остановил преследование.

Потеря наша в этом деле сравнительно ничтожна. Но до какой степени было сильно нападение чеченцев, можно судить уже по тому, что несмотря на все выгоды нашего положения, мы все-таки потеряли двух штабс-офицеров и больше двадцати нижних чинов убитыми и ранеными.

Неудачный исход предприятия поссорил между собою союзников, и после взаимных пререканий, едва не окончившихся дракой, Нур-Магомет удалился восвояси. «Сим окончились все подвиги лезгин, — говорит Ермолов, — и чеченцы, знавшие их по молве как людей весьма храбрых, вразумились, что подобными трусами напрасно они нас устрашали».

Любопытно, что, спустя несколько дней после этого происшествия, Ермолов получил письмо от аварского хана, извещавшее, что Нур-Магомет собирается на помощь к чеченцам и что он, аварский хан, как добрый приятель; торопится предупредить об этом Ермолова. Ясно было из этого письма только то, что хан, проведая о неудаче, торопился отклонить от себя подозрения. Ермолов отвечал ему, что не только знает о намерении Нур-Магомета, но давно уже прогнал его в горы. «Как новый в здешнем крае начальник, не зная хорошо лезгин, имел я к ним несколько еще уважения, — язвительно писал он аварскому хану, также лезгину, — но теперь достойный Нур-Магомет меня с ними познакомил, и я вижу, что более подлейших трусов нет на свете». Ермолов вообще не скупился на резкие выражения относительно горцев. Так, описывая в приказе по войскам дело четвертого августа и говоря о полном поражении горцев, он прибавляет: «Невозможно описать ни страха, ни беспорядка, в каком они спасались, ни точно определить, кто величайшие

и подлейшие трусы, чеченцы или лезгины». Этот презрительный тон был вызываем, впрочем, более политическим расчетом, чем действительными взглядами самого Ермолова на противников. Недаром же он был так осторожен в действиях против чеченцев; недаром и они заставляли его, главнокомандующего, выходить навстречу каждой оказии, если приходилось удаляться от крепости верст на десять, а на ближайшие расстояния посылать с колоннами начальника корпусного штаба. Ермолов, конечно, не делал бы этого, если бы не признавал за чеченцами известного рода силу, но каждая похвала их храбрости поощряла бы их дерзость.

Весьма любопытны также письма Ермолова, относящиеся к этой эпохе и показывающие, как сам он относился к совершаемому им делу. «Остается добавить, — писал он однажды в шутовском тоне Денису Давыдову, — что я приятное лицо мое омрачил густыми усами, ибо, не пленяя именем, не бесполезно страшить и наружностью. Я многих по необходимости придерживаюсь азиатских обычаев и вижу, что проконсул Кавказа жестокость здешних нравов не может укротить милосердием. И я ношу кинжал, без которого ни шагу. Тебе истолкует Раевский слово «канлы», значащее взаимную нежность».

Позже он писал к Меллеру-Закомельскому: «Теперь судьба позволила царям наслаждаться миром. Даже немецкие редакторы, имеющие способность все предвидеть, не грозят нам бурей вражды и несогласия. Спокойно стакан пива наливается мирным гражданином, к роскошному дыму кнастера не примешивается дым пороха, и картофель растет не для реквизиции. Один я, отчужденный миролюбивой системы, наполняю Кавказ звуком оружия. С чеченцами употреблял я кротость ангельскую шесть месяцев, пленял их простотой и невинностью лагерной жизни, но никак не мог внушить равнодушия к охранению

их жилищ, когда приходил превращать их в бивуаки, столь удобно уравнивающие все состояния. Только успел приучить их к некоторой умеренности, отняв лучшую половину хлебородной земли, которую они не будут иметь труда возделывать. Они даже не постигают самого удобо-понятного права – права сильного...»

Постройка Грозной между тем шла своим чередом, к первому октября крепость была готова настолько, что Ермолов мог уже отправиться на линию, куда призывали его спешные кабардинские дела. А в отсутствие его случились крупные происшествия на Сунже. Нужно сказать, что Ермолов с намерением ласкал и берег несколько ближайших мирных аулов, рассчитывая, что жители их, живя под охраной крепости, мало-помалу приучатся к русским, займутся хлебопашеством и будут доставлять гарнизону необходимые жизненные припасы. Случай испортил все расчеты Ермолова. Один из жителей деревни Суюнджи-Юрт выстрелил в команду, посланную за покупкой провианта. Что послужило поводом к выстрелу – осталось не разьясненным. Рассказывали, впрочем, что горец узнал своего вола, запряженного в казенную повозку, и потребовал его возвращения; когда же его отогнали, чеченец выхватил винтовку и выстрелил. Офицер приказал арестовать преступника, но чеченцы, сбежавшиеся на выстрел, сами бросились на офицера, схватили лошадь его за поводья, и тот едва избежал смерти. Команда принуждена была отступить. В тот же день чеченцы стали перегонять за Сунжу скот и перевозить имущество. Вельяминов послал успокоить жителей и сказать, что им нечего бояться мщения за вину одного человека, но требовал выдачи преступника. Чеченцы ответили, что, по обычаям родины, они виновного не выдадут, а если войска прейдут брать его, то они будут защищаться. Всякая поблажка после такого ответа была

бы неуместна, и Вельяминов пошел к ним с отрядом. Семьи чеченцев, как оказалось, уже покинули в это время аул, и в нем остались одни мужчины. Они действительно встретили войска ружейным огнем, и тогда деревня, взятая штурмом, была истреблена до основания. Последствием этого было, что большая часть мирных окрестных аулов бежала в горы, и цветущие берега Сунжи с тех пор надолго опустели.

Возвратившись из Кабарды, Ермолов нашел все земляные работы в Грозной оконченными, землянки, устраиваемые для гарнизона на зиму, были готовы, крепость вооружена.

Окончание Грозной совпало как раз с тревожными слухами, что в Дагестане бунт, что русский отряд генерала Пестеля разбит в Каракайтаге, и опасность угрожает Кубинской провинции. Несмотря на суровую осень, Ермолов немедленно приказал войскам готовиться к далекому походу в горы. Но надо было прежде покончить дело в Чечне, и Ермолов сделал ряд целесообразных распоряжений. Для прикрытия сообщений Грозной со старой Терской линией поставлен был небольшой редут при Старо-Юртовском ауле, и в нем расположена рота пехоты. Всем владельцам чеченских деревень, лежавших по правому берегу Терека, объявлено, чтобы они, под страхом наказания, не терпели у себя вредных людей, не пропускали через свои земли хищников и содержали бы в известных местах караулы. В то же время составлены и разосланы были строгие инструкции и правила, по которым мирные чеченцы подчинялись русским военным начальникам и по первому требованию их должны были высылать на службу конных людей с собственным вооружением и на собственном содержании. «Еще не было примера, – говорил Ермолов по этому поводу, – чтобы кто-нибудь мог заставить чеченца драться со своими

единоземцами, но уже сделан первый к тому шаг, и им внушено, что того и всегда от них требовать будут». «Малейшее неповиновение, набег или грабеж на линии, – объявил он мирным чеченцам, – и ваши аулы будут разрушены, семейства распроданы в горы, аманаты повешены». Даже в случае открытого прорыва через их аулы сильной неприятельской партии жители обязаны были защищаться; мало того, что защищаться, в таких случаях еще назначалось следствие и поверялось, как они защищались, что именно делали, были ли с их стороны убитые в сражении, или, напротив, дело кончалось ничтожной перестрелкой, и сопротивление было слабое. «В последнем случае, – гласила инструкция, – деревня истребляется огнем, жен и детей вырезают». «Лучше от Терека до Сунжи оставлю пустынные степи, – говорил Ермолов, – нежели в тылу укреплений наших потерплю разбой».

Грозная, энергичная военная система вынуждалась со стороны Ермолова лишь крайней необходимостью и глубоким пониманием духа и характера народа, с которым ему приходилось иметь дело. Чеченцы, слишком далекие от гуманных воззрений европейских народов, умели ценить и уважать только физическую силу; гуманные действия с ними они неизбежно приписывали слабости, но зато прекрасно понимали строгие меры Ермолова.

Наконец, когда все распоряжения были окончены, девять рот егерей, шесть орудий и четыреста линейных казаков, под командой храброго полковника Грекова, заняли Грозную. И в то время как этот гарнизон спокойно устраивал себе зимовую стоянку в крепости, остальные войска уже переправлялись за Сунжу, откуда им предстоял далекий путь в неведомые Дагестанские горы.

Как славный памятник Ермоловской эпохи сохранялась долго, почти по наших времен, та скромная уединенная

землянка, в которой во время возведения Грозной жил и трудился сам Алексей Петрович, перенося лишения наравне со своими товарищами-солдатами. И всякий путешественник, был ли то царственный муж, или простой человек, с одинаковым благоговейным чувством приходил видеть эту бедную землянку, из которой, по выражению Муравьева, «при малых средствах исходила та сила, которая положила основание крепости Грозной и покорению Чечни». В углу двора обширного и пышного дворца, «как укоризна нашему времени, полстолетия стояла она, хранимая уважением к славной памяти героя-вождя. Но то, против чего бессильно было время, разрушено невежественным равнодушием к славе предков и памятникам ее. Один из позднейших воинских начальников Грозной, по непонятным, ничем не объяснимым побуждениям, приказал снести эту ветхую землянку – и предмет гордости всякого истинно русского сердца, предмет благоговейного почитания старых кавказцев исчез. Но не исчезла память о нем, и не стереть ее ни времени, ни равнодушию к славным преданиям нашей седой старины.

2. ДАГЕСТАН

Заяго! ам, яго! ыяхма! оюяпов, 2ы,я
ЗаЯяныяго! ем,як! ов, юяпол, 2ыххх

Т. Шевченко

Дагестан – значит страна гор. Под этим именем разумеется обширная площадь, загроможденная огромными горными кряжами, хаотически переплетенными между собою, и террасами, спадающими к Каспийскому морю. К востоку от Казбека, в земле Хевсуров, там, где возвышаются вершины Барбало – третьего высочайшего пункта на всем Кавказе, – от главного Кавказского хребта отделяется, направляясь к северо-востоку, колоссальный Андийский (Сулако-Терский) кряж, который хотя уступает высотой своих снеговых вершин Главному Кавказу, но сохраняет вполне тот же суровый, дикий и неприступный характер. Составляя водораздел бассейнов Терека и Сунжи – с одной стороны и Сулака – с другой, он, постепенно понижаясь, оканчивается в Салатавии гигантскими округлыми зелеными высотами, господствующими над Кумыкской равниной и упирающимися в долину Сулака.

И вот, если провести линии: с одной стороны – по Главному Кавказскому хребту, с другой – по Андийским горам и Сулаку; а затем по берегу Каспийского моря, то получится огромный прямой треугольник, в

котором Главный Кавказский хребет будет гипотенузой. Это и есть Дагестан.

Дагестан, как по самой природе местности, так и по населению, распадается на две главные части. Из них отдаленнейшая от Каспийского моря, та, которая вся сплошь наполнена высочайшими горами, есть Нагорный, или Внутренний, Дагестан, а по самому берегу Каспийского моря широкой полосой раскинулся Дагестан Прикаспийский, Прибрежный. Последний состоит из целого ряда независимых друг от друга владений: шамхальство и Мехтула составляют Северный Дагестан; Даргинский союз, Казикумыкское ханство, уцмийство Каракайтагское и мейсумство Табасаранское образуют Средний: а ханство Кюринское и Кубинская провинция, вместе с городами Дербентом и Баку, известны под именем Дагестана Южного.

Быть может, в целом мире нет страны, которая была бы угрюмее, дичее, суровее и мрачнее и в то же время величавее, чем Нагорный Дагестан или гористые местности Дагестана Приморского. Бесплодные, каменистые, заоблачные горы, окрашенные то в бурый цвет с фиолетовыми оттенками, то подернутые сизоватой дымкой; мшистые скалы; утесы, нависшие над безднами; шумные каскады, низвергающиеся в пропасти; бешеные потоки и неистово ревущие горные реки – поражают своим грозным и пустынным величием. Чем выше поднимаешься на горы, тем впечатления становятся суровей и могучей. Растительность постепенно бледнеет и наконец только ярко-зеленые и красноватые мхи да ягели оживляют пустынные скалы; воздух редет, ускоряя дыхание и мучительно сжимая сердце. Если появляются облака и скрывают солнце, сырость и холод пронизывают насквозь, несмотря ни на какую одежду; разорванными клочьями

носятся облака над головою, обращаясь мало-помалу в сплошную черную массу, скрывающую самые близкие предметы, и чувство одиночества овладевает человеком. Разыгрывается буря. За ослепительным блеском молнии следуют непрерывные удары грома, бурно раскатывающиеся по ущельям бесчисленным эхом; их заглушает рев падения на каменные громады проливного дождя, вдруг сменяющегося то снегом, то градом; внезапно налетевший вихрь срывает снега с горных вершин и производит метель, среди которой непрестанно гремят громаы и блистают молнии. И эта грозная и вместе очаровательная картина продолжается до тех пор, пока снова не выглянет солнце и не обольет миллионами искр снеговые вершины...

В то время как приморские страны были ареной постоянных столкновений народов, большой дорогой, по которой проникали из Азии наводнявшие Европу воинственные племена, Дагестан Нагорный, закрытый и укрепленный своими вечными горами, стоял недоступный и грозный. Там жило доисторическое аварское племя, едва ли имеющее что-либо общее с историческими аварами Европы, само себя называвшее общим именем маарулал, но соседям известное под чуждыми ему самому именами то тавлинцев, то – на юге по ту сторону гор, в Грузии, – лезгин, – слова, на разных языках имеющие одно и то же значение жителей гор, горцев. Племя это, широкой полосой простираясь через весь Нагорный Дагестан, с севера на юг, оставляет лишь по бокам место обломкам каких-то других неведомых племен, с давних пор, впрочем, подчинившихся его влиянию.

Горы, по известному закону, разделяют страны и людей, в противоположность соединяющим их морям. В Дагестане каждая местность отделялась одна от другой

труднодоступными горами, и естественно, что население этой страны с незапамятных времен распадалось на множество независимых общин, маленьких племен, из которых многие, впрочем, впоследствии соединялись между собою, на чисто федеральных основаниях, в сильные союзы. Центром политической жизни Нагорного Дагестана издавна служила Авария, лежавшая в самом центре каменных громад, – некогда могучее ханство, располагавшее судьбами целого Дагестана и даже ко временам Ермолова еще удержавшее часть своего влияния. На север от Аварии лежали Салатавия с ее дремучими лесами и знаменитым Теренгульским оврагом, Гумбет и Андия – одно из богатейших промышленных обществ, славившееся производством превосходных дагестанских бурок; на восток – земля Кайсубулинцев с голыми бесплодными утесами и со знаменитым селением Гимры – родиной Казимуллы и колыбелью мюридизма; на западе по обоим берегам Аварского Койсу лежали Буни, Тлох, Технуцал, Карата, Ункратль и некоторые другие. Это – самая глухая, страшная часть Дагестана, представляющая взору лишь обнаженные, дикие, нагроможденные одни на другие, бесплодные скалы. К югу – общества Гидатль, Кель – знаменитый производством дорогих шалевых сукон, потом Тилитли, Куяда и, наконец, Андалаял с неприступным аулом Чох и знаменитой в истории кавказской войны горой Гуниб-Даг. Еще южнее, по самому северному склону главного хребта, лежат Дидо и Анткратльский союз, составленный из девяти вольных обществ: Джурмута, Анцуха и других. Это были уже ближайшие соседи Грузии; за ними, по ту сторону гор, начиналась Кахетия и лежали земли лезгин джаро-белоканских.

Рассеянные в своих горах и ущельях общины и союзы Дагестана, принадлежавшие даже к одному и тому же

племени, нередко отличались друг от друга не только наречиями и обычаями, но даже исповеданием ислама, господствовавшего надо всем, но получившего чуть не в каждой деревне резкие особенности и оттенки, сообразно с глубоко вкоренившимися в тамошнего человека предрассудками.

Суровая природа гор наложила, однако же, на всех одинаковый, роковой отпечаток, создав оригинальный и яркий тип дагестанского горца и отразившись на всей его жизни. В тяжелой, но привычной борьбе с природой, в стремлении покорить ее своей власти, дагестанцы в своем домашнем быту не ушли дальше первобытных форм. Их аулы, как вороньи гнезда, лепятся на скалистых утесах, часто на такой высоте, что глядя на них не хочется верить, чтобы это было жилье человека; лениво, в крайнем неряшестве и бедности проводит там свою жизнь дагестанский горец, довольствуясь скудной пищей и плохой одеждой. Впрочем, и сама природа каменистых гор приучает его к умеренности, потому что пашни в Нагорном Дагестане встречаются редко, да и то небольшими клочками, разбросанными на самых высотах неприступных гор, куда лезгину приходилось взбираться с помощью веревок и крючьев, чтобы засеять горсть ячменя или проса.

В виде анекдота, отлично характеризующего величину этих пашен, рассказывают, что один дагестанский горец, работавший на подобной скале, прилег отдохнуть на раскинутой бурке, а когда проснулся, то с удивлением и страхом увидел, что его драгоценная поляна куда-то пропала. Не зная, что подумать о совершившемся чуде, и помянув недобрым словом шайтана, суеверный горец поспешно стал собираться домой, и когда с азартом и бранью поднял с земли свою бурку,

тогда только заметил, что она-то именно и прикрывала его пахотную землю.

Горец, впрочем, презирал мирный труд, и все работы не только домашние, но и полевые, лежали большей частью на женщине, судьба которой в Дагестане, как и на всем Востоке, была жалка и печальна. Одета в неловкий и неудобный костюм, скрывавший ее красоту и стройность, женщина в Дагестане являлась существом презираемым до того, что в глазах ленивого горца жена и ишак имели почти одинаковую цену. Один лезгин говорил серьезно, что женщина должна работать больше ишака, потому что ест чистый хлеб, тогда как ишак питается мякиной.

Понятно, что при такой первобытной грубости отношений к женщине и всеобщей суровости нравов, жизнь горца была лишена элементов мирной поэзии. Горская молодежь, правда, любила повеселиться, но танцы Дагестана совершенно не похожи на бойкую лезгинку жителей равнин, лишённые характерных черт ее – живости и какой-то беззаветной отваги. Не блещут богатством содержания и поэзии также мирные песни лезгин, хотя, впрочем, их унылые и монотонные припевы и не лишены оригинальной прелести.

Не в домашнем быту и не в мирных занятиях лежала поэзия жизни горного дагестанца. Обреченный бесплодной природой своих гор на лишения и скудную бедность, он ею же часто вынуждался покидать свои скалистые трущобы с тем, чтобы силою взять у соседних народов то, в чем ему отказывала родная природа, и он сумел развить в себе в течение многих поколений необыкновенный воинственный дух и наклонности. Грузия и окрестные страны часто видали на своих землях этих горных воителей, проникавших до отдаленных

пределов Турции и Персии и пользовавшихся славою грозных наездников. Страны Приморского Дагестана, особенно владения шамхала тарковского, не раз трепетали перед грозным именем соседних горцев, и даже сам непобедимый завоеватель Надир-шах испытал на себе всю силу их отваги.

Один вид дагестанского горца уже выдавал его воинственные наклонности. Богатый горец был всегда обвешан оружием, блестящим серебром и золотой кубачинской насечкой, одет в дорогой лезгинский наряд, приближавшийся более к персидскому, нежели к черкесскому: чоха с длинными откидными рукавами, обложенная по краям широким серебряным галуном, шелковый архалук, такие же шаровары, сапоги с большими загнутыми носками, на голове – черная остроконечная баранья шапка, за спиной – косматая белая бурка работы андийских мастеров. Если ко всему этому он сидел на добром коне персидской породы, то поистине нельзя было не любоваться его воинственной фигурой. Многие лезгины надевали при этом кольчуги со стальными поручами и шишаки с красными лепестками сукна вместо перьев, и тогда они напоминали собою средневековых рыцарей. Но этот костюм носился ими только в торжественных случаях; собираясь же в поход или в домашнем быту лезгины одевали просто черкеску, общую для всех обитателей Кавказа, а многие племена совсем не носили шашек, заменяя их кинжалами громадной величины, известными под именем тавлинских.

Суровый, воспитанный среди опасностей, горец знал себе цену, и потому во всех его движениях проглядывала гордость и глубокое сознание собственного достоинства. Все, чем красна была жизнь, слагалось для него в одни военные тревоги, и если наступали совсем мирные

времена, он целые дни проводил в совершенном бездействии, и скука одолевала его тогда до одурения. Но лишь повеет войной – и он встрепенется, как расправляющий крылья орел. Приготовления к набегам были для горской молодежи минутами, полными поэтических увлечений, радужных мечтаний, ярких надежд, таинственной заманчивости неизвестного будущего. И в самом деле, два-три дня набега – и до того безвестный юноша мог воротиться героем, богачом, человеком влиятельным, идолом красавиц горянок... И вот, при одном слове «сбор», извилистые, кривые улицы лезгинского селения мгновенно наполнялись толпами вооруженного народа. На открытом воздухе жарился шашлык, готовились хинкали, другие чистили оружие, иные уже были верхом или бродили вокруг своих оседланных коней. Боевая одежда их не отличалась ни красотою, ни опрятностью, но зато каждый оборванный горец, сложив накрест руки, или взявшись за рукоять кинжала, или, наконец, опершись на винтовку, смотрел так величаво и гордо, как будто бы был властелином вселенной, попираемой его сафьянными чувяками.

Эти преисполненные душевных тревог приготовления к набегу описываются в песнях с величайшими подробностями. «Снял, – говорится в одной из них, – с жерди овчинный полушубок, потряхнул от пыли и надел на себя, снял с гвоздя хоросанскую шапку, два-три раза встряхнул ее и надел на голову...» Потом следует подробное перечисление оружия: «... египетский меч с написанным приветствием пророку, крымская или можарская винтовка с голубым прикладом; конь, как невеста, убранная к свадьбе... Хлопнув ладонью по коню, садится на него молодец и пускается в путь. Дай Бог тебе счастья!...» Далее певец так рассказывает о подвигах своих соотечест-

венников: «... где коснулась рука наша – там плач поднялся, куда ступила нога – там пламя разлилось: захвачены прекрасные девы и пойманы мальчики, цветущие здоровьем...»

Справедливость требует, однако, сказать, что по самым условиям местности, среди которой они росли, горцы должны были уступать собственно в наездничестве остальным племенам Кавказа. Какое наездничество возможно было там, где справа терлось плечо об отвесную скалу, а слева под самым стремянем зияла бездонная пропасть! Зато военные соображения лезгин были всегда дальновидны, здравы и основаны на знании местности и обстоятельств. В этом отношении они далеко превосходили своих соседей чеченцев. Все крупные исторические события Кавказа начинались в горах, и лучшие предводители горцев – Кази-мулла, Гамзат-бек, Шамиль, Сурхай, Ахверды-Магома, Шуаип-мулла, Хаджи-Мурат, Кибит-Магома – были уроженцами Нагорного Дагестана. И если чеченцы умели также искусно пользоваться местностью, то лезгины неизмеримо превосходили их в искусстве укрепляться, которое доведено было у них до совершенства. Насколько чеченцы были отважны и дерзки, настолько же лезгины были решительны и стойки – качества, не достававшие первым. Чеченцы были склонны преимущественно к войне наезднической; дагестанцы, наоборот, если вели войну, то имели всегда положительные и верные цели; набеги же, о которых сказано выше, служили только забавой и военной школой для молодежи, оселком, на котором пробовалась храбрость каждого из них, но они никогда не приобретали серьезного значения. Народ поднимался только тогда, когда предстояла нужда завоеваний и особенно когда ему угрожало вражеское нашествие. В этом последнем

случае природа являлась грозной союзницей горцев, и самые аулы их представляли непреодолимые твердыни, брать которые с бою было делом отчаянным, допускавшим лишь в исключительных и особенно важных для края обстоятельствах. Аулы лезгин строились всегда на труднодоступной местности, и, чтобы добраться до них, надо было или карабкаться по отвесным тропам под градом пуль и огромных камней, сбрасываемых со скал, или, напротив, спускаться в бездонные пропасти, лепясь по карнизам или по ступеням, высеченным в скале, висевшей над бездной в тысячи футов глубиной.

Впоследствии, чтобы открыть свободный доступ к некоторым селениям горцев и проложить военные пороги, русским приходилось взрывать целые утесы в таких местах, которые не представляли даже точки опоры для ноги человека. Самые сакли в аулах помещались тесно, бок о бок одна с другою, чтобы в случае надобности через пролом в стене можно было переходить из одного помещения в другое. Для удобства защиты сакли нередко располагались притом амфитеатром, в несколько ярусов, доставлявших друг другу взаимную оборону. Таким образом, даже ворвавшись в аул, приходилось брать штурмом каждую отдельную саклю, а каменная сакля лезгина представляла вид небольшой крепости, обнесенной стенами с бойницами и башнями. Понятно, что потери при взятии дагестанских аулов должны были быть громадны. Зато, впрочем, и взятый с бою аул, преданный огню и превращенный в груды мусора, делал обитателей его нищими в полном значении этого слова.

Как у всех истинно воинственных народов, павшие в бою джигиты приобретали в глазах правоверных священное значение, и над их могилами водружались шагиды, знамена, – такие же, как и в Чечне, и в Кабарде, и в Заку-

банье. И здесь их было не меньше, потому что дагестанские горцы ничего не боялись так, как смерти без погребения, и потому во время сражений оказывали чудеса храбрости, чтобы вынести из боя тела своих павших товарищей. Ничто не огорчало их так, как обезглавленный труп горца, и они решались на всякие жертвы, чтобы только выручить голову земляка и предать ее честному погребению на родном кладбище.

Все поэтические предания, все мечты горца сосредоточены на его военных подвигах. Сверх песен, подобных приведенной выше о приготовлениях к набегу, существует еще целый цикл их, посвященный рассказам о неисчислимых набегах за Алазан, в Кахетию, или на плоскость – в шамхальство. Это собственно песни о вождях, предводительствовавших набегами. Некоторые из них, восходя к отдаленнейшим временам, служат единственным средством для передачи славных имен предков в название подрастающим поколениям.

Рядом с этими песнями в Дагестане есть много легенд, свидетельствующих не только о богатстве народной фантазии, но и о пламенной любви дагестанцев к их бедной и суровой родине. Народ помнит, как на его свободу посягал великий завоеватель Надир-шах, и с понятной гордостью занес в свои легенды победу над этим непобедимым властителем Ирана. И в долгие зимние вечера, когда глубокий снег и вьюга не выпускают горца из сакли, молодое поколение, слушая перед домашним очагом рассказы старины, воспринимает память о доблестной защите отечества как лучшее наследие предков. С одной из легенд о вторжении в Дагестан Надир-шаха связывается, между прочим, предание о злополучном шах-Мане, которое отразило на себе следы страшной и упорной борьбы народа за старину против

попыток новаторства. Легенда эта заслуживает нашего полного внимания.

Долгое время, – говорит предание, – среди дагестанцев не было человека, который бы силой своего ума, энергии и воли сплотил народ воедино, обуздал его дикий характер и водворил бы в стране порядок и устройство. Наконец, в половине минувшего века, такой человек явился в лице шах-Мана, одного из владельцев, пылкого, предприимчивого, одаренного всеми качествами, чтобы осчастливить свою родину благотельными реформами. Но какая-то неблагоприятная звезда взошла над колыбелью этого владельца в самый час его рождения; какие-то темные, враждебные силы противодействовали всем его добрым намерениям и, заставляя делать зло, отравляли жизнь его всевозможными бедствиями. Весь преданный мысли составить счастье своему народу, он задался несбыточными мечтами пересоздать общественный строй Дагестана, смягчить неукротимые нравы своих одноземцев и обратить их силы и энергию на мирный труд земледелия, в котором видел залог благоденствия, оседлости и гражданского устройства. Но мирная жизнь не могла удовлетворить дагестанцев. Началась глухая подпольная борьба между ним и подданными, и эта борьба разрешилась наконец открытым возмущением, во главе которого стали собственные его сыновья.

Однажды, в праздник Байрама, когда шах-Ман сидел со своими нукерами за трапезой, толпа бунтовщиков ворвалась в его дом и потребовала, чтобы он оставил страну, угрожая в противном случае «судом кинжалов».

Несчастный преобразователь встал из-за стола, надел полное вооружение и приказал подать себе боевого коня. Мрачные чувства наполняли его душу, и грозный и суровый явился он перед толпою, осудившей его на изгнание.

– Неблагодарные! – сказал он народу, и взор его блеснул негодованием. – Не я ли хотел устроить ваше благоденствие? Не я ли указал вам на лучшую жизнь? Чем же вы отблагодарили меня? Мое сердце и душа чисты перед Аллахом и святым судом его; но вы какой ответ дадите ему в страшный час смерти?

Взор шах-Мана остановился на сыновьях, виновниках постигшего его несчастья.

– Не укроетесь вы от моего мщения, – сказал он им, – как не укроетесь от праведного суда Божия! Прощай, страна неблагодарных! Ты вооружила сыновей против отца, и раздраженный отец удаляется, с тем чтобы вернее отомстить тебе!

Проезжая чужие владения, шах-Ман всюду встречал привет и радушие. Соседи, уважая ум и храбрость его, предлагали ему свою помощь, и сотни отважных наездников окружали дагестанского витязя. Но шах-Ман не довольствовался этим: он ехал искать покровительства Персии.

Тихо прошли три года со времени изгнания шах-Мана. Дагестанцы забыли уже об его угрозах, как вдруг пронеслась громовая весть, что в Дагестан вошли персияне. То были передовые полки грозного завоевателя Надир-шаха; с ними был и шах-Ман.

В Чир-Виниате произошла первая битва. Персияне, предводимые братом шаха, Курбаном, были разбиты наголову; при втором поражении сам Курбан захвачен был в плен, и озлобленные дагестанцы сожгли его живым, а прах через пленного персиянина отослали к шаху. Тогда Надир-шах поклялся выстроить на месте сожжения Курбана памятник из дагестанских голов – и сдержал свою клятву.

Три дня бились дагестанцы с персиянами, и победа долго не склонялась ни на ту, ни на другую сторону; на

четвертый дагестанцы были побеждены, и едва только третья часть их спаслась бегством. Над могилой брата Надир-шах действительно воздвиг курган из камней и человеческих голов. И этот курган, развалины которого существуют еще и поныне, служит немым историческим памятником, свидетельствующим о жестокой мстительности шаха над побежденными народами.

Но ни честолюбие Надира, ни мщение шах-Мана не могли довольствоваться только одним поражением дагестанцев. Шаху нужна была покорность страны, шах-Ману – ее разорение.

И вот, дождавшись новых несметных подкреплений, прибывших из Персии, Надир, не встречая уже нигде сопротивления, двинулся дальше, дошел до Казикумыкского ханства, разбил его защитников, и теперь ему оставалось только покорить небольшое племя андаляльцев, чтобы считать себя повелителем всего Дагестана. Но горсть отважных андаляльцев укрепились в непроходимых горах Обохских и смело ожидала к себе неприятеля. Враги встретились в глубокой долине, омываемой пенным Орда-Ором.

На Чохском спуске, – рассказывает одна дагестанская народная песня – Надир-шах, увидев подходивших андаляльцев, воскликнул: «Что это за мыши лезут на моих котлов?» Тогда предводитель андаляльцев Муртазали ответил покорителю Индустана: «Подлый шиит! Разгляди хорошенько своих куропаток и моих орлов, твоих голубей и моих соколов!» Завязалась страшная битва. На стороне персиян была громадная численная сила, на стороне андаляльцев – правда и мужество. Шах выдвигал все новые и новые полки, а андаляльцам нечем было сменить своих уставших воинов – и мужество уступало силе. Андаляльцы уже колебались, уже персияне

торжествовали победу, когда внезапно в стороне, заглушая шум битвы, раздался исступленный крик, заставивший смутиться победителей. Это было последнее подкрепление андаляльцев, состоявшее из женщин и стариков, остававшихся дома. С дикой яростью устремились робкие жены на пришельцев, и на их обнаженных шашках ярко отразились последние лучи заходящего солнца. Орда-Ор кровавыми пенистыми волнами катился в утесистых своих берегах и разносил по окрестным горам весть о гибели храбрых мусульманок. Отчаянно бились андаляльцы и жены их и дети, отстаивая свободу родины. Ночь разлучила врагов. Но андаляльцы остались при твердом решении или пасть всем до последнего человека, или выгнать персиян из Дагестана. В наступившее

утро, чтобы лучше обмануть неприятеля, мужчины оделись в женское платье, а женщины – в мужское, в том расчете, что персияне прежде всего устремятся на женщин. Впереди всех шли двое мулл; один нес Коран, другой – знамя Суни. И когда обе стороны сблизились, андаляльский мулла открыл Коран и прочел стих: «Двери рая открыты для падших за родину». Андаляльцы с яростью бросились на персиян – и на этот раз сила уступила перед мужеством. Началось нещадное истребление ненавистных иранцев. Напрасно набожный мулла просил своих единоверцев щадить побежденного неприятеля; его никто не слушал: смерть, и смерть самая страшная, постигла большую часть незваных гостей. Надир-шах лишь с несколькими телохранителями ускакал в Дербент, шах-Ман скрылся в соседние горы.

История говорит, что эта кровавая битва произошла в 1742 году под андаляльским аулом Чохом.

Тяжело было состояние души шах-Мана, убитого горестью, терзаемого угрызениями совести. Смотря на

разорение несчастной родины, он сознавал, что виновником вражеского нашествия был он один, и жизнь стала для него тягостной. Видя в роковых совершившихся событиях предопределение судьбы, он решил окончить жизнь свою там, где ее начал, и сам отдался в руки своих соотечественников.

Был праздник. Дагестанцы толпою выходили из мечети, когда шах-Ман верхом и в полном вооружении явился перед ними.

– Правоверные! – сказал он им. – Вы были несправедливы ко мне, и я дал клятву отомстить вам. Но Аллаху не угодно было, чтобы я ее исполнил. Я пришел умереть от ваших рук. Но если в сердцах ваших есть еще чувство справедливости, если вы еще боитесь гнева Аллаха, то его именем повелеваю вам казнить на моей могиле этих чудовищ! – он указал рукою на своих сыновей.

Взволнованный народ бросился на него с кинжалами.

Он пал. Но дагестанцы исполнили также и последнюю волю злосчастного хана: неблагодарные сыновья были заколоты на его могиле.

На почве дикой воинственности возникали и в мирном быту дагестанцев суровые, страшные нравы и отношения. Как все кавказские народы, лезгины признавали священным обычаем кровомщения, но у них он принимал исключительные, чудовищные размеры. Вот что рассказывал по этому поводу сам Шамиль уже в то время, когда, после полного покорения Кавказа, он жил в Калуге.

Лет за триста до нашего времени житель мехтулинского аула Кадор, по имени Омар, украл у соседа своего, Юсуфа, курицу – и поплатился за нее бараном. Находя, что сосед взял слишком большие проценты, и не желая оставаться в долгу, Омар отнял у него для уравнивания счетов двух баранов. Тогда Юсуф, в свою очередь, счел

нужным соблюсти справедливость и отбил у Омара корову. Корова стоила ему пары добрых быков. В возмездие за это олицетворение богатства горских народов Юсуф подкараулил Омарова жеребца и обратил его в собственность. Хороший конь ценится горцами Восточного Кавказа несравненно дороже, чем горцы Кавказа Западного ценят своих дочерей, а потому, для возмещения своих убытков, Омар убил самого Юсуфа, вскочил на милого своего жеребца и скрылся с родины.

Тогда ближайшие родственники Юсуфа, обязанные по обычаю отомстить за кровь его, явились к дому Омара и общими силами разрушили его до основания. Убедившись, однако, что сам хозяин дома неизвестно куда бежал, они подкараулили какого-то дальнего родственника Омара, попавшегося им на глаза прежде других, и убили его. Родственники этого родственника, находя, что в убийстве Юсуфа он был лицом совсем постороннего ведомства, убили одного из родственников Юсуфа. Эти последние убили двух родственников Омара, и вот кровомщение, или, как русские привыкли называть его, «канлы», проявилось во всей своей силе. В этом, впрочем, нет ничего удивительного — кровомщение в Дагестане дело слишком обычное. Но невозможно не ужаснуться, узнав, что кровомщение за Юсуфа, начавшееся триста лет назад, продолжалось еще при Шамиле. Триста лет людская кровь лилась из-за курицы.

Такой порядок дел обещал продолжаться бесконечно. Поколения, возросшие в таких понятиях и при такой окружающей жизни, где кровь считалась ни во что и жизнь человеческая ценилась дешевле цыпленка, сменялись такими же поколениями, пока в лице русских не появилась цивилизующая посторонняя сила, опрокинувшая их кровавый быт. Но даже и теперь, долго спустя после покорения Кавказа, среди гор можно встретить

старого джигита, который с презрением смотрит на новых людей и на новые порядки и вздыхает по старым временам, когда «совесть была, и потому соблюдался обычай мести». «У вас, русских, — скажет вам этот представитель отживающих поколений, — руки сильные, да души воробыные... Разве подобает мужу крови бояться?.. Эх, было время!..»

При таких воззрениях грабеж и разбой, доставлявшие горцу нередко обильные средства для жизни, становились тем же, чем была торговля для образованных народов, и отважный джигит, как почтенный купец средних веков, пользовался всеобщим уважением.

Ук! аЯъ,яо2ня2ья-я, мявЯя! авно:я
Ч, х, ! ья, ямедяк, нжаломяп! оЯ2я
Иятулейяпла2я2язаяшпеножя

Единственное исключение, которое допускали воинственный быт и презрение к торговле и вообще ко всякому мирному занятию, было в пользу некоторых ремесел, которыми славились многие местности. Но и эти ремесла, впрочем, стояли в теснейшей связи с характером народным и устремлялись на предметы воинственного щегольства и на оружие. Так, целому Кавказу известны знаменитые базалаевские кинжалы, кубачинская отделка оружия, андийские бурки, особенно белые, доступные, однако, по ценам только людям очень богатым, наконец кельские шали — особый род мягких превосходных сукон, выделкой которых занимаются, впрочем, исключительно женщины.

Естественно, что племена горного Дагестана, гордые и воинственные, опираясь на неодолимую преграду своего края, долго сохраняли свою независимость и противились всякой попытке ограничить их своевольную, разбойничью дерзость. Да и не могли они отказаться от

своих набегов на соседние страны, как скоро те уходили из-под их влияния и не делились с ними дарами богатой природы мирным образом.

Отсюда и возникали те странные отношения между Нагорным Дагестаном и русскими властями на Кавказе, которые поражают на первый взгляд своей неестественностью. Собственно, Нагорный Дагестан никогда не был и не мог быть театром борьбы его жителей с северными пришельцами. В самые острые моменты борьбы, даже в последние дни окончательного покорения страны, русские войска не проникали далеко внутрь ее гор, где совершенно не было путей, и ограничивались почти только окраинами ее. Но где бы ни появлялись русские силы, они всюду сталкивались с лезгинами: Грузия веками служила для последних ареной побед и обогащающего грабежа; Чечня была житницей Дагестана; приморские страны всегда были под их влиянием, и русское владычество в этих странах было равнозначуще с поставлением и самого Дагестана в зависимость от России по отношению к самым существенным интересам бедной нагорной страны.

Таким образом, еще задолго до Ермолова, русское влияние уже было сильно в горах Дагестана. Правда, дагестанцы ненавидели русских и не помышляли о настоящем, действительном подданстве России. «У нас, — говорил один койсубулинец, — не много места для того, чтобы посеять хлеб, но его весьма довольно, чтобы засеять русскими головами. Гяуры задумали удержать нашу Койсу решетом, так пусть же берегут и решето и руки! Пока светит солнце и блестит на солнце железо, никто не будет указывать койсубулинцам, куда не ездить и чего не делать!» Но это были слова и чувства, а фактические, фатальные обстоятельства делали свое дело, и сильнейший властитель самого центра Нагорного

Дагестана, аварский хан, уже давно считался русским подданным, как и некоторые другие соседние горские племена и народы.

Но, конечно, это был только внешний вид подданства, не гарантировавший России ни будущего, ни настоящего. Ко времени Ермолова аварским ханом был Султан-Ахмет, старавшийся уверить, что только его влиянию русские и были обязаны спокойствием внутри Дагестана. «Многие из моих предшественников, — говорит Ермолов, — этому верили и исходатайствовали ему чин генерал-майора и пять тысяч рублей ежегодного содержания. Исправным получением этого жалованья, впрочем, и ограничивались все его отношения к России». В душе он ненавидел русских и не терял удобных случаев вредить им, где только было можно. Гордый и честолюбивый, полный воспоминаниями о победах своего предместника, знаменитого в горах Омар-хана, не раз приводившего в трепет Грузию, он-то, в сущности, и группировал около себя все, что было враждебно русскому влиянию в Дагестане. Ермолов своим пытливым и проницательным умом скоро разгадал ту роль, которую играл аварский хан, выставивший себя другом России, и открытой политикой вынудил его к откровенным действиям. Последовавшая затем неизбежная борьба принесла свои великие плоды, обнаружив перед народами Нагорного Дагестана всю силу России и водворив в этой стране полное спокойствие, по крайней мере до тех пор, пока мусульманский фанатизм снова не взволновал все горы Кавказа от края до края.

Несколько иную картину представляет собою Прибрежный, Приморский, Прикаспийский Дагестан. Правда, вся западная, большая половина его все еще загромождена горными отрогами Кавказского хребта и во многих отношениях составляет прямое продолжение Нагорного

Дагестана, но здесь уже переходные формы гор. Суровые и неприступные на западе, они, по мере приближения к морю, одевались роскошной зеленью, богатыми пастбищами и густыми лесами чинар и орешника. А дальше, за исключением незначительной местности у самого Дербента, где горы упираются в море, все каспийское побережье, особенно на севере и юге, представляет равнину. На севере эта равнина песчана и солонцевата, но орошается многоводным Сулаком, образующимся из слияния четырех бешеных горных рек. На юге, на пространстве более ста восьмидесяти верст, по значительному склону мчится быстрый и необычно глубокий – достигающий местами до двух с половиной сажень глубины – могучий Самур, орошающий обширную долину, отличающуюся необыкновенным плодородием.

И жители этого края – иные. Здесь аварцы представляют уже исключение, а преобладающими племенами являются: на севере – кумыки, на юге – татары и, наконец, в самом центре Приморского Дагестана – лаки, известные под именем казикумыкцев. Кроме того, в окрестностях Кубы, в Кюринском ханстве, в Каракайтаге и Табасарани много потомков древних евреев, проникших, по преданию, даже и в самые горы, в землю андийцев. С течением времени племенные отличия их сгладились, и они слились с другими племенами Дагестана.

Приморскому Дагестану досталась на долю вековая борьба с многочисленными народами, мимоходом или с целью завоеваний приходившими сюда. Приморская долина была открытыми воротами для азиатов, вторгавшихся в южно-европейские степи. Позже, со времен Ивана Грозного, русские настойчиво стремятся утвердить свое господство в северной части его, в шамхальстве Тарковском, чтобы открыть через него свободные

сообщения с Грузией. И когда, в начале нынешнего века, Россия твердой ногою стала в Закавказье, Приморский Дагестан очутился в середине русских владений. Судьба его была предрешена. И север, где лежало шамхальство Тарковское, и юг, где были древние ханства Дербентское, Бакинское, Кубинское и, наконец, Кюринское, отторгнутое русским оружием из-под власти казикумыкского хана, скоро стали в теснейшую зависимость от русских и частью обратились даже в простые русские провинции.

Но Средний Дагестан все еще оставался относительно независим. Правда, там, за исключением Даргинских обществ, все остальные земли не раз присягали на верность русскому государству, но эта присяга образовывала чисто фиктивную зависимость, подобную той, в какой находились народы Нагорного Дагестана, и только на них, расположенных в более доступных местах, у русских руки были, так сказать, длиннее. Каракайтаг, Казикумык, Табасаран и даже ничтожная Мехтула, лежавшая на севере, не только не принимали на себя никаких обязательств, не только не платили дани, а напротив, сами домогались получать некоторую дань в виде даруемых владельцам их чинов, отличий и содержаний. Сильнейшими из этих соседних владельцев считались в то время казикумыкский хан Сурхай и каракайтагский уцмий Адиль-Гирей. Обоим им предместники Ермолова и предлагали чины генерал-майора и по две тысячи жалованья, но оба они с негодованием отвергли предложение, требуя, чтобы их сравнивали с шамхалом, имевшим чин генерал-лейтенанта и получавшим шесть тысяч содержания. Подобные переговоры и предложения, делаемые людям, явно враждебным России, поселяли в них только мысль, что их ласкают из боязни, и дерзость их возрастала по мере русской уступчивости. Ермолову приходилось, таким образом,

исправлять старые, закоренелые ошибки. И вот как поступает он, например, в деле с мехтулинским ханом.

Нужно сказать, что хан мехтулинский представлял собою в некотором роде исключение: он никогда не присягал на подданство России и за то не пользовался от нее никакими прерогативами. Но перед самым началом мятежа 1818 года, даже и он, через посредство аварского хана, родного своего брата, обратился к Ермолову с просьбой о принятии его в подданство. Передавая эту просьбу, аварский хан вкрадчиво спрашивал Ермолова: «Какие же будут за это милости новому подданному от императора?»

Ермолов ответил, что русский государь не покупает подданных милостями и наградами, а щедро дает их тому, в ком видит усердие и верность. «И брату вашему, — писал он аварскому хану, — должно те милости прежде заслужить, нежели просить их». «Впрочем, — добавлял Ермолов, — должен сказать вам, что я брата вашего и других, подобных ему, беков не разумею иначе, как или подданными моего государя, или как неприятелями России. Я и в том и в другом случае знаю, как мне поступать надлежит». Естественно, что политика Ермолова, не поощряя дерзостей ханов, несомненно увеличивала их раздражение. Если прибавить к этому, что в Дагестане укрывались постоянно беглый грузинский царевич Александр и изгнанный владелец Дербента шейх-Алихан — оба закаленные в ненависти и интригах против России, то будет понятно, что именно в Среднем Дагестане, да в Мехтулинском ханстве, на севере, скопились ко временам Ермолова многочисленные горячие материалы восстания. Здесь, следовательно, и должен был образоваться театр борьбы.

Энергичная, прямая и неуступчивая политика Ермолова должна была скоро воспламенить все эти горячие материалы и привести к покорению всех независимых стран Приморского Дагестана, охватившего и Дагестан Нагорный железным кольцом русской власти. С тем вместе должны были окончиться и времена как бы шуточных, двусмысленных зависимостей. Настает эпоха действительного покорения разбойничьих племен мощною рукою Ермолова.

3. АДЫГСКИЙ НАРОД

От берегов Черного моря далеко на восток, до лесистой Чечни, в границах, очерчиваемых с севера Кубанью и Малкой, с незапамятных времен, живут черкесские племена, широкою полосой занимая северные склоны Кавказского хребта, то плотно примыкая к ним, то оттесняемые от них на прилежащие равнины другими народностями: абазинами – между Лабой и Урупом, карачаевцами, расположившимися вокруг величавого Эльбруса, осетинами – в верховьях Терека, в землях, прорезываемых Военно-Грузинской дорогой.

Из множества племен черкесского народа на сцену истории рано выдвинулось племя кабардинское, обнаружившее и большее развитие сравнительно со своими соотчичами, и большую предприимчивость. Есть предание, что некогда оно пыталось выйти из круга своих уединяющих гор далеко к северу, оставило занимаемые им места на Кубани, потянулось к Дону и скоро появилось даже в Крыму, где поныне равнина между реками Кач и Бельбек именуется Черкесской. Но изменчивые судьбы юга нынешней России, представлявшей тогда беспредельные степи с бродячим волнующимся кочевым и разбойничьим населением, не дали утвердиться там воинственным пришельцам. Кабардинцы воротились к родным горам и укрепились на Предкавказской

равнине, по обе стороны Терека, разбросав свои поселения к востоку от Кубани до Сунжи, и от горной Осетии до верховий реки Кумы – на север. И с тех пор вся история черкесского народа совершалась в указанных выше пределах – в Закубанье да на Кабардинской равнине.

Черкесы называют сами себя именем Адыге. Есть мнение, что слово это представляет собою только множественное число древнего слова «ант» значащего, вероятно, «человек» и в некоторых местностях оно поныне выговаривается «антихе».

Живя по восточному берегу Черного моря, в соседстве с таинственной страной, служившей приманкой для смелых авантюристов древности, искавших там золота, черкесы рано стали известны цивилизованному миру. Задолго до нашей эры, заселяя берега Черного моря, греки уже нашли адыгский народ на тех же самых местах, и между другими названиями дали ему имя керкетов, принадлежавшее, вероятно, одному из тогдашних черкесских племен. Это-то имя и считается многими прародителем слова «черкесы».

В языке адыгов остались ясные свидетельства о знакомстве их с многочисленными народами. Они помнят греков под именем гирке, или аллиг (эллин), и римлян – под именем рум. Хазары, турки, маджары, сарматы и какая-то русь оставили там свои имена; обломки этих народностей, заброшенные в чуждые для них черкесские горы, поныне отражаются в именах некоторых древних дворянских фамилий – каковы Шермат, Хазар, – и в названиях местностей – как, например, Маджар-Юрт, – развалины которых и ныне лежат на реке Куме.

Сношения с образованными народами древности, естественно, не могли не отразиться на быте и характере

черкесского народа, и помимо исторических свидетельств в самой стране их остались многочисленные следы зачатков цивилизации и христианства. В горах сохранилось много развалин каменных церквей, крестообразная форма которых говорит о греческом происхождении.

Уединенно стоят некоторые из них на вершинах угрюмых скал, среди лесных недоступных дебрей, вдали от всякого жилья человеческого. Трудно разгадать, что влекло благочестивых строителей в эти пустынные и дикие места. Искали ли они там безопасности от внезапно грозящих нападений, были ли то чуждые прелестей человеческого мира смиренные поборники креста, среди невозмутимого уединения и подвижнической жизни искавшие созерцания великих дел Творца в величавой природе, открывавшейся в далеких горных перспективах.

Иные храмы, напротив, теснятся к людным торговым путям, с глубокой древности прорезывавшим черкесскую землю от Черного моря, через ущелья Кавказских гор, к верховьям Кумы и Кубани. При этих храмах обыкновенно встречаются и развалины каменных зданий, называемых черкесами вообще домами эллинов. Быть может, то были греческие монастырские подворья с устроенными при них караван-сараями, так как в те стародавние времена распространение христианства обыкновенно шло об руку с развитием торговли – и купец и священник, каждый по своему, служили общему делу истинной веры и цивилизации.

Примечательнейшим памятником христианской древности в Черкесии служат между прочим живописные развалины на правом берегу Подкумка, где еще недавно находили в земле церковную утварь, выкованную из серебра, а также большие железные кресты, какими

обыкновенно украшают главы русских церквей. Предание помещает здесь древний город черкесской земли Бергусант – имя, значащее «собрание многих антов», быть может, «собрание верующих», «церковь антов». Русские переделали это название в Бургустан, и носителем имени этого древнего города является ныне скромная казачья станица.

Появление христианства в Черкесии восходит ко временам глубочайшей древности, к первым векам его. С особенной любовью народные предания останавливаются на Юстиниане Великом, как на распространителе истинной веры, и имя его поныне в таком уважении между адыгами, что стало символом клятвы.

С принятием черкесами христианства рассадником и проводником цивилизации между ними является греческое духовенство. Предание, облекшееся в форму песни, сохранило даже название места, где жил их первый шехник, епископ. Это лесистый курган, лежащий верстах в четырех за крепостью Нальчик. В этой песне поется:

«Шехн, кя-янашяза? , 2н, кя, явоЯн, 2а2ель, яШехн, кя-янашяЯе2я
ВоЯн, 2а2ель! аЯнждаляоязаконеяБож, емяЯе! ш, нья
я я я я я леЯ Ягояжу! ганая
ИянаяЯ Яомяку! ганаяЯковаляЕмуядомя, зяжеЯ, ,яЯдве! ям, я
я я , зял, 2огояЯ! еб! а,я, я2ам-2ояоб, 2аляЯе2ыйя
я я я я я яяяБож, йяДухх
ИяангельябеЯдовал, яЯмуд! ымяЯ! цемяСве2ю2ябо! одыяегоя
я я я я уподобляЯЯе2уяфакелая
Оняпа! , 2ывязвоздухе, якаяземнаят2, ца, яподымае2Яяподяблакая
я я я яяяя, яв, д, 2я2во! я? , хябеззакон, яя
Реб! ояегоя-янеяп! оЯаяякоЯь, яноякоЯьЯноновая, яя
я я я , яблаго! одныйязоло2ойяк! еЯяЯ яе2я
я я я я я наяегоя! уд, »я

От священников и епископов ведут свое начало многие дворянские роды Черкесии, поныне хранящие о том

память и с гордостью говорящие, что они происходят от шогеня (священника) гирге или от шогеня рум.

Под влиянием исторических обстоятельств христианство, правда, должно было скоро уступить место другим влияниям, но в горах в памяти народной еще живут некогда бывшие предметом его почитания Ауз гирге, то есть греческий Иисус, и пророки Яллия (Илья) и Аймыс (Моисей). Поныне народ клянется именем божественной Матери Бога, Марии, и святым Георгием – покровителем соседней Иверии, поныне хранит обычаи, основывавшиеся на христианских праздниках и постах, удержал греческое деление годов и месяцев. Георгий Интериано, посетивший Черкесию уже в половине XVI века, не усомнился причислить ее население к христианам, хотя в то время черкесы были ими разве только по имени, сохранив от веры предков лишь несколько внешних обрядов.

Да и трудно было удержаться цивилизации и христианству в стране, скоро ставшей ареной постоянных воинственных столкновений, укрепивших в народе рядом с чувством независимости и свойственную ему первобытную грубость нравов.

Первый удар греческому влиянию в Черкесии нанесен был нашествием аваров. Предание говорит, что в VI веке аварский хан Байкан, опустошив многие земли и самый Аллиг, потребовал через своих послов подданства и от черкесов. Среди черкесских вождей того времени особенно был славен князь Лавристан, и под его влиянием адыгейские вожди ответили ханским послам гордым отказом. «Кто может лишить нас вольности? – сказали они. – Мы привыкли отнимать земли, а не свои уступать врагам. Так будет всегда, доколе есть война и мечи на свете». Возникла ссора, и послы были убиты. Тогда

Байкан с шестьюдесятью тысячами отборных латников вступил в землю адыгов и от берегов Черного моря до вершин Кубани опустошил ее огнем и мечом, разграбил селения, сжег поля, истребил жителей. Сам Лавристан, по сказаниям, погиб в этой борьбе, и могилу его указывают под горою Бештау. Бедный народ, обливаемый кровью, без хлеба и пристанища, лишенный лучших из своих вождей, искал спасения в горах, в пещерах, в дремучих лесах. Страна запустела, и там, где были селения и пашни, разросся дикий лес и бродили лишь дикие звери. Началась эпоха упадка адыгского народа.

Кровавое нашествие и грозный образ жестокого хана на белом коне неизгладимыми чертами залегли в народной памяти.

«Спаситель и помощник наш, могущественный Илья! – поется в одной песне. – Из огромных туч неотразимой дланью уничтожь коня Байканова, белизной подобного нетающим снегам горных хребтов наших».

И поныне народ некоторые дороги, ведущие от берегов Черного моря через горные ущелья до реки Кубань, называет смертоносными Байкановыми путями. И ныне при виде красивой белой лошади говорят: «Байканов белый конь».

Пораженному суеверным страхом воображению народа долго повсюду чудился этот грозный конь, и белый каменный бугор между крепостями Анапой и Сунджук-Кале, напоминающий в туманной дали фигуру лошади, в суеверных устах народа получил название Байканова коня.

Разбитый и униженный адыгский народ стал малопомалу забывать задатки цивилизации и вышел на путь исключительного воинственного быта. На границах земли его вновь появляется какой-то Китай-хан, приходили

сюда калмыки, хазары, татары, наконец славяне — и все отнимало из рук черкеса плуг и вкладывало меч и щит. Не миновал страны и «бич Божий, молот вселенной», Аттила. В одной черкесской песне имя грозного завоевателя прямо так и упоминается с этими эпитетами. «Господь Бог помиловал и нас, и горы, и ущелья наши, — говорится в ней. — Бич небесный отступил от нас благополучно», Нашествие Аттилы оставило не меньшие следы в народном воображении, чем и вторжение Баякана. Он помнит, что Аттила, дойдя до Шат-горы, внезапно повернул назад, и с тех пор Шат-гора носит название Счастливой. Предания намекают, однако, что Аттила покорил страну и заставил сынов ее присоединиться к своему войску. В песнях говорится: «По большим горам, как блестящие звезды, стекаются к Аттиле воины наши, наносящие удары, подобные ударам грома... Отборная конница наша отправляется вслед за Аттилой с охотой; если же этого недостаточно, то приготовимся ехать и мы...»

Исторические обстоятельства неотразимым ходом своим изменили и самый характер адыгского народа. По преданиям, дошедшим от старинных времен, древние адыге одарены были благородной, возвышенной душою, большим умом и славилась деятельностью и трудолюбием. «Трудолюбивый ант» вошел в пословицу среди окружающих народов. Но во времена грозных нашествий, среди переселений, побегов в горы, в скудные пустынные местности, где каждый действовал на свой страх и риск, общественные нравы черкесов пошатнулись. Вечно тревожимый, не знавший, будет ли он завтра пользоваться плодами сегодняшнего труда, народ впал в беспечность, в презрение к мирным занятиям, и в результате явилась бедность, доходящая до нищеты. Черкес довольствовался

уже скудной пищей и неприветливым жилищем, в котором простое стекло составляло уже в наши времена величайшую роскошь.

Такой характер народный сказался и на общественном устройстве, сложившемся чрезвычайно оригинально, в котором независимость и произвол личности стояли выше общественной власти и даже общественных интересов. Адыгский народ имел князей, но в то же время он не терпел неограниченных властителей в своей земле, полагая, что — лучшее благо для человека есть дикая, необузданная воля; и она, действительно, только и смягчалась, что исконным для всех народов родовым бытом, основывавшемся на самой природе вещей и создавшем неограниченную власть старшего в семействе. Правда, была и еще общественная сила и связь — древний обычай. Во всех важных случаях дело решалось при участии всего народа: с общего согласия предпринимались походы, общим же голосом избирались вожди. Но привязанность к независимости ограничивала власть вождя даже посреди самой битвы — и дерзкая заносчивость вносила раздор в ряды воинственной дружины. Совершив же общее дело и возвратясь домой, всякий уже считал себя господином и владыкой в своей хижине. Князья имели в своих руках как бы исполнительную власть, повелевали вассалами, уорками, но они не имели собственности, и все принадлежало народу. Единственно, что делало князей небесполезной и влиятельной силой в стране, это то, что по старине, по исконным обычаям, княжеское достоинство почиталось столь священным в народе, что всякий подданный был обязан жертвовать за князя всем своим имуществом и самой жизнью. «За кровь князя сам Бог каратель и мститель», — так гласит древняя истина.

И в то же время народ никогда не потерпел бы надменности со стороны князя; сильнейший и богатейший владделец жил в такой же хижине, как и самый простой уорк, и каждый подданный имел право всегда войти к нему и разделить его трапезу. Оригинальны и странны были имущественные отношения князя: он имел право взять у каждого все безо всякого вознаграждения, но, в свою очередь, он ни в чем не смел отказать любому подданному, которому вздумалось бы попросить хотя бы его шапку. Эти строгие обычаи могли бы при иных обстоятельствах стать залогом равенства и справедливости, но они извращались злоупотреблениями, которые вместе с обычаем родовой мести в последние века уже сильно разложили весь черкесский общественный быт.

Казалось бы, суровая страна, где каждый мог по своему произволу распорядиться с пришельцем, должна была впасть в полное уединение, изолироваться от других народов, но ее спасло симпатичнейшее явление всего восточного мира – гостеприимство. Для черкеса всякий путник, переступивший порог его сакли, – лицо священное. «Благословение на дом твой, – говорит пришелец, входя. – Во имя славных дел твоих, джигит, требую гостеприимства, седла и бурки». «Ты гость мой и, стало быть, властелин мой», – отвечает хозяин. Он перед всем народом отвечал за безопасность чужеземца, который, вступая в саклю, снимал и отдавал хозяину оружие, показывая тем, что не нуждается в нем под его кровлей. Гостеприимство было единственной мирной чертой черкеса, пережившей века бедствий и политических переворотов.

Утратив свойства мирного быта, адыге взамен их, рядом с непреодолимым стремлением к независимости, успели развить в себе необыкновенную воинственность

и стали грозой соседей. Строгое воспитание приучало их сносить и сильный зной и горный холод и безропотно испытывать суровые лишения. Умение владеть оружием стало главной обязанностью человека, и все, кому приходилось сталкиваться с черкесами, не могли не удивляться им. На лихом коне, в стальной кольчуге, нередко оборванный и грязный, но всегда щегольски вооруженный, ловкий и неутомимый, он покидал семью и пускался в набег, как на праздник. Все развивало в нем буйный дух наездничества. В дерзком удалстве, в опасностях, в самом презрении к жизни энергичный народ искал исхода для своих сил, готовых погрузиться в дремоту векового умственного застоя и неподвижности. Слава воинских дел спасла его, волнуя кровь юноши и возрождая юность в сердце старика. В народе вечно жил тот дух, который создал гордый Лавристанов ответ аварскому хану: «Не дадим дани, доколе останется у нас хоть один меч, доколе останется хоть один из нас в живых».

Не смерти, но бесславной жизни боялся черкес и смело шел на врага. Зато останки погибших на поле битвы были священны для адыгского народа. Могилы предков, вообще, составляли предмет его почитания и забот.

На открытых, далеко отовсюду видных местах, чаще всего при устьях ущелий, хоронили черкесы отошедших в иной лучший мир своих героев, под горами камней, под высокими курганами – хранителями стольких преданий, восходящих до глубокой древности. Века, проходившие над страной, украшали их роскошной растительностью. Одна ли могила, или их несколько – всегда на них разрастаются или непролазные рощи, перевитые диким виноградником, или плодовые деревья. Нередко побеги молодого леса скрывают за собою целые сотни древних могил, свидетельствующих о некогда густой

населенности страны, над которыми высятся с незапамятных времен вековые кряжистые клены, дубы и ясени.

Иной, но не менее внушительный вид имеют многочисленные кладбища позднейшего происхождения, расположившиеся около воинственных аулов. Множество украшающих могилы надгробных флагов, обыкновенно белого, красного или голубого цвета, трепещущих на высоких шестах, напоминают собою фаланги рыцарей, вооруженных копьями с висящими на них разноцветными флажками. Но эти могильные копия, так очаровывающие издали глаз и придающие стране какой-то грустно-величавый характер, говорят вам о том, что здесь схоронены лучшие и самые храбрейшие люди Черкесии, погибшие в долгой, отчаянной борьбе с христианами, что они – свидетели пролитой крови и множества павших жертв газавата.

Жизненные идеалы черкесов, отразившиеся в поэзии, носят на себе отпечаток все той же дикой воинственности. Черкесы имели своих бардов, гекуоков, и обширный цикл сказаний и песен, созданных ими, сохраняет в памяти народной все выдающиеся моменты вековой его жизни. Большинство этих сказаний и песен воспевают героев (мартов), игравших в событиях первенствующую роль, на которых поэтому народ сосредоточил свою любовь, свои идеальные представления. Одно из этих сказаний, именно: о Баксане, сыне Дауове, переносит нас в седую старину.

В половине четвертого века в Кабарде, на речке Альтуде, теперь носящей имя героя сказания, жил некто князь Дауо, имевший восемь сыновей и одну дочь. Старший сын его, Баксан, был знаменитый нарт, наполнявший горы своей славой. И вот он был убит готфским царем вместе со всеми братьями и восьмьюдесятью

знаменитейшими нартами. При известии об этом народ предался отчаянию: мужчины били себя в грудь, женщины рвали волосы на голове, восклицая: «Убиты, убиты Дауовы восемь сыновей! Увы! Дауовы восемь сыновей!» И с тех пор в Кабарде ведется обычай: весною, когда столетние чинары покрываются листвой, молодые девушки с распущенными волосами поют эти слова, составляя хороводы. Предание говорит, что сестра убитых Дауовых сыновей собрала их тела, предала честному погребению на берегах Этока, одного из притоков Подкумка, и над могилой Баксана воздвигла памятник. И еще недавно на высоком кургане стоял там древний камень, изображающий бюст молодого человека в шитой шапочке и в одежде, похожей по покрою на нынешний черкесский бешмет; на пьедестале, имеющем форму низкой колонки, выбиты: на лицевой стороне – греческая надпись и множество фигур, изображающих охоту и воинские игры пеших и конных людей; с правой стороны – колчан со стрелами; с левой – сабля с рукоятью на манер грузинской и лук в футляре. В надписи можно еще разобрать имя Баксана и год, показывающий, что памятник воздвигнут в четвертом столетии. Народ поныне называет его «Дауов сын, Баксан», и поныне поет песню, сложенную по преданию самой героиней сказания.

«Геройство Баксана, – говорится в ней, – освещает антский народ своими доблестями.

Весь народ почитал его за благого духа. И когда началось сражение, когда удары блистали как молнии, его присутствие поселяло в антах уверенность в победе.

Но готфы не прекращают битвы. Весь антский народ пришел в отчаяние, потому что восемь пар волов привезли тело Баксана на родину.

Собрав греков, я предложила им сделать памятник. И хотя каменный образ ниже его, но сходство с ним

уязвило мое сердце. Народ не покидает траура и, чтобы увековечить имя его, реку Альтуд назвал Баксаном».

В 1849 году памятник этот, конечно, носящий на себе яркие следы всеразрушающего времени, перевезен в Пятигорск и поставлен на тамошнем бульваре. И ныне, лишенный дикой и величавой природы, окружавшей его, и духа легенды, витавшего над ним, он стоит забытый, не возбуждая даже праздного любопытства чуждого народа.

В сказании о сватовстве Лавристана мы встречаем другой постоянный элемент поэтических сказаний – любовь. Предание говорит, что когда герой аварской борьбы Лавристан задумал жениться на дочери одного из кабардинских князей, его невеста сказала ему: «Знаменитый князь Лавристан! Если ты хочешь взять меня в замужество, то позволь мне самой назначить за себя уасса (калым). Если ты его внесешь – я буду твоей женою, если же не пожелаешь выполнить мое предложение – не ищи и моего согласия: Лавристан согласился. Она сказала: «Сто человек индийского и дакского племени, сто одежд из светло-синего сукна, сто сирийских налокотников, сто кольчуг с золотыми гвоздиками – вот мой уасса». И герой принял это безмерное условие, требовавшее многочисленных побед и подвигов, выполнил его и взял княжну в жены.

Но любовь не играет и в этом сказании первенствующей роли, она – только награда доблести. Черкесская женщина знала цену славных дел и их ставила условием своей любви; в ней также жил дух своеобразного рыцарства.

Мифическо-героическим колоритом оттеняются в черкесских преданиях и личности позднейших времен, уже исторически достоверные. Народ помнит и идеали-

зирует подвиги Инала, история которого записана в известной турецкой книге Табори «О княжеском родословии».

Предания говорят, что один из вавилонских князей, Ларун, вследствие гонений на родине переселился в Египет; там он умер, там же погибли его сыновья во время восстания коптов, и спасся один только родственник по имени Араб-хан, успевший отдаться под покровительство греческого императора. Внук этого Араб-хана, знаменитый Кес, уже является в Черкесии и оставляет здесь огромное имя тем, что он, чужеземец, не только добился княжеского звания, но и неограниченной власти почти над всей страной. Инал был прямым потомком славного Кеса. Своими подвигами он заслужил необыкновенную любовь в народе и, в свою очередь, сделался родоначальником кабардинских, темиргоевских и бесленеевских князей. Черкесы именуют его великим и мудрым, он назван был даже святым, и народ поныне, желая счастья, говорит: «Дай, Боже, Иналов день». В Абхазии, по ту сторону гор, и теперь есть место, носящее название Иналовой могилы. Народ ревниво оберегает ее спокойствие: там не пасется скот, туда не заходит охотник; выстрел, нарушающий тишину священной могилы, давним обычаем возведен в преступление.

Таким же почетом окружают темиргоевцы имя Безруко-Болотокова, «князя из князей», представителя народной доблести и мудрости. Его выдвинули и увековечили его имя войны с хазарами. Песни рассказывают о геройских битвах, о пленении брата его Алегики в далекий Азов, о взятии Азова самим отважным Болотоком и об освобождении им Алегики.

С этими именами мы наполовину уже в достоверной истории. В туманной неопределенности преданий мы различаем здесь точные события, записанные между прочим и русскими летописцами.

Славянские племена с первых дней своей исторической жизни в своем стремлении к южным большим морям естественно должны были прийти в соприкосновение с черкесскими племенами. Сношения эти прерывались все новыми и новыми волнами народов, проходивших по открытым степям южно-русским, и вновь возникали, как только в этих местах, хотя бы на время, появлялась возможность оседлой жизни – до новой волны. Возникшая Москва и Кавказ представляли собой два постоянных крепких пункта, то сближавшихся, то вновь разделяемых. Этим прерывчатым характером и запечатлены сношения между ними.

Уже в русских летописях рассказываются походы великого князя Святослава, ходившего в союзе с хазарами на яссов и косоогов (нынешних абадзин, по Карамзину – осетин) и на чепсугов (шапсугов). Затем выступает на сцену борьба с черкесскими племенами Тмутаракани, по вернейшим предположениям – нынешнего Таманского полуострова. С этой борьбой, самым выдающимся эпизодом которой было единоборство Мстислава Удалого с Ридадей, связаны многочисленные предания и в адыгском народе. Там княжил в то время внук Иналов – Идар, славный покорением многих соседних народов. В войске его славился могучий великан, «многосчастливый» богатырь Ридадя. Когда князь Идар пошел войною на Тамтаракай (Тмутаракань) и тамтаракайцы вышли к нему навстречу, Ридадя, по обычаю тогдашних времен, предложил решить участь войны единоборством. Он стал просить у тмутараканского князя бойца и говорил ему: «Чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, одолей меня и возьми все, что имею». Князь тмутараканский согласился, но не стал искать единоборца в войске,

а пошел на вызов великана сам. Битва продолжалась несколько часов, и Ридадя пал. Так, по свидетельству историка адыгского народа, говорят об этом событии черкесские песни, совершенно согласные и со сказаниями русского летописца.

На Кубани живет и теперь предание, что Мстислав, изнемогая в борьбе, воскликнул: «Пресвятая Богородица, помоги мне! Если я одолею, то построю церковь во имя твое». Неизвестно, была ли Мстиславом построена церковь, но при заселении черноморцами Тамани в 1792 году найдены были развалины древнего монастыря на горе, вдавшейся полукругом в Ахтанызовский лиман, а среди развалин – камень с древней надписью из времен Тмутараканского княжества. Камень этот, как говорят, был кем-то увезен и, быть может, ныне хранится в каком-нибудь музее. А набожные черноморцы из набранных в развалинах камней выстроили церковь в курене Ахтанызовском.

В истории русской не сохранилось известий о дальнейшей судьбе Тмутаракани, но адыгейские песни и сказания помнят еще о гибели ее. Они говорят, что спустя несколько лет после победы Мстислава адыгейцы собрали большое войско и пошли на Тамтаракай, чтобы отомстить за свое поражение. Они просили помощи у оссов, и те прислали им шесть тысяч отборных людей. Завязалась упорная война; много было кровопролитных сражений, гибли люди, жилища, имущества – и Тамтаракай был опустошен тогда в корень. С того времени в адыгском народе есть пословица: «Да постигнет тебя участь Тамтаракая», или: «Будь ты Тамтаракаем».

Нашествие монголов надолго прервало всякую возможность непосредственных сношений древней Руси с черкесской землей; на долю каждой из них досталось

испытать напор и влияние воинственных орд. Но лишь только усиливавшаяся Русь свергла чуждое иго, возобновились и сношения ее с черкесской землей.

Во времена грозного царя жил в Кабарде знаменитый князь Темрюк, потомок Идара. Предприимчивый и славолюбивый, это был истинный рыцарственный представитель черкесского народа. Он никогда не имел палатки, спал под открытым небом на войлоке, под изголовье клал седло и питался конским мясом, сам жаря его на углях. Народные барды сохранили для потомства прекрасную черту его характера, напоминающую русского витязя Святослава. «Князь Темрюк Идаров, – говорят они, – никогда не пользовался выгодами нечаянного нападения и всегда заранее объявлял войну, посылая сказать своим неприятелям: «Иду на вас!»

И вот, в то время когда кабардинским племенем управлял старший брат его князь Кемиргоко, Темрюк задумал восстановить древнюю славу адыгского народа, а себя прославить воинственными подвигами. Он воевал на берегах Волги и Дона, громил старинных врагов Кабарды калмыков и татар и, наконец, смело поднял оружие против сильного крымского хана, претендовавшего властвовать над Кабардой. В это-то время Темрюк и вступил в союз с Московским государством. Сам он и многие кабардинские князья дали тогда присягу в верности царю Ивану Васильевичу и обязались помогать ему в войнах с султаном и Крымом. Скоро Кемиргоко умер и, как один из представителей доблестнейших кабардинских вождей, был зарыт в землю на коне и в полном вооружении. Высокий курган между реками Чегем и Баксан и поныне указывает место его могилы. Темрюк остался один, и с тех пор дружба России с Кабардой стала еще теснее. Темрюк даже своих детей отправил

на воспитание в Москву, а впоследствии, как известно, княжна Мария Темрюковна сделалась женою Ивана Васильевича.

К сожалению, исторические обстоятельства сложились неблагоприятно для союза между Московским царством и Кабардой. Недовольный этой дружбой, крымский хан Девлет-Гирей вторгся в землю шапсугов, наголову разбил Темрюка на Кубани, затем повернул на самую Москву и, как известно, предал ее совершенному опустошению. Москва оказалась недостаточно сильной не только для того, чтобы защитить своих отдаленных союзников, но и обезопасить собственную столицу. Такая неудача, жестокие раны, полученные в последнем бою на Кубани, и потеря двух сыновей, плененных Девлет-Гиреем, не охладили, однако, дружеских чувств Темрюка к Москве, и скоро мы видим его пришедшим со своими войсками под Азов на помощь к московским воеводам. Царь весьма благодарил Темрюка за верность и щедро награждал кабардинцев, а для защиты их на будущее время заложена была тогда Терская крепость на Сунже, и царь, отдавая ее казакам, приказал им «беречь свою вотчину» кабардинскую. По смерти Темрюка внуки его старались сохранять те же отношения к Москве, и в царствование Федора Ивановича к титулу русских царей был присоединен уже титул Государя земли Кабардинской. Но скоро для России вновь настали тяжелые времена, и смуты междоусобия, войны со Швецией и Польшей опять отвлекли ее внимание от далеких южных пределов. Кабарда со всей Черкесией не выстояла в непосильной борьбе за независимость и подпала под власть Крыма, из-под которой уже не могла освободиться вплоть по XVIII века, несмотря на неоднократные попытки. Но тяготение ее к России не прекращалось. Во времена

Петра мы уже видим на русской службе одного из черкесских князей, Девлета (Александра) Бековича, заплатившего в Хиве своей кровью за преданность Русскому государству; а когда сам Петр появился под стенами Дербента, два кабардинских владельца – князь эль-Мурза Черкасский, младший брат Девлета, и Ассан-бек Кеметов – добровольно явились к государю со своими дружинами и приняли ближайшее участие в делах похода. С этих пор история отношений кабардинской и вообще черкесской земли к России становится только частью общей истории распространения русской власти на Кавказе. Кабардинцы и черкесы в ряде последовавших событий хотя и были нередко крепкими союзниками русской земли, однако же отношения их к ней стали радикально изменяться.

Дело в том, что последний век внес в жизнь Черкесии и Кабарды новый элемент – магометанство, отдавшее их под более или менее сильное влияние Турции и ставшее для страны источником неисчислимых бедствий. Вначале оно внесло рознь в самые черкесские племена. По преданию, первые приняли ислам шапсуги, построили мечети и стали молиться на юг. Натухайцы остались при прежней вере, продолжали поклоняться распятию и молились на восток. В самом конце прошлого века шапсуги в большом числе напали на натухайцев, собрали все кресты и сожгли их. Натухайцы отплатили им разрушением мечетей. Двадцать лет продолжалось междоусобие. «Вы, – говорили натухайцы шапсугам, – изменили закону отцов, и мы требуем, чтобы вы возвратились к нему». Те и другие обратились с жалобами к анапскому паше, требуя удовлетворения, одни – за истребление крестов, другие – за разрушение мечетей. Напрасно паша старался склонить натухайцев к исламу; они были непре-

клонны, говоря, что «поклонение распятию старше магометанства». Наконец, в начале нынешнего века анапский паша покорил натухайцев исламу – силою оружия.

С подобными перипетиями борьбы магометанство водворилось во всей Черкесии, не исключая Кабарды, и стало сильным орудием в руках турецкого духовенства, особенно после мира 1739 года, по которому Черкесия вошла в состав Турецкой империи. Правда, она принадлежала ей только номинально, а Кабарда и вовсе считалась от нее независимой и ко временам Ермолова даже состояла уже в русском подданстве, но враждебные отношения к России и Кабарды и Черкесии являлись уже неизбежным следствием религиозного фанатизма. Магометанская вера, отдалявшая черкесов от России, была тем опаснее, что соединялась с невежеством народа, по сокращенной географии которого Русское государство не простиралось далее Дона, а владения наместника Пророка, турецкого султана, чуть не обнимали собою весь мир.

Действительно, умственные силы черкесов, от природы далеко не бедные, были устремлены так исключительно на развитие военного дела, что не оставляли места никаким другим интересам жизни. Застой и неподвижность царили в понятиях черкесов, чему много способствовало то весьма характерное обстоятельство, что адыгский язык до самых последних времен не имел письменности, так что алфавит его создан уже в последние годы чисто научным путем одним из русских академиков.

Надо сказать, что нелегко передать все оттенки звуков черкесского языка посредством какого бы то ни было алфавита. И хотя находились в стране передовые личности, стремившиеся создать для народа письменность, но все попытки их оставались безуспешны.

Особенно любопытна попытка, уже в нашем веке, одного природного шапсуга, жившего в верховьях речки Богундыр среди населения в превосходной степени разбойнического.

Дворянин Хаджи-Нотаук Шеретлуков (так звали этого замечательного шапсуга) был старый человек, с обширной и белой, как крыло богундырского лебедя, бороною, с добрым и задумчивым взглядом и – что всего замечательнее и исключительнее среди буйного и страстного народа – с миролюбивыми идеями, за которые, как сам сознавался, не был он любим в своем околотке. В ранней молодости совершил он путешествие в Мекку со своим отцом, который, лишившись двух ребер и одного глаза на долголетнем промысле около русских дорог, удостоился скончаться под сенью колыбели ислама. Оставшись сиротой, молодой Хаджи-Нотаук поступил в медресе (школу) и, проведя пять лет в книжном учении, наконец вернулся на родину. Война, слава, добыча не имели уже для него прелести. Оставив свою наследственную винтовку ржаветь в чехле, Хаджи зарылся в книги и сделался муллой к удивлению всех ближних и дальних уорков. «Клянусь, что во всю мою жизнь, – говорил впоследствии Нотаук, – я не выпустил против русских ни одного заряда и не похитил у них ни одного барашка». Под старость Хаджи-Нотаук завел на Богундыре свое медресе, но с прискорбием он увидел, что адыгские питомцы его, прочитывая нараспев арабские книги, не выносят из них ни одной мысли по той простой причине, что книги те писаны на чужом для них языке. Тогда сеятель просвещения в богундырском терновнике задумал перевести арабские книги на адыгский язык и стал составлять адыгский букварь. Но его долгий и упорный труд был прерван, все его результаты уничтожены одним странным событием. Вот как сам он рассказывает о нем.

«Долго ломал я свою грешную голову над сочинением букваря для моего родного языка, лучшие звуки которого, звуки песней и преданий богатырских, льются и исчезают по глухим лесам и ущельям, не попадая в сосуд книги. Не так ли гремучие ключи наших гор, не уловленные фонтаном и водоемом, льются и исчезают в камыше и тине прикубанских болот? Но я не ожидал, чтобы мой труд, приветливо улыбавшийся мне в замысле, был так тяжел и неподатлив в исполнении. Сознаюсь, что не раз я ворочался назад, пройдя уже большую половину пути, и искал новой дороги, трогал другие струны и искал других ключей к дверям сокровищницы знаков и начертаний для этих неуловимых, не осязаемых ухом отзвуков. В минуты отчаянного недоумения я молился. И потом мне чудилось, что мне пособляли и подсказывали и утреннее щебетанье ласточки, и вечерний шум старого дуба у порога моей уны (хижины), и ночное фыркание коня, увозящего наездника в набег. Мне уже оставалось уловить один только звук, на один только артачливый звук оставалось мне наложить бразды буквы, но здесь-то, на этом препятствии, я упал, чтобы больше не подняться. В один ненастный осенний вечер тоска меня гнала, тоска ума – это не то что сердечная кручина, эта жгучей и злей. Я уединился в свою уну, крепко запер за собою дверь и стал молиться. Буря врывалась в трубу очага и возмущала разложенный на нем огонь. Я молился и плакал, вся душа выходила из меня в молитве, молился я до последнего остатка телесных сил и там же, на ветхом килиме молитвенном, заснул. И вот посетило меня видение грозное. Дух ли света, дух ли тьмы стал прямо передо мною и, вонзив в меня две молнии страшных очей, вещал громовым словом:

– Нотаук, дерзкий сын праха! Кто призвал тебя, кто подал тебе млат на скование цепей вольному языку

вольного народа адыгов? Где твой смысл, о человек, возмечтавший уловить и удержать в тенетах клевет горного потока, свист стрелы, топот бранного скакуна? Ведай, Хаджи, что на твой труд нет благословения там, где твоя молитва и твой плач, в нынешний вечер, услышаны. Знай, что мрак морщин не падает на ясное чело народа, доколе не заключил он своих поколений в высокоминаретных городах, а мыслей и чувств, и песен, и сказаний своих – в многолистных книгах. Есть на земле одна книга – это «книга книг», и довольно. Повелеваю тебе: встань и предай пламени нечистивые твои начертания и пеплом их посыпь осужденную твою голову, чтобы не быть преданным неугасающему пламени джехеннема»...

Я почувствовал толчок и вскочил, объятый ужасом. Холод и темнота могилы наполняли мою уну. Дверь ее была отворена, качалась на петлях и уныло скрипела... и мне чудились шаги, поспешно от нее удаляющиеся. Буря выла на крыше. На очаге ни искры. Дрожа всеми членами, я развел огонь, устроил костер и возложил на него мои дорогие свитки. Я приготовил к закланию моего Исхака, но не имел ни веры, ни твердости Ибрагима. Что за тревога, что за борьба бушевала в моей душе? То хотел я бежать вон, то порывался к очагу, чтобы спасти мое умственное сокровище, и еще было время. И между тем я оставался на одном месте, как придавленный невидимою рукою. Я уподоблялся безумцу, который из своих рук зажег собственный дом и не имел больше сил ни остановить пожара, ни оторвать глаз от потрясающего зрелища. Вот огонь уже коснулся, уже вкусил моей жертвы. В мое сердце вонзился раскаленный гвоздь; я упал на колени и вне себя вскрикнул: «Джехеннем мне, но только пощади, злая и добрая стихия, отпусти трудно

рожденное детище моей мысли... Но буря, врываясь с грохотом, в широкую трубу очага, волновала пламя и ускоряла горение моего полночного жертвоприношения. Я долго оставался в одном и том же положении, рыдал и ломал себе руки»...

Так создалась легенда, возводившая для черкеса в непреложный закон невозможность уловить начертаниями его вольный язык. Но под нею скрывается более простой, реальный факт. Есть одно достоверное свидетельство, что не чудесный сон и не небесное повеление, а простое противодействие местного магометанского духовенства положило предел плодотворным стремлениям мудрого старца.

4. ОСЕТИЯ И ОСЕТИНЫ

От верховий Урупа и истоков Риона, вдоль главного хребта Кавказских гор, вплоть до ущелий Арагвы и Терека, по которым проходит Военно-Грузинская дорога, издревле обитает народ, известный у нас под именем осетин. Заняв середину хребта, там, где царственно возвышается снеговая вершина Казбека, они расселились по ущельям рек и по склонам гор, — на север до Кабарды, на юг до Имеретии и Картли.

Прежде весь осетинский народ занимал только северную покатость Кавказского хребта, изрезанного множеством ущелий. По именам этих ущелий назывались и самые жители. От этого произошло разделение осетин на несколько обществ, имеющих один язык, но некоторые оттенки в характере и нравах. В общем их можно разделить на четыре группы.

На севере, в суровых верховьях Урупа, в соседстве с Большой кабардой, живут дигорцы. Южнее их, по ущельям Ардона, расселились алагирцы; далее, на юго-восток, по рекам Сиу и Фиаг-Дону, идут куртатинцы; а еще восточнее их — таугарцы, занимающие горы уже в окрестностях Ларса. Таугарцы отличаются от всех осетинских племен наибольшим умственным развитием. Они считают своим родоначальником какого-то наследника армянского престола, Таугара, бежавшего в их горы,

и потому гордятся своим высоким происхождением. Существует даже предание, что таугарцы прежде были старшинами в осетинских аулах; а это дало некоторым мысль утверждать, что собственно таугарского племени нет, а есть только высшее аристократическое сословие осетинского народа.

Малоземельность была главнейшей причиной того, что осетины, с начала III века, постепенно стали переходить на южный склон хребта, где, разместившись по ущельям рек Большой и Малой Лиахвы, Ксана, Паца и их притоков, составили, так называемое, поселение южных осетин и, подобно северным, стали называться по тем ущельям, в которых обитали.

Природа Осетии угрюма и неприветлива. Три четверти года доступ к ней или совсем невозможен, или сопряжен с большой опасностью. Растительность бедна, климат суров. Там царство зимы. Взошедшее солнце тотчас погружается в багровый туман, предвестник сильного мороза, и метели свирепствуют в течение почти девяти месяцев. Лето так коротко, что хлеба никогда не созревают; осень ужасна, и самая весна принимает вид мрачной осени, потому что куда не обращается взор — везде одни льдины, покрывающие вершины скалистых гор; везде сугробы глубокого снега.

Когда весеннее солнце пригреет эти снега, с высоких горных вершин низвергаются грязные, глинистые потоки и в своем стремлении сносят леса и срывают утесы. У подошвы гор образуются новые наносные горы, — вода подмывает их, и они с грохотом засыпают долины.

Как сурова природа, так были суровы и условия жизни осетинского народа. Вечной опасностью грозили ему и стихии, посреди которых он родился, и соседи, которые его окружали. Вот почему в стране, где право

сильного имело такое широкое применение, осетинские замки и башни, как птичьи гнезда, лепятся по вершинам скал и издали придают разбросанным вокруг них селениям такой красивый и оригинальный вид.

В домашнем быту, за крепкими стенами своих башен, осетины жили очень бедно. Утесы и горы их родины, непригодные почти к земледелию, не производят ничего, и в старые годы нужда достигала таких ужасающих размеров, что осетины сами убивали детей и немощных старцев. Голод заставлял их спускаться в долины. Люди зажиточные еще покупали себе хлеб у тех народов, которые жили на плоскости, но бедные отнимали его оружием. От этого развилось в народе неудержимое стремление к хищничеству, освященному преданием. Народная пословица недаром говорит: «Что осетин найдет на большой дороге, то ему послано Богом».

Религиозные верования осетин чрезвычайно шатки. Высшие классы их исповедовали ислам; но зато все остальное население представляло собой самое грубое смешение забытой христианской веры и идолопоклонничества. Сидя у очага, с трубкой в зубах, осетин в бесконечно длинные зимние вечера любит говорить о том, как жили некогда старые люди, охотившиеся в вековых лесах, похищавшие красавиц и не боявшиеся колдунов. Расскажет он своим детям и о Вациле – лесном божестве, и о Пречистой Деве, благословляющей супружеское счастье, и о «Черном всаднике», покровительствующем разбоям. Научит он их чтить развалины ветхих церквей как памятники когда-то исповедуемого здесь христианства, но научит почитать и святые леса, которым благоговейно поклонялись его предки. Таков, например, небольшой ореховый лесок в Таугарском ущелье, выросший на голой, совершенно безлесной местности.

Не очень давно, когда народ принял уже магометанство – говорит осетинское предание, – на месте этого леса стоял богатый и многочисленный аул. Но все его богатства были ничто в сравнении с одной его драгоценностью, – в нем жил святой человек, по имени Хетаг. Он знал все, что делается на свете, знал на земле причину и конец всех вещей, понимал разговоры небесных светил, и всю свою жизнь воевал с шайтанами, которые вынуждены были наконец бежать из аула, и только за сто агачей осмеливались показывать язык святому. Под эгидой такого мужа аул жил спокойно и наслаждался довольством и счастьем. Но рок и судьба ничем неотвратимы. «Что будет, тому быть непременно», – сказал пророк, и слова его сбылись над аулом.

По мере того, как шли годы, слабел и дряхлел Хетаг, лишился он зрения и уже не мог воевать с шайтанами. Вот в эту-то пору дух Джехенема и наслал на аул какую-то могучую вражескую силу. Уже только одна гора отделяет ее от аула. Жители, бросая родные очаги, бегут в Алагир; но и в бегстве не забывают они благочестивого старца. «Хетаг!» – кричат добрые люди. – Спешите за нами в лес, иначе вы погибнете!» Хетаг вышел из дома и отвечал слабым голосом: «Дни моей бодрости уже миновали, силы покинули меня. Хетаг уже не поспеет в лес, – пусть лес поспеет к Хетагу!».

И вдруг зашумели деревья. С далеких алагирских высот отделилась часть орехового леса и с быстротой облака закрыла собой Хетага. Так этот лес стоит и поныне на том же самом месте, и люди называют его лесом Хетага.

Христианский культ не исчез, однако, совсем под влиянием магометанства, и в представлениях народа и св. Хетаг и Черный всадник нередко затемняются светлым, могучим образом Георгия Победоносца, спасающего путника от козней горного и лесного духа.

В Осетии, по северному склону Кавказского хребта, есть ущелье, замыкающееся высокой снеговой горой Мна. Дико и угрюмо смотрит оно своими черными шиферными скалами, и свирепая река Мна-Дона несется по дну ее, то роясь под снежными завалами, то с оглушающим ревом пробивая их плотные, слежавшиеся массы. Горные духи и тени погибших людей сторожат ущелье от любопытного глаза, – и только смелый охотник заходит сюда, преследуя по вечным снегам легкого тура.

Причудливы и странны очертания Мна. Точно громадный каменный столб венчает ее вершину, а от него, по склону снежной горы, тянется еще много-много таких же столбов, представляющих издали вид нагорного осетинского селения зимой. Народ говорит, что это и есть селение, – но только селение мертвецов, тени которых, витая вокруг столбов, диким воем и стоном наполняют окрестность. Очень давно, когда народ не забыл еще веры своих отцов и поклонялся Распятому, в соседнем Труссовском ущелье жил знаменитый разбойник Лоло, проклятый Богом за убийство двух своих братьев. Однажды Лоло, признав покровительство Черного всадника, с двумя такими же злодеями, как сам, спустился к ледникам Мна-Дона, чтобы достать добычу, – и добыча предстала перед ним в образе прекрасной осетинской девушки Хоры. Смело и беспечно пробиралась она по опасной тропе к летним загонам, чтобы напоить овец, принадлежавших ее отцу. Тихо было в ущелье. Тучи ползли по горам, и белое облако клубилось над снеговой вершиной Мна. Лоло тревожно огляделся кругом. На черном шиферном утесе, на вороном коне, в темном одеянии, точно окутанный сумраком ночи, стоял Черный всадник и распростертой рукой указывал путь дерзкому разбойнику. Лоло схватил несчастную девушку. Он уже спустился

с ней в глубокую пропасть, уже ступил на рыхлые снеговые арки – последнее опасное препятствие на его пути, как вдруг тучи раздвинулись, белое облако слетело с вершины Мна, – и Лоло окаменел от ужаса. На самой вершине горы, среди вечного снега, в страшном величии, стоял неподвижный всадник. Лицо его пылало гневом. Он был на белом коне, в блестящем рыцарском уборе и держал в руках живого дракона, связанного веревками, как знак победы над злыми духами.

Отпрянул перед ним Черный всадник и стремглав, вместе с конем, полетел в бездонную пропасть. Страшный гул, от которого всколыхнулась земля и ураганом взметнулась снежная пыль, пошел по горам, – и громадный утес рухнул на головы разбойников... Тихо опять все стало в ущелье, белые облака по-прежнему клубились на вершине Мна, а на снежной лавине стояла одна трепещущая Хора...

С тех пор тени погибших злодеев витают на вершинах Кавказа, в области вечных льдов, и часто, среди завывания бури, запоздалый охотник слышит их стоны и жалобы...

Историки относят осетин к древнейшим обитателям Кавказа. Мы не будем вдаваться в глубокую старину и разыскивать причины, почему осетины сами себя называют иронами, а кавказские соседи зовут их оссами. Эта история слишком мало известна, слишком темна, чтобы о ней сложились в народе какие-нибудь определенные образы. Целые тома исписаны об осетинах, но наука оставляет еще широкий простор догадкам и предположениям. Известно, однако же, что в ту, закрытую от нас седым туманом эпоху, когда Осетия переживала свою блестящую историю, она имела своих царей, вела обширный круг дипломатических сношений с соседними державами; дочери осетинских царей сидели на престолах Грузии,

Абхазии и Византии; а принцы царственного дома занимали видное положение при дворах тогдашнего цивилизованного мира. Осетия имела свою многочисленную и, говоря относительно, блестящую столицу, находившуюся, как полагают, в Куртатинском ущелье, на реке Фиалдоне. Потом Осетия пережила эпоху феодализма. По всей стране, во многочисленных замках, засели феодалы, и когда народ страдал под игом тяжелого рабства, в этих рыцарских замках дни проходили в буйном веселье и в пиршествах. Джигитовка заменяла здесь средневековые турниры. Осетин, как всякий горец, жил полной жизнью только тогда, когда, вложив ногу в стремя и заломив ухарски папаху на затылок, взмечет пыль дороги своим горячим скакуном и огласит ущелье выстрелами потехи или разбоя.

Между феодалами шла ожесточенная борьба из-за власти, и слабые фамилии или исчезали, или подчинялись более сильным. Тогда победители стали величать себя в южной Осетии князьями, а в северной – алдарами. Такие отношения, составлявшие условия для жизни, подрывали основы патриархального быта и порождали кровомстителей. Обездоленные люди становились абреками, которые ставили целью всей своей жизни только убийства. По временам абреки собирались в шайки, и случалось, что те, во главе которых стоял предприимчивый и смелый вожак, завоевывали целые аулы, – и тогда начальник шайки, глава разбойников, сам становился феодалом. Некоторые фамилии, преследуемые кровавой местью, целые годы проводили замкнувшись в своих башнях, не смея выйти из них ни на шаг, чтобы подышать воздухом. И самые башни строились применительно к такому складу и к таким условиям жизни. Они обносились высокими стенами и строились в три этажа: внизу помещался скот,

в середине, куда можно было попасть только по приставной лестнице, жили люди; наверху – был склад припасов; а еще выше, на самой уже вышке, стоял часовой, день и ночь зорко всматривавшийся в даль, закутанную зловеющим туманом.

Но проходили века; пал феодализм, исчезло абречество, выродившееся в простое разбойничество, – и южная Осетия окончательно подчинилась Грузии. Большая часть ее попала тогда в крепостную зависимость грузинских князей Эристовых и Мочабеловых. И еще тяжелее, еще непригляднее пошла жизнь осетинского народа. Ни один осетин не смел показаться на базарах и в деревнях Картли, чтобы не быть ограбленным своим собственным помещиком. Богатые грузины стали строить в тесных ущельях укрепленные замки, мимо которых никто не мог пройти без опасения лишиться жизни или свободы. И эти страшные замки памятны народу доселе. В сырых и мрачных подземельях их нередко длинные годы томилась несчастные жертвы помещичьего произвола и в оковах оканчивали свое мучительное существование. Один путешественник, посетивший такую темницу в Ксанском ущелье, видел в ней заржавленные цепи, разбросанные кости и пожелтевшие черепа, в которых гнездились ядовитые змеи. Это был ветхий остаток страшной, но верной картины эриставского управления. Все это подвигало осетин на мщение и вызывало разбои, в которых страдательная роль выпадала уже на долю грузин.

Вот что случилось раз в старинные годы.

Это было в средней Картли, в бедной деревушке Зволетах. Теперь от этой деревни осталось только несколько разрушенных саклей да церковь, с двумя высокими камнями, воткнутыми в землю у самых дверей ее. Камни напоминают своим очертанием человеческие фигуры и привлекают к себе толпы богомольцев.

Во время оно, – говорят старые люди, – в этих Зволетах славилось семейство одного зажиточного грузина. Его звали Борзимом, а жену его Кекелой. Жили они счастливо, – и одно только огорчало их: пошел уже пятнадцатый год их супружества, а у них не было детей, и некому было передать им ни имени своего, ни богатства.

В одно прекрасное майское утро, когда Кекела стояла у порога своего дорбаза, любуясь просыпающейся природой, к ней подошел маститый старец, в нищенском рубище, с перекинутой через плечо сумой и протянул руку за милостыней. Кекела дала ему чашку муки, и нищий ушел, осыпав ее благословениями. Необычное добродушие, отражавшееся на старческом лице, и та теплота, с которой он дал ей свое благословение, внушили Кекеле мысль, не был ли этот странник одним из тех святых Божьих людей, которых Господь посылает по временам, чтобы обойти мир и испытать людские сердца и помыслы. Эта мысль волновала Кекелу несколько дней – и волновала не напрасно: через девять месяцев она родила близнецов, сына и дочку. Так прошло два года. Новорожденные росли, хорошели, и родители их могли на них нарадоваться.

Однажды, в самое заговенье, перед постом апостолов Петра и Павла, когда каждый грузин, как бы он ни был беден, готовится к хорошему обеду, в доме Борзима собралось много гостей и был роскошный стол. После обеда утомленная Кекела легла отдохнуть, и грезилась ей образы один другого страшнее и мучительнее. Привиделось ей, что их огромный дорбаз внезапно охватил огонь, и, несмотря на все усилия, он сделался жертвой пламени. Сны накануне Петрова поста бывают вещими, – и он предвещал беду, которая была уже недалеко. Наступил вечер, – и в семействе Борзима вдруг поднялась суматоха: их сын, Датико, оставленный неосторожной

матерью на дворе позднее, чем следовало, пропал без вести. Сначала полагали, что дитя в деревне; но когда его там не оказалось, озадаченный Борзим с дюжиной молодцов пустился искать его по зволетскому лесу, издавна служившему притоном осетинских шаек. Осмотрели каждое дерево, каждый куст и тропу, но ребенка не было. Этот случай сделался предметом разных предположений: одни говорили, что дитя похищено драконом, рабом св. Георгия, за то, что Борзим, беспощадно истребляя оленей в зволетских лесах, никогда не приносил в жертву святому рогов убитых животных; другие полагали, что дитя поглощено землей, но большинство сходилось на том, что его увезли осетины.

Много воды утекло с тех пор из рек Иверии. Утихло родительское горе, и семья сосредоточила все свои заботы на единственной дочери Марте. Ей шла уже двадцатая весна, и не было отбоя от женихов. Но сердце Марты оставалось свободным. В это время появился в Зволетах какой-то пришелец, говоривший, что некогда он был увезен осетинами и теперь воротился на родину, о которой никогда ничего не слышал, оставив ее ребенком. Молодые люди встретились, и искра любви, заронившаяся в их сердцах, скоро привела их к алтарю как жениха и невесту.

Наступил день свадьбы. Взоры всех присутствующих были обращены на эту чету, блиставшую красотой и молодостью; но все заметили, что оба они, опустив глаза, стояли задумчивые и бледные. Отошла наконец служба. Но едва молодые переступили церковный порог, как вдруг какая-то неведомая сила ударила в них, точно молния, – и они мгновенно превратились в камни, оставшись вечно стоять на тех самых местах, на которых застал их удар, как бы ниспавший с разгневанного неба. Господь не допустил совершиться греху кровосмешения.

Этот пришелец был брат несчастной Марты, тот самый маленький Дати́ко, которого увезли осетины.

Много у зво́летцев сохранилось легенд об этом смутном времени, но рассказ о молодых супругах, превращенных в камни, более всех возбуждает к себе их участие.

Жизнь северной Осетии сложилась несколько иначе, нежели южной. Северные осетины успели сбросить с себя ненавистное иго грузин, но встретили врага, более опасного и беспощадного в лице кабардинцев, появившихся на Кавказе на исходе XIV века. В народе до сих пор еще живут воспоминания о тех временах, когда кабардинцы, завладевшие всей плоскостью до самого Ларса, не позволяли осетинам спускаться с гор иначе, как за огромную плату. Замкнутые в своих ущельях, выходы которых были заперты, осетины очутились в положении людей, отрезанных от мира, замкнулись в самих себя и одичали.

Таким образом, притесняемые с северной стороны кабардинцами, а с юга грузинскими и имеретинскими князьями, осетины при первом появлении в этой стране русских войск в царствование Екатерины, когда граф Тотлебен шел в Имеретию, встретили их как своих избавителей. То же самое повторилось впоследствии при занятии Грузии генералом Кноррингом. Русские отодвинули кабардинцев от гор и дали возможность осетинам спуститься в долины. Они восстановили даже их старые привилегии. Тогда существовал обычай, по которому со всех проезжающих от Ларса до Владикавказа брали денежную пошлину в пользу таугарских старшин – обычай, сложившийся еще тогда, когда при грузинских царях купцы, ездившие в Россию или на линию по торговым делам, вынуждены были для своей охраны нанимать проводников из таугарцев. Но когда

дорога перешла во владение России и по ней учредилась линия кордонов, тогда проводники стали не нужны. Но чтобы не лишить таугарских старшин дохода за то, что через их земли прошла военная дорога, право на получение ими пошлин, от тридцати пяти копеек до десяти рублей, смотря по личности и средствам проезжающих, осталось во всей своей силе. Подать эту собирал комендант во Владикавказе и потом делил между десятью главнейшими таугарскими фамилиями.

Казалось бы, что все это должно привлечь осетин к России, и в первое время оно так и было в действительности. Но мало-помалу ошибки нашей администрации, – как выражается Паскевич, – невнимательность ближайшего начальства, происки беглых грузинских царевичей, чума и бунт, бывший в Грузии в 1812 году, ослабили наше влияние над Осетией до такой степени, что она сделалась постоянным убежищем, для всех преступников, преследуемых законом. Открытого восстания не было; но случаи грабежей и убийств по всей Военно-Грузинской дороге, начиная от Тартуба до самого Душета, становились все чаще и чаще. Они усилились особенно с открытием персидской войны, когда в соседней Чечне появились персидские эмиссары.

Обнаружились попытки и к возмущению самих осетин. Несколько таугарских старшин из лучших фамилий, Шенаев, Тулатовы, Кундухов, Дударов и другие, ездили в Чечню, виделись там с известным муллою Кудухом и, возвратившись домой с карманами, набитыми персидским золотом, стали волновать народ. Поднять осетин им, однако же, не удалось. Большинство уклонилось от всякого содействия мятежникам, и на их зов явилось лишь несколько десятков байгушей, образовавших ничтожные шайки. Тем не менее, владикавказский комендант генерал-майор Скворцов, которому подчинялась Военно-

Грузинская дорога на всем протяжении ее от Екатеринодара до Ларса, тотчас вызвал к себе таугарских старшин. Старшины заявили, что народ ничего общего с мятежниками не имеет и серьезных беспорядков в горах ожидать нельзя; но что возмутившиеся алдары настолько сильны и влиятельны, что всякое насилие со стороны старшин может повести лишь к междоусобице и распасть народные страсти, с которыми потом трудно будет управиться. Тогда Сковорцов поручил старшинам, не прибегая к силе, действовать одними увещаниями, а сам между тем занял все выходы из гор небольшими караулами, усилил охрану мостов и увеличил конвойные посты на дороге. Это лишило осетин возможности действовать большими партиями, но для мелких оно не составляло преграды. Отличные ходоки по горам, осетины спускались на дорогу прямо с отвесных круч и появлялись всегда неожиданно. Так они ограбили нескольких грузин, убили оплошного донца, ехавшего от Казбека к Дарьяльскому посту, и, наконец, атаковали разъезд (из четырех казаков) между Ларсом и Владикавказом. Донцы пробились, но один из них был сбит с коня и попался в плен. В другой раз, 11 февраля 1827 года, на этой же дороге они захватили корпуса инженеров путей сообщения капитана барона Фиркса и увезли его в горы. Фиркс следовал с оказией, но, подъезжая к Владикавказу, отделился вперед и под самым городом наткнулся на партию. Денщик его успел ускакать и поднять тревогу. Когда из Владикавказа подоспели казаки, кроме свежих следов, где происходила борьба, не нашли уже ничего. Хищники так же внезапно исчезли, как и появились. На этот раз Сковорцов, собрав таугарских старшин, категорически потребовал от них освобождения Фиркса. «Ваше дело, — сказал он, — добыть его оружием, выкупить, выкрасть, — но если в месячный срок он не будет доставлен,

войска войдут в ваши горы, и тогда едва ли найдут возможным отличить правых от виноватых». Угроза подействовала, — и Фиркс двадцать третьего февраля был привезен во Владикавказ самими осетинами.

Все это было, однако же, совсем не то, чего хотели и добивались персияне. Восстание, замкнувшееся в тесный круг придорожных разбоев, не могло оказать им существенной пользы, а чтобы поднять народ, алдары требовали денег и денег. Чеченский мулла Кудух вызвался передать им требуемую сумму. Как только Сковорцов узнал, что свидание между Кудухом и таугарскими алдарами должно произойти на земле карабулаков, он тотчас распорядился устроить засаду, чтобы схватить или убить муллу при выезде его из Майортуна. Мулла, однако, никуда не поехал, а вместо него на засаду попала партия кабардинских абреков, ехавшая из Чечни на разбой к Военно-Грузинской дороге.

Десять ингушей, с прапорщиком Базоркиным, и четырнадцать донских казаков, с сотником Фроловым, сидевшие в засаде, в самую полночь услышали конский топот и, как ни темна была ночь, ясно различили шесть кабардинцев, ехавших по дороге. Впереди был — Крым-хаджи, узанный по белому коню, знаменитому по всей Кабардинской плоскости не менее своего отважного всадника. Хаджи сопровождали известные разбойники: Иджибекер и Исмаил, а остальные держались поодаль и не были узаны. Кругом, среди погруженной в сон природы, все было так тихо и безмолвно, что даже тонкое чутье кабардинца не предугадало опасности. И вдруг, в глубоком сумраке ночи, как молния сверкнули ружейные выстрелы — и почти в упор грохнул и покатился раскатами залп двадцати винтовок... Трое передних всадников упали на землю. Когда казаки подбежали к своей добыче,

Крым-хаджи, пробитый шестью пулями в грудь, лежал неподвижно; но спутники его, оба раненые, как дикие кошки, прыгнули в кусты и исчезли.

Эти кабардинские абреки, проживавшие в Чечне, являлись настоящим злом для края – и злом, с которым бороться было крайне трудно: абреки находили притон у мирных кабардинцев, а те все грабежи и разбои сваливали на своих соседей, осетин, репутация которых часто страдала самым незаслуженным образом. Между тем среди почетных осетин немало было людей искренне преданных России. Один из дигорских старшин по имени Татархан Туганов, красивый собой, ловкий и смелый наездник, в двадцатых годах лично был известен даже Ермолову именно за то, что слыл грозой абреков. Раз, преследуя какую-то шайку, Татархан увидел, что под одним из всадников лошадь загрузла в болоте. Наскакав, он узнал кабардинского абрека Кожохова и выстрелом и упор положил его на месте. Эта встреча оказалась роковой и для самого Туганова. Сестра Кожохова, известная в свое время красавица, была замужем за кабардинским уорком Хаджи-Кубатовым и с истинно женской ловкостью сумела заставить, чтобы муж явился мстителем за кровь ее брата. Однажды, когда Кубатов вернулся из гостей, жена отказалась принять его на своей половине и объявила, что не будет ему женой, пока он не исполнит голоса крови.

Кубатов собрал партию и отправился в наезд за головой Туганова. Татархана в это время не было дома: он был во Владикавказе, и партия целую неделю скрывалась в развалинах Тартуба, поджидая его возвращения. Наконец он приехал. В ту же ночь несколько подосланных абреков отогнали его любимый табун, и Татархан, пустившийся в погоню только с двумя нукерами, налетел

на засаду. Кабардинский уорк не хотел, однако же, воспользоваться запальчивостью врага. Он еще раньше просил своих людей указать ему Татархана, которого никогда не видел, и когда тот поравнялся с засадой, Кубатов выехал один и преградил ему путь. В одну минуту сверкнули выхваченные из чехлов винтовки, грянули два выстрела, – и пуля сорвала у Татархана газыри с черкески, а под Кубатовым была убита лошадь. Уже в руках Татархана блеснула выхваченная шашка, как князь Тембот Кейтукин, выскочивший из засады, сильным ударом коня отбросил его в сторону. Этим мгновением воспользовался Кубатов, чтобы высвободиться из-под убитой лошади. «Пока я жив, да будет проклят тот, кто станет мне помогать!» – крикнул он Темботу и напал на Татархана. Их шашки скрестились. Тембот, однако, не выдержал. Видя, что Кубатов уступает противнику, он выстрелил из пистолета в упор, и Татархан был убит наповал. Кубатов отрезал у мертвого палец, на котором было серебряное кольцо с золотой насечкой, и повез его к жене как свидетельство исполненного обета.

В Урухском ущелье, верстах в восьми от Тартуба, по дороге к Ардонскому редуту, там, где в Терек впадает Белая речка, стоит курган и на нем три деревянные столба, обтесанные в виде грубых истуканов. Это могила Татархана.

На одном из столбов находится русская надпись: «Здесь убит дигорский старшина хорунжий Татархан Туганов, славный и знаменитый воин. 1827 год». Родственники его посадили на кургане сухое дерево, которое выражает мысль что родные с потерей его осиротели, как дерево без листьев. 1828 год прошел на Военно-Грузинской дороге сравнительно тихо. По крайней мере официальные данные упоминают только об одном случае,

когда команда, посланная из Владикавказа на правый берег Терека для сплава леса, была атакована конной партией, и двое солдат захвачены в плен, а третий изрублен. Но и это нападение было произведено не осетинами, а кабардинскими абреками да, и кончилось оно сравнительно благополучно, так как мирные кистины, пропустившие через свою землю партию, выкупили и доставили пленных. Были случаи еще между Дарьялом и Ларсом, где также взяты в плен трое солдат, захвачено несколько грузин и разграблен выючный обоз, но и это было делом только одного известного джераховского абрека Годзиева, который разбойничал двадцать лет и с которым все давно уже свыклись.

Обмануло ли это спокойствие бдительность наших кордонов, действовали ли на осетин турецкие прокламации, или просто они ободрились отсутствием войск, взятых с Военно-Грузинской дороги, – но только летописи 1829 гона представляют такой длинный ряд происшествий, который несомненно указывал уже на большее или меньшее участие целого народа в преступных предприятиях своих алдаров. При таком обилии происшествий ссылаться только на одиночных абреков, вроде Годзиева, было невозможно. Годзиев, наконец, был даже пойман и, наказанный кнутом, сослан на каторжные работы, – а разбои не унимались.

Современные донесения не дают нам разгадки этого явления; даже искусные рассказы – и те не объясняют, каким путем сравнительно небольшое число мятежных алдаров могло получить такое преобладающее значение в народе и вытеснить из него все доброжелательные нам элементы. Многие ищут причины этого во взаимных распрях, начавшихся около этого времени у осетин, как между собой, так и с соседними кистами, галашевцами

и карабулаками. Невозможность бороться одному какому-нибудь племени с целыми союзами заставляло каждое из них поочередно обращаться за помощью к русским, а русские наотрез отказывали в ней, стараясь примирять враждующих кроткими мерами и увещаниями. Но этих средств было недостаточно. Очевидно, что случилось нечто, чего опасались и о чем именно предупреждали Сворцова старшины, говорившие, что если разыграются народные страсти, то с ними мудрено будет управиться. А страсти разыгрались совсем не на шутку.

В числе таугарских старшин был один, на притеснения которого одинаково жаловались как осетины – дигорцы, так и чеченцы – галашевцы. Сворцов потребовал его во Владикавказ. Старшина не только не явился, но при помощи друзей выкрал своего сына, находившегося по Владикавказу аманатом, и бежал в горы. Его побег произвел некоторую сенсацию. Таугарцы заподозрили русских в желании арестовать старшину в пользу галашевцев. Галашевцы увидели в побеге старшины потворство русских таугарцам, – и обе стороны обратили на нас оружие. Дерзость таугарцев дошла до того, что они завладели почти всем путем от Ларса до Душета; а галашевцы из-под самых стен Владикавказа угнали казачий табун. Сворцов наложил денежный штраф на все ингушские и карабулакские аулы, мимо которых проезжали хищники, но жители отказались платить. Тогда из Владикавказа вышла небольшая колонна, – и штраф был собран силой. Но зато, когда отряд возвращался от Сунжи домой, ингуши заняли переправу на реке Камбелеевке и открыли огонь. Шайка была разогнана, но это не могло способствовать мирному улаживанию вопроса.

В такое-то тревожное время пришлось проезжать по этому пути принцу Хосров-Мирзе с персидским посоль-

ством. Естественно, были приняты все меры, чтобы по возможности обеспечить его путешествие, и, несмотря на то, принцу довелось-таки провести несколько неприятных минут под огнем неприятеля. Случилось это между Казбеком и Ларсом. Едва оказия миновала Казбекский пост, как впереди послышались глухие удары пушечных выстрелов. Скоро прискакали казаки с известием, что владикавказский отряд, высланный навстречу принцу, с боя занял Дарьяльское ущелье и что неприятель скрылся на правый берег Терека. Полагая путь уже безопасным, оказия двинулась дальше, но не прошла и нескольких верст, как наткнулась на новые шайки. Полковник Ренненкампф тотчас выдвинул орудие, рассыпал по дороге стрелков, а между тем принц с несколькими казаками во весь опор поскакал к Ларсу; за ним гуськом пустилась вся его свита, и, по особому счастью, ранен был при этом один только нукер, державший на поводу верховую лошадь. Пехота стояла на месте и отстреливалась до тех пор, пока не прошли все экипажи и вьюки.

На другой день, около Ларса, осетины опять открыли из-за Терека огонь по конвою генерал-майора князя Бековича-Черкасского, который, однако, благополучно проскакал под их выстрелами.

Происшествия следовали за происшествиями. Выдающимся случаем в ту пору служила геройская оборона подпоручика Петрова, на которого ночью напала целая осетинская шайка под Анануром. Раненый в ногу, Петров один боролся с целой шайкой, изрубил одного из нападавших и в конце концов отбил. Чтобы уменьшить несчастные случаи, приказано было постам никого не выпускать под вечер и без конвоя. Ответственность за это возлагалась не только на посты, но и на самих проезжающих. Случилось однажды, что около Ларса был убит казенный

денщик, ехавший на троечной телеге, и по произведенному следствию оказалось, что этого денщика перед закатом солнца случайно видел проезжавший по этому тракту хорунжий Донского войска Кисляков. И Кислякова судили за то, что он не только не вернул денщика, но даже не сообщил об этой встрече на первом казачьем посту.

За Владикавказом было еще опаснее, потому что там нападали осетины, кабардинцы, чеченцы, – и в целой массе происшествий трудно было уже разобраться, чтобы указать виновных. Около Владикавказа был захвачен в плен доктор Песоцкий, вместе с фармацевтом, а сопровождающие их три казака убиты; хищники отбили купеческий табун из-под самых пушек конвоя; четырнадцать донских казаков были атакованы близ Ардонского редута тремястами наездников. Отстреливаясь, казаки держались более часа, но, на их беду, нашла туча, и проливной дождь замочил кремневые ружья. Тогда, ожесточенные потерей лучших узденей, горцы ударили в шашки и изрубили казаков на куски. В другой раз тридцать человек погнались за двумя казаками; одного убили, под другим ранили лошадь; к счастью, он успел укрыться в дуплистый пенек, поверженный грозой возле дороги, и спасся, грозя ружьем нападающим; пули не могли пробить дерева, и он отсиделся до выручки.

Как только окончилась турецкая война и были покорежены джарцы, Паскевич признал необходимость защитить Военно-Грузинскую дорогу от хищников и с этой целью сделать две небольшие экспедиции в горы. К исходу мая должны были собраться оба отряда: один в Цхинвале, на границе южной Осетии, другой во Владикавказе для действия против осетин северного склона Кавказского хребта и их соседей: ингушей, кистин, галгаев и джерахов. Это была по счету третья или четвертая экспедиция,

которая со времен Цицианова предпринималась в Осетию, но ни одна из них не имела в виду прочного покорения этих народов. Довольствуясь временным прекращением набегов, мы сами были причиной того, что осетины получили чрезвычайно высокое мнение о неприступности своих гор и ущелий. На этот раз положено было привести осетин в безусловную покорность, подчинить их приставу, водворить среди них начала гражданственности и, таким образом, обеспечить сообщение Тифлиса с Россией и Имеретией. Этим Кавказ бесспорно обязан Паскевичу.

ПОКОРЕНИЕ ЮЖНЫХ ОСЕТИН

Много выстрадала Картли от буйных набегов ее соседей, но ни один уголок ее не испытывал такой тревожной жизни, какой подвергалось Саобошио, имение князя Абашидзе. Здесь сходились границы Грузии, Имеретии и Ахалцхского пашалыка, – этого притона хищных лезгин, служивших тамошним пашам за право безнаказанно грабить несчастную Грузию. Еще доселе в окрестностях Саобошио видны развалины квишетской башни, бывшей обычным местом для сбора лезгин, прокрадавшихся лесами Боржомского ущелья. Как грозный призрак вставала эта мрачная башня на пути странника, навевая ужас своими развалинами и своей дурной славой. Сюда свозили лезгины все, что Бог посылал им на проезжих дорогах, и отсюда же передавали полон и добычу в Ахалцх. Поселянин, окончив дневные труды, всю ночь должен был стеречь порог своей сакли и спать с ружьем над изголовьем. Окрестные князья и дворяне с закатом солнца запирались в башни, вместе со своими семьями и слугами. Но не всегда и эти крепкие башни служили им надежной охраной. Живы еще старики, которые помнят ту страшную ночь, когда лезгины взяли из замка князя Абашидзе двух его дочерей, из которых, впоследствии, одна сделалась женой аварского хана, а другая – хана карабагского.

Но вот отгремела турецкая война, навеки затих бранный Ахалцх, вместе с ним затихли и лезгины, грозные

враги южной Картли. Но несчастная страна по-прежнему не имела покоя. У нее оставался другой, не менее страшный враг – осетины, наводившие ужас на северную часть Картли. Народные рассказы полны воспоминаний об этой кровавой эпохе, и нужны были многие годы спокойного развития Грузии под мирным кровом России, чтобы заставить эти рассказы или вовсе исчезнуть из памяти народа, или под влиянием времени принять иные, менее суровые и мрачные образы.

С окончанием турецкой войны донесения, получаемые Паскевичем с осетинской границы, не заключали в себе ничего важного, но показывали все то же тревожное состояние края, недалеко ушедшего от жизни времен грузинских царей, когда каждый, ложась спать, трепетал за жизнь и имущество.

В апреле 1830 года осетины из фамилии Акка-Кобисшвили напали в Горийском уезде на восемь имеретин и двух из них убили, а шесть увели в горы. Это было началом в обычной летописи «происшествий», которая обещала продолжиться дольше и дольше, все в том же направлении.

Паскевич в это время готовился к отъезду в Петербург; но он сделал заблаговременно все нужные распоряжения к экспедиции в Осетию и поручал наблюдение за ней тифлисскому военному губернатору, генерал-адъютанту Стрекалову.

Шестнадцатого июня, в селении Цхинвалы, на самой границе южной Осетии, собрался небольшой отряд из одного батальона херсонских гренадер, двух рот Эриванского полка, двух донских сотен и четырех горных орудий; к ним скоро присоединилось до тысячи человек картлийской милиции, прибывшей сюда из разных мест Грузии, под начальством подполковника князя Тарханова. Распущен был слух, что Цхинвалы назначены местом лагер-

ного сбора, а многочисленная милиция только усилит посты по картлийской границе.

Начальником этого отряда назначен был генерал-майор Павел Яковлевич Ренненкамф – один из молодых генералов, выдвинутых эпохой Паскевича. Ренненкамф прибыл на Кавказ в 1827 году полковником генерального штаба, и его деятельность в сфере дипломатических сношений скоро обратила на себя внимание фельдмаршала; успешное же размежевание им границ между Россией и Персией и затем сопровождение персидского принца Хосров-мизы в Петербург доставили ему чин генерала.

Задавшись целью умиротворить Осетию, Паскевич желал добыть ее покорность не столько силой оружия, сколько политическим тактом, и потому остановил свой выбор на Ренненкамфе как на человеке, наиболее отвечавшем этому требованию. Общий план порученной ему экспедиции заключался в том, чтобы проникнуть в Кешельтское ущелье, лежавшее в верховьях реки Паца, потом привести в покорность осетин, обитавших по большой Лиахве и ее притокам, далее, пройти через Маграндолетское общество за снежный перевал Конго и кончить экспедицию в Джимуре.

Все приготовления к походу делались с чрезвычайной скрытностью, – и скрытность была необходима, чтобы облегчить успех войскам, которым приходилось действовать в стране совершенно неведомой и замкнутой, где неприятель, пользуясь выгодами местности, мог на каждом шагу создавать перед ними бесконечный ряд затруднений. Наконец все приготовления были окончены: солдаты получили для ходьбы по горам железные подковы, выюки были снаряжены, провиант запасен, штат проводников, преимущественно из обществ, питавших ненависть к кешельтцам, организован, и влиятельные князья, свя-

щенники и жители, приглашенные Ренненкампом участвовать в экспедиции, съехались в Цхинвалы, — ожидали только прибытия генерала Стрекалова, чтобы начать военные действия. Он осмотрел отряд девятнадцатого июня и приказал в тот же день занять селение Джавы, служившее ключом ко всем ущельям рек большой Лиахвы и Паца.

Во время смотра, когда небольшой русский отряд стройно маневрировал по горной долине, — за деревней, на высокой скале, чуть видимый глазу, стоял человек, с напряженным вниманием следивший за каждым шагом русского войска. Это был Акка-Кобис-швили — вождь осетинских разбойников, явившийся сюда из своего далекого ущелья. Он высчитал по пальцам русскую силу и затем, как дикий тур, прыдая с утеса на утес, спустился в долину, там, где от сотворения мира не было никакой дороги. В долине он один-одинешенек бросился на грузинское стадо, разогнал пастухов и, выбрав самую тучную корову, угнал ее в горы.

«Я видел у Цхинвала русское войско, — сказал он товарищам, — оно идет на нас. Но я слишком голоден, чтобы рассуждать теперь о делах. Вот моя добыча, — быть может последняя добыча из Картли. Съедем ее, и потом посоветуемся, как отвратить опасность».

Предложение было принято, и за шумным пиршеством сообщники Кобис-швили решили защищаться. А между тем русский отряд прибыл в Джавы и, оставив в них вагенбург, двадцать первого июня двинулся далее. Среди суровой и дикой природы, на каждом шагу развертывавшей все новые и новые картины, войска шли бодро и с песнями взбирались на утесы, в область снегов и туманов. Вот уже и Джавское ущелье едва чернеет внизу узкой трещиной, а дорога поднимается все выше по кремнистой

горе, среди вековых лесов, на темной листве которых так рельефно выделяются утрюмые и закоптевшие башни. Быстрая Лиахва с грохотом катит где-то глубоко внизу свои мутные волны, а кругом обступают зияющие пасти бесконечных ущелий. К восьми часам утра войска достигли наконец перевала и стали спускаться в Кепельтское ущелье. Скоро завязалась перестрелка. В войсках появились убитые и раненые; число их стало расти, и солдаты с удивлением замечали в среде сражавшихся женщин. Однажды, когда казаки взбирались на голый утес, из-за камней вдруг выскочила молодая осетинка и, как разъяренная тигрица, обхватила первого попавшегося ей казака, напрягла все силы, чтобы вместе с ним низвергнуться в пропасть. Страшная борьба происходила на краю обрыва. Еще мгновение — и осетинка совершила бы свой самоотверженный подвиг; но силы ее истощились: она выпустила свою добычу из рук и одна полетела в бездонную пропасть, где острые камни в куски изорвали ее тело.

Постепенно вытесняя неприятеля из одной деревни в другую, войска два дня находились в непрерывном огне и только утром двадцать второго июня достигли наконец высокой снеговой горы Зикара. Осетинские семьи успели уже скрыться за перевал, и перед войсками стояли одни вооруженные шайки. Рота херсонских гренадер смело двинулась на гребень крутого хребта, но, встреченная градом пуль и огромными камнями, остановилась. Солдаты укрылись за выдавшийся утес, и только благодаря этому потеря их оказалась ничтожной. В это время подошли подкрепления: рота эриванцев, вместе с милицией князя Тарханова, выдвинулась из Тхели-Цхальского ущелья, другая рота подошла к гренадерам, — и атака тотчас возобновилась. Взбираться пришлось на голый утес, и несмотря на огонь неприятеля, несмотря

на то, что железные подковы, розданные людям, оказались никуда негодными, солдаты так смело поднимались все выше и выше, лепясь над самыми обрывами зияющих пропастей, что осетины наконец не выдержали – и выслали парламентаря. Бой тотчас остановили; но переговоры не привели ни к чему, так как кешельтцы, соглашаясь дать аманатов, требовали в залог одного из князей Мачабели, находившегося при русском отряде.

С восходом солнца, двадцать третьего июня, едва войска стали в ружье, как с гор опять посыпались камни. Со страшным грохотом рикошетиrowали они по отлогостям скал, сталкивались, дробились и своими обломками покрывали окрестность. Солдаты с изумлением смотрели на гору, к которой, казалось, нельзя было подступиться. В это время от свиты Ренненкампа отделился капитан Нижегородского драгунского полка, князь Давид Осипович Бебутов*, и, кинувшись вперед, увлек за собой солдат. Утес был взят, и неприятель отброшен на самую вершину Зикара. Положение осетин, загнанных таким образом в глубокие снега, в которых они тонули по пояс, было отчаянное, но и войскам держаться на утесах, покрытых сырым и холодным туманом, не было возможности. Ударили отбой, – и Ренненкампф отвел войска назад в Доудонастское ущелье.

Гора, так сказать, осталась в руках неприятеля; но тем не менее бой на Зикаре имел решающее влияние на судьбу кешельтцев. На следующий день в лагерь явились их депутаты, и большая часть деревень выслала своих аманатов.

Из всех кешельтцев не хотел покориться только упорный Акка-Кобис-швили, удалившийся за снеговой

* Брат известного князя Василия Осиповича. Впоследствии, в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, был комендантом в Варшаве.

кударский перевал, да крепкий замок Коло, служивший опорным пунктом другой, не менее известной, кешельтской фамилии Беге-Коче-швили. Необходимо было покончить с этим разбойничьим гнездом, – и Ренненкампф двадцать шестого июня обложил Коло. В замке засело тридцать отчаянных головорезов, и на предложение сдачи – отвечали залпом. Прапорщик Бестужев* тотчас придвинул горное орудие и принялся бомбардировать башню. Однако не только пробить брешь, но даже оторвать кусок от этой слежавшейся веками каменной глыбы оказалось невозможным. Ядра отскакивали как мяч, и в довершение всего, лопнул лафет – и орудие перестало действовать. Тогда Ренненкампф двинул на приступ херсонские роты. Гренадеры бросились, но были отбиты с потерей двадцати двух человек; в числе тяжело раненых находился и командир полка подполковник Берилев, которому пуля раздробила плечо; истекая кровью, он не пошел на перевязку и это послужило, впоследствии, причиной смертельного исхода раны.

Пришлось отложить атаку до ночи. Как только стемнело, охотники и часть грузинской милиции тихо подползли к воротам замка, чтобы сорвать их с петель. Это едва не удалось картлинскому дворянину Давиду Сулханову, но тяжелая рана вывела его из строя. Охотники отступили. Картлинцы еще держались некоторое время, и пока грузины стреляли по бойницам, один из них, Лаурсаб Пурциладзе, пытался подвести подкоп под самую башню; но, сложенный на извести, фундамент уходил так глубоко в землю, что работа оказалась тщетной. Отошли назад и картлинцы.

Наступила ночь. Мрачным силуэтом вырисовывалась на темном небе страшная башня, окруженная рус-

* Декабрист: родной брат известного писателя Александра Бестужева (Марлинского).

скими бивуаками. Вдруг яркое пламя высоко взвилось над деревней и осветило окрестность. Разбойники, опасаясь ночного нападения, сами зажгли несколько домов, чтобы оградить себя от нечаянного приступа. Но никто из них не полагал, что это губительное пламя предзнаменует их будущую жестокую участь.

Генерал несколько раз посылал к ним увещания положить оружие, но всякий раз они присылали ответ, что скорее погребут себя под развалинами, чем примут какие-нибудь условия. Последний наш посланный был задержан и не вернулся назад. Чтобы положить конец этой неслыханной борьбе, команды, высланные из лагеря, в самую полночь приблизились к башне и обложили ее громадными кострами. Осетины открыли огонь, и поручик Писаревский, зажегший первый костер, был ранен пулей в голову; едва он упал, как один фанатик, выскочивший из башни через амбразуру, набросился на него с кинжалом. К счастью, унтер-офицер Пархомович успел вовремя заслонить офицера, и осетин был убит. Между тем от одного костра занялись другие. Яркое пламя, раздуваемое ветром, быстро поднялось до вершины замка, лизнуло его каменные стены и охватило все деревянные пристройки. Скоро затлели перекладыны крыши; балки стали валиться внутрь башни; но среди удушающего дыма и пылающего огня слышалось только монотонное пение предсмертной молитвы. Видя неминуемую гибель, осетины выкинули из окна окровавленную рубаху нашего парламентаря. «Вот кровь, – кричали они, – которую мы пролили заранее в отмщение за нашу кровь». Толстые, окованные железом ворота долго сопротивлялись действию огня; но когда рядовой Немилостишев железным ломом сбил с петель одну половину – пламя тотчас охватило внутренность замка, и вслед за тем с гулом и треском рухнула вниз его тяжелая крыша. Сноп искр

высоко взметнулся к небу – и все застлалось черным удушливым дымом. В этот момент десять осетин выскочили из башни, надеясь пробиться; девять из них были убиты, а десятый, сам Беге-Коче-швили, захвачен в плен; замок с остальными защитниками сгорел. И теперь только одни обугленные стены укажут любопытному путнику место, где тридцать человек со спартанской твердостью защищались около суток против полуторатского русского отряда.

Уничтожение замка и истребление в нем разбойничьей фамилии Коче-швили имело большое влияние на прочих осетин. Появление русских на вершине заоблачных гор сломило их упрямство и дикую энергию. Сам Акка-Кобис-швили признал невозможность дальнейшей борьбы и с петлей на шее, свитой из свежих древесных ветвей, явился в лагерь. Он стал на колени и прикрыл свою голову полой генеральской одежды. Это был знак, что он вручает свою судьбу его великодушию. «Именем главнокомандующего, – сказал Ренненкампф, – дарую тебе жизнь. Теперь можешь идти домой. Я отпускаю тебя на честное слово, что завтра, в эту же пору, ты будешь здесь вместе со всей твоей фамилией». Акка дал обещание и сдержал его. Он привел с собой не только семью, но и двух пленных имеретин, из числа шести, захваченных им весной. «А где еще четыре?» – спросил Ренненкампф. Их зарезал народ при вступлении нашем в Осетию, – отвечал Акка.

Вместе с Кобис-швили явились в лагерь и остальные кешельтские старшины, чтобы принести присягу и похвалиться грамотой, хранившейся у них со времен Цицианова, как свидетельство их давней преданности русским и кроткого поведения. Генерал, никогда не слыхавший о кротости кешельтцев, с любопытством

развернул эту хартию – и усмехнулся. Это было прошение самих же осетин, которые домогались облегчить участь своих аманатов и пленных; а Цицианов, возвращая эту бумагу назад, положил на ней резолюцию: «Вы дерзнули грабить и убивать воинов Его Императорского Величества – подобную участь будете и сами иметь. Ждите вашего жребия». Генералу стоило немало труда уверить безграмотных старшин, что в этой хартии нет даже намека на похвалу их кротости.

Смирив буйных кешельтцев и поставив над ними моурава, отряд пятого июля двинулся далее к маграндалетским осетинам, живущим в глубоких ущельях большой Лиахвы. Пользуясь неприступностью своих жилищ, маграндалетцы не платили никаких податей, не отбывали повинностей и никому не повиновались. Можно было ожидать с их стороны упорного сопротивления, тем более, что к ним не было даже дорог, а вели тропы, которые не раз были облиты русской кровью. Здесь именно в 1812 году отряд генерала Сталя понес большие потери и должен был вернуться обратно, – обстоятельство, сильно пошатнувшее тогда зависимость от нас Осетии, а нас заставившее быть осмотрительней. Эти тропы и теперь стоили немалых жертв отряду, у которого множество лошадей и вьюков сорвалось с круч в бездонные пропасти. Но маграндалетцы на этот раз не решились встретить наши войска на перевале. Погром кешельтцев уже лишил уверенности в себе остальные племена, и едва отряд стал на маграндалетской земле, как старшины явились с покорностью. То же самое сделали и жители боковых ущелий. Даже нарские осетины, обитавшие на северном склоне Кавказа, выслали сюда своих депутатов. Пользуясь этим, Ренненкампф отправил к ним генерального штаба штабс-капитана Ковалев-

ского для собрания на месте подробных сведений об этих осетинах. Ковалевский, не колеблясь, отдал себя в руки незнакомых горцев и вместе с ними отправился в горы. Жители попутных деревень встречали его с непритворной лаской, и Ковалевский мог удостовериться в искреннем расположении их к русским. Нарцы сами просили даже о назначении к ним моурава, вызываясь выстроить ему приличный дом и давать от себя содержание. Во время этой поездки Ковалевский изучил дороги, сделал съемку горных ущелий и представил военно-статистическое описание пройденного края, которое составило ценный вклад в тогдашнюю военную литературу.

Спокойствие среди маграндалетцев водворилось быстро, но оно не обещало быть прочным, так как одна из влиятельнейших фамилий Рубишвили не хотела еще покориться. Ренненкампф приказал разрушить замок, покинутый ею в деревне Эдеси, и для захвата беглецов, скрывавшихся в ущельях малой Лиахвы, отправил роту херсонских гренадер со штабс-капитаном Андреевым. В то же время мало-помалу он начал подготавливать и экспедицию в Джимуру.

Отделенное от маграндалетцев высоким снежным хребтом, племя это теснилось в самых верховьях Ксана и давало у себя приют даже таким преступникам, которых отвергали самые дикие общества. Из Джимурского ущелья множество троп вело к Арагве, на Военно-Грузинскую дорогу, и эти-то тропы служили путями для разбойничьих шаек, появлявшихся между Душетом и Койшауром.

Чтобы обеспечить по возможности успех экспедиции и лишить джимурцев возможности искать спасения в соседних обществах, Ренненкампф воспользовался двумя ротами сорокового егерского полка, возвращавшимися в то время из Турции. Он приказал, одной из них, с майо-

ром Забродским, запретить мятежникам Ксанское ущелье со стороны Душета, а другой – с майором Челяевым, ущелье Гуда, со стороны Койшаура; пути на малую Лиахву сторожили херсонцы, со штабс-капитаном Андреевым.

Таким образом к одиннадцатому июля все главные выходы из Джимурского ущелья были заперты. Ренненкампф опасался, однако, чтобы джимурцы со всеми силами не устремились на один из этих отрядов, решил идти вперед, не ожидая уже развязки дел в Маграндо-летском ущелье. Он оставил в нем небольшую колонну, а с остальными войсками поднялся на снеговой хребет Конго и появился в Джимуре.

Окруженные со всех сторон, осетины не осмелились сопротивляться и встретили Ренненкампфа хлебом-солью.

Но в самой середине Джимурского ущелья, на высокой, обрывистой скале, находилось селение Тоуган-Сопели, по имени обитавшей в ней фамилии Тогошвили. Старшие представители этой фамилии, два родных брата, Куджан и Соста-Мурад, были два истинных злодея, поражавшие своей кровожадностью даже угрюмых джимурцев. Летопись их злодеяний была так велика, что вооружила против них даже членов их собственной фамилии. Братья узнали, однако, о заговоре и в одну прекрасную ночь вырезали всю свою фамилию. С тех пор селение Тоуган-Сопели, где совершилось это кровавое дело, получило в народе страшную известность и обратилось в притон осетинских разбойников. При приближении наших войск один из братьев, Куджан, выслал в аманаты сына, но сам бежал в глубь Ксанского ущелья и укрепился на горе Гололдуре. Русские нашли селение пустым, и мрачный замок был разрушен до основания.

Джимурцы сами сообщили, где укрывались разбойники, и майор Забродский, стоявший в Ксанском ущелье, немедленно отправил на рекогносцировку часть грузин-

ской милиции. Пробираясь лесом, грузины заметили в чаще вооруженного человека, которого приняли за часового, – и залп из ружей положил его на месте. Но когда грузины подбежали к убитому, то увидели молодую женщину, плавающую в крови. Признаков жизни уже не было; грузины сняли с нее оружие и, оставив труп в лесу, отправились дальше. Они принесли в лагерь известие, что шайка стоит на горе в совершенном расклахе. Тогда Забродский предложил жителям самим разделиться с разбойниками, но когда те отказались, он ночью напал на Гололдур со своей ротой и захватил всю шайку сонной. Только один из главнейших вожаков, Апанаси, вздумавший защищаться, был убит унтер-офицером Высоцким, сбросившим его в глубокую пропасть. Все остальные сдались. В числе пленных оказался сам Куджан-Тогошвили и та молодая осетинка, которую накануне считали убитой. Эта женщина с двумя пулями в груди и с раздробленным плечом имела силу и мужество пройти в ночь более десяти верст по страшным кручам и скалам.

Этим закончилась экспедиция Ренненкампфа. Войска наши проникли так далеко и прошли через такие места, где не только не была нога русского солдата, но куда не доходили даже грузинские цари, владевшие Осетией целые столетия. Чтобы судить о трудностях, перенесенных отрядом, довольно сказать, что солдаты иногда по нескольку раз в день подвергались всевозможным атмосферным переменам, переходя то от чрезмерного жара к зимним морозам, то после стужи попадая в пространство, раскаленное сорокаградусным зноем. И все это переносилось бодро, с такой энергией, что в отряде, кроме раненых, не было ни одного больного. Государь пожаловал Ренненкампфу орден св. Анны первой степени

и выразил особое благоволение войскам, участвовавшим в походе.

Так совершилось покорение южной Осетии, навсегда утратившей свою независимость. Главнейшие разбойники понесли достойное наказание. «Все они, – писал генерал Ренненкампф, – заслуживают казни; а так как расстрел не производит на горцев особенного впечатления, ибо они с малолетства привыкли обращаться с оружием, то я нахожу за лучшее, для страха другим, приказывать их повесить». Паскевич не согласился, однако же, с таким заключением, и назначенная им военно-судная комиссия приговорила из числа ста восемнадцати пленных только двадцать три человека к прогнанию сквозь строй и к ссылке на каторжные работы. В числе их был и знаменитый Куджан-Тогошвили. Опасение, что сын его, находившийся у нас аманатом, бежит и будет мстить за своего отца, заставило Ренненкампфа отправить в Сибирь и его, чтобы предотвратить в Осетии будущие беспорядки.

Но Осетия покорена была прочно. Жители сами усердно ловили разбойников и приводили их к русским. Так доставлены были два брата, Ахлов и Магомет Рубишвили, бежавшие из маграндолетского замка. Страх попасть в русские руки был так велик, что известный разбойник Саато Бедашвили, когда жители хотели его схватить, сам застрелил себя из ружья. В Осетии не было еще примера самоубийства, и смерть Саато, решившегося прибегнуть к такой отчаянной мере, поразила население ужасом. Осетия поняла, что для нее нет возврата к прошлому и что она начинает новую эру своей политической жизни.

5. Покорение карачаевцев

В верховьях реки Кубани, по горным отрогам Эльбруса, жило непокорное нам общество карачаевцев, числом до восьми тысяч душ обоего пола. Карачаевцы считали себя выходцами из Крыма, были мусульманами, говорили на татарском языке и находились в полувассальном отношении к кабардинцам, на земле которых паслись их стада. Имея очень мало земли для хлебопашества, они занимались скотоводством и разводили прекрасные породы овец, выделявая из их шерсти грубые сукна, паласы и бурки, не уступавшие андийским по красоте и прочности.

Карачаевцы не были народом воинственным, но центральное положение, занятое ими среди полупокорных и непокорных нам племен, придавало им важное стратегическое значение. В руках карачаевского народа находились все горные теснины, по которым пролегали кратчайшие пути из Западного Кавказа в Восточный, и в их же земле стоял Эльбрус – царь Кавказа, белую мантию которого еще ни разу не оскверняла нога человека. Трущобы Карачая казались неприступными. В его гнездах, свитых на голых, почти отвесных утесах, находили себе убежище все закубанские хищники, все абреки и люди беспокойные, которым не было приюта в собственных обществах, которым нельзя было показаться даже

в предгорьях Эльбруса без опасения быть убитым своими или чужими. И не одни русские – еще ранее их турки оценили важное значение Карачая, особенно после того, как в конце минувшего столетия потеряли другой горный проход против Баталпашинска. Известный уже читателям анапский паша Чечен-оглы употребил все усилия, чтобы склонить карачаевский народ к принятию турецкого подданства. Он наводнил их землю эмиссарами, которые действительно принялись за пропаганду, доказывая карачаевцам, что рано или поздно русские сделают их своими данниками, отберут от них оружие, и карачаевцы будут ходить как женщины, возбуждая к себе сожаление и насмешки соседей. Они говорили, что русские будут вербовать их в солдаты, разлучать с родиной и отправят на службу в холодные северные страны, откуда, по происшествии длинного ряда лет, молодые будут возвращаться седыми и немощными стариками. Если не их самих, то их детей горцы обратят в свою веру – и дети станут чуждаться родителей. Теперь этого пока нет, – говорили эмиссары, – русские боятся восстания в покорных им мусульманских обществах; но когда вся страна попадет в их руки и жители будут обезоружены, – они тотчас потребуют отречения от Корана, разорят мечети и на их местах будут строить церкви».

Аргументы были внушительны. Многие карачаевцы увлеклись ими, другие отнеслись к проповедям эмиссаров недоверчиво и даже преследовали проповедников насмешками. У некоторых ненависть к последним дошла до того, что в одного очень влиятельного эфенди сделан был выстрел с улицы, в раскрытое окно, в то время, как он сидел в своей сакле, углубившись в чтение книги. Народ карачаевский разделился на две партии, из которых одна требовала присоединения к Турции, другая – стояла за

принесение покорности русским. События на Кубани, и в особенности смелый набег Джембулата, заставивший говорить о себе в карачаевских трущобах более, чем о разгроме Паскевичем далекой и чужой им Персии, положил конец такому разъединению: весь народ, без различия политических мнений, склонился на сторону Турции, и о принесении покорности русским не было даже и речи.

Положение дел в Карачае не могло не отразиться на ходе наших дальнейших предприятий за Кубанью. В последнее время не было набега, в котором не участвовали бы карачаевцы, не было хищнических партий, которые не находили бы себе приюта в их владениях. Пока существовал этот оплот закубанских народов, имевший значение стратегической цитадели, до тех пор от наших военных операций за Кубанью нельзя было требовать сколько-нибудь удовлетворительного результата. Пока войска находились в движении, задача умиротворения края казалась близкой к осуществлению; но как только войска удалялись, – все приходило в прежний порядок: волны смыкались за прорезавшим их кораблем и не оставляли даже следа на своей подернутой зыбью поверхности. Генерал Эмануэль сознавал это ясно, и мысль о наступлении в Карачай поглотила все его внимание. К ней присоединилась и другая, которую, быть может, не один генерал лелеял до него в своем воображении, – мысль об овладении Эльбрусом, этим центральным узлом и кульминационной точкой Кавказа. Эльбрус в наших руках мог служить буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными закубанскими народами. Тогда абреки лишены были бы возможности укрываться от наших преследований и хищнические партии сделались бы гораздо осторожней, зная, что Карачай не может уже оказывать им прежнего гостеприимства.

Задуманный поход в Карачай Эмануэль решился предпринять во второй половине октября, когда суровая осень препятствовала неприятелю долго находиться в сборе. Но как ни скрытно делались приготовления с нашей стороны, в горах, однако, узнали о них прежде, чем собрались войска; узнали даже о цели движения, – и карачаевцы приготовились к отпору. Они только не знали, с какой стороны ожидать русских.

В Карачай вели две дороги: одна шла по левому берегу Кубани, у верховий которой лежала скалистая котловина – сердце карачаевских владений; другая – со стороны Пятигорья. Это был кружной путь, пролежавший по горным тропам, под самой снеговой линией, где неприятель менее всего мог ожидать появления русских. Но карачаевцы и этот путь не оставили без наблюдения – где только могла ступить нога человека, везде стояли они наготове. Эмануэль решил отвлечь внимание неприятеля и предварительно двинул небольшой отряд – две роты егерей, двести пятьдесят казаков и три орудия, – под начальством генерал-майора Турчанинова, вверх по Кубани к Тебердинскому ущелью. Появление этого отряда у Каменного моста послужило сигналом для сбора неприятельских партий, которые быстро сосредоточились к теснинам Аман-мхыт, что в переводе означает «гибельный путь». Нагорная полоса осталась незанятой. Тогда Эмануэль выступил с главными силами из Бургустана, и обе колонны, двигаясь концентрически, соединились девятнадцатого октября у северного склона Эльбруса на одной из его террас, идущих диадемой вокруг его белой короны. Терраса эта известна под именем Эль-Джурган-сырт и имеет несколько более семи тысяч футов высоты. Отсюда войска двинулись к Карачаю уже в боевом порядке. Впереди, под начальством командира Волжского казачьего полка

майора Вирзилина, шел батальон Навагинского полка с двумя кегорновыми мортирами, рота стрелков и две сотни спешенных линейцев с конным единорогом. На этот раз движение войск нельзя было скрыть от неприятеля, который внутренними дорогами бросился к северным склонам Эльбруса и успел предупредить русский отряд в лесистых оврагах на самой границе своей земли. Тенгинская цепь, после получасовой перестрелки, принудила, однако, карачаевцев покинуть эту позицию. Тогда они заняли высокую гору Хоцек, покрытую от подошвы до самой вершины, почти на протяжении трех верст, хвойным лесом и усеянную огромными обломками скал. Эмануэль приказал штурмовать гору. Было десять часов утра. Густая цепь стрелков первая начала наступление, за ней небольшими сомкнутыми частями, в виде резервов, двинулись остальные войска авангарда. За авангардом шла главная колонна и тяжести. Во всю ширину покатоги из-за камней и гигантских сосен вырывались белые клубы дыма, и в этом дыму сверкали длинные стволы карачаевских винтовок. Бойкая перестрелка шла по всему протяжению боевого поля. Эхо соседних гор, сливаясь в один протяжный гул, вторило ударам пушечных выстрелов. В этот день в первый раз нарушено было царствовавшее вокруг Эльбруса мертвое безмолвие. Войска наши, тяжело дыша, скользя и спотыкаясь, двигались по крутому подъему с небольшими роздыхами. Негостеприимная природа гораздо более обращала на себя их внимание, нежели безостановочно жужжавшие мимо ушей карачаевские пули. По мере того, как войска приближались к завалам, горцы покидали их и поднимались все выше и выше, не переставая обдавать ружейным огнем передовую цепь. При самом начале боя майор Вирзилин был ранен пулей в ногу и сдал начальство над авангардом подполковнику тридцать девятого егерского полка Ушакову,

который продолжал наступление с той же настойчивостью и с тем же упорством. Крутой подъем, обломки утесов, служившие закрытием неприятелю, скалистые ребра гор и среди них мрачные ущелья, вырытые дождевыми потоками – все это не могло не замедлить нашего движения, и, несмотря на то, еще не было одиннадцати часов утра, когда русские штыки засверкали на вершине Хоцека.

Но за Хоцеком вставала другая гора, еще более крутая, известная под именем Карачаевского перевала. Это был последний оплот страны, цитадель, на защиту которой горцы употребили свои лучшие силы. Этих сил было не много – всего пятьсот человек, но их было бы вполне достаточно для удержания этой крепкой позиции, если бы только на месте карачаевцев было другое, более стойкое и воинственное племя.

На вершине Хоцека Эмануэль оставил все свои тяжести, всех раненых и даже конное оружие под прикрытием скал егерей; остальные войска начали спускаться с горы в глубокую долину реки Худес-су. Спуск был так же затруднителен, как и подъем. Тот же лес, те же обломки скал и та же неумолкаемая перестрелка. Артиллерии при авангарде не было, кроме двух кегорновых мортирок, но и те не могли действовать, что давало выстрелам неприятеля, вооруженного винтовками, некоторый перевес над огнем наших гладкоствольных ружей. Полтора часа длился бой, и только тогда наступил короткий перерыв, когда колонны наши, спустившись к самой реке, остановились на ровной площадке для роздыха.

Лес, обрамлявший горы по ту сторону речки, кишел неприятелем. Оттуда по временам раздавались ружейные выстрелы, доносился глухой стук топоров и голоса людей, очевидно спешивших устраивать завалы. Эмануэль увидел, что если дать неприятелю время укрепиться на том берегу, то переправа через небольшую, но быструю

горную речку обойдется нам не дешево. Три орудия, собранные в одну батарею, направили огонь на опушку, и когда гранаты разогнали рабочих и разметали завал, неприятель покинул лес и стал подниматься в гору. Авангард наш тотчас перешел Худес-су и начал наступление.

Подъем на карачаевский перевал был до того крут, что войска не раз останавливались, чтобы перевести дух, а неприятель, пользуясь этими остановками, усиливал перекрестный огонь, под которым все время держал наши колонны. Было уже два часа пополудни. На вершине горы показалась новая партия, человек в двести, которая, рассыпавшись по гребню, усилила оборону перевала. Были ли то карачаевцы, прибывшие из дальних аулов, или же закубанские народы выслали им в помощь шайку своих отчаянных головорезов – об этом у нас не знали; но во всяком случае присутствие лишних двухсот винтовок не замедлило отразиться на самом ходе сражения. Ружейный огонь со стороны карачаевцев, хотя частый, но урывчатый, теперь превратился в батальный. Тем не менее авангард наш подавался вперед медленно, с расстановками, но неуклонно. Он мужественной настойчивостью завоевывал себе каждый шаг, и горцы должны были понять, что дело их проиграно, что через час, много через два, Карачаевский перевал – последняя опора их страны – будет в руках русских. Но надежда еще не покидала их. Они знали, что ожидает русских там, у самой вершины горы, и заранее представляли себе то смятение, в каком эти стройные колонны будут сброшены вниз и побегут, объятые паникой, а они будут преследовать их, – преследовать и рубить до самой подошвы горы.

Как ни труден был подъем, особенно для арьергарда, куда отправляли убитых и раненных, большая часть его была пройдена, оставалось немного – расстояние одного

ружейного выстрела, но на этом расстоянии и цепь, и колонны вдруг остановились. Произошло действительно нечто совершенно неожиданное. Гора вдруг вздрогнула, заходила ходуном, и сверху на головы атакующих войск обрушились громадные утесы, целые скалы и камни в сотни пудов. Все это, гудя, прыгая, дробясь на части и вздымая пыль, за которой нельзя было ничего разобрать, летело вниз с ужасающей силой. Несколько человек были буквально раздавлены; многие получили тяжелые ушибы или контузии. Каменный дождь действительно озадачил войска и произвел в них некоторое смтение. Наступила критическая минута экспедиции. Было уже поздно, солнце уходило за горы, вечерние сумерки быстро охватывали окрестность, а сражение оставалось еще сомнительным и не решенным.

Тогда Эмануэль, убедившись, что фронтальная атака горы невозможна, двинул свой последний резерв в обход неприятельского фланга. Это была рота егерей силой в восемьдесят штыков, под командой поручика Митцкевича. Обходное движение ее было, однако, замечено горцами. Егеря попали под сильный перекрестный огонь, но, несмотря на это, Митцкевич пробился до подножия высокого, отдельно стоящего холма, с которого можно было анфилировать неприятельскую позицию, — и взял его штурмом. Сильный огонь, открытый им во фланг неприятелю, расстроил карачаевцев. Горцы, сбрасывавшие камни, первые полетели вниз вместе с ними и устлали своими трупами весь скат горы. Неприятель отшатнулся от гребня, и каменный дождь остановился. В это мгновение в войсках раздалось «ура!» — и русские колонны вскочили на перевал. Карачаевцы не выдержали натиска и бросились бежать с криком: «Нет более Карачая! Нет более нашего отечества».

Стемнело, когда в воздухе пронеслось и замерло эхо последних выстрелов. Преследования не было. Неприятель, окутанный темнотой наступившей ночи, отступал по такой местности, где мы легко могли потерять плоды дорого доставшейся нам победы, если бы горцы опомнились и решились сделать ночное нападение. Генерал приказал ударить отбой. Этот сигнал, благодаря обстановке, среди которой он прозвучал, имел в себе нечто торжественное — им как бы закреплялся акт покорения карачаевцев.

Бой за обладание Карачаем длился ровно двенадцать часов. В семь часов утра раздалась первые выстрелы, и в семь часов вечера смолкли последние. В продолжении этих двенадцати часов с нашей стороны убито и ранено семь офицеров и сто пятьдесят шесть нижних чинов. Потеря значительная, — но с такими потерями можно мириться, когда они отвечают достигнутым результатам. Урон неприятеля в точности был не известен; но он не мог быть особенно значителен, так как все выгоды позиции во все моменты боя были на его стороне. Войска не трогались с поля битвы до следующего утра; они раскинули свой бивуак на той самой горе, на которой горцы никогда не надеялись видеть русских. Ночлег после дня, проведенного в непрерывном огне, не отличался особенными удобствами, да их никто и не требовал: небо, усеянное звездами, служило пологом, земля, обогреть кровью, — постелью, костры, сложенные из цельных сосен и елей, — ночниками. Утром к отряду присоединились все тяжести, и войска начали спускаться в долину Кубани, уже усеянную аулами. Этот спуск, продолжавшийся несколько часов, показал Эмануэлю, как благоразумно он поступил, не позволив преследовать бегущего неприятеля ночью. Эта была одна из тех дорог, по которым небезопасно двигаться даже днем в ясную

и сухую погоду. Она представляла из себя ломаные зигзаги, которые то обрывались в глубокие пропасти, то взбирались на отвесные скалы, или же вдруг пропадали и снова появлялись далеко в стороне от первоначального направления. Что случилось бы с нашими войсками, тяжело одетыми и тяжело обутыми, в темную ночь на такой неприступной и незнакомой местности. Сколько бы прибавилось к жертвам упорного боя новых жертв, погребенных среди скал и пропастей Карачая.

Солнце переступило за полдень, когда колонны спустились наконец к подошве перевала и, выстроившись в боевой порядок, двинулись вверх по Кубани. Они шли к аулу Карт-юрту – центральному селению, где находилась резиденция правителя Карачая Ислам-крым-шамхала, носившего титул валия.

Аул уже был в виду, когда из ворот его выступила депутация, во главе которой находился сам валий. Войска остановились. Валий подошел к Эмануэлю и сказал ему: «Генерал! Мы были до сих пор самыми верными приверженцами турецкого султана; но он изменил нам, оставил нас без защиты. Будьте же теперь вы нашими повелителями. Мы со своей стороны никогда не изменим нашему слову». Открытое, честное лицо валия, вся его представительная наружность, и в особенности его смелая, краткая речь произвели на всех приятное впечатление. Эмануэль, человек настолько же гуманный, насколько храбрый, обошелся с депутацией приветливо. Карачаевцы не были крамольниками; они были открытыми нашими врагами и как враги имели право укрывать у себя наших преступников. Экспедиция против них предпринята была не для усмирения, а для покорения их – как требовали того наши военные и политические соображения. Теперь дело покорения окончилось. Народ

в лице своего представителя просил пощады и давал обет неизменной верности. Генерал поспешил успокоить карачаевцев. «Меч, – сказал он, – отражен мечом; теперь вы встречаете меня с пальмовой ветвью мира, и мир даст вашему народу счастье и благоденствие, которых карачаевцы не знали до настоящего времени». Он приказал всем старшинам и муллам собраться к нему на другой день для переговоров. Депутация удалилась, а войска расположились лагерем возле самого аула. Кругом поставили цепь, которая охраняла как лагерь от покушений карачаевцев, так и карачаевский аул от каких-либо шалостей и насилий наших солдат. Ночь прошла спокойно. На другой день утром перед лагерной цепью собрались все карачаевские старшины, муллы и кадии; сюда же прибыл и сам правитель их Ислам-крым-шамхал. Когда на аванпостах от них отбирали оружие, никто не оказал ни малейшего сопротивления, но на лицах некоторых из них выразилось удивление и разочарование. Им невольно припомнилось одно из пророчеств турецких эмиссаров. Переводчик объяснил им, однако, что с оружием в русский лагерь никого не пропускают, но что они получают его обратно, когда будут возвращаться домой. Эмануэль принял депутацию перед своей ставкой так же ласково, как и накануне. Старшины первые обратились к нему с просьбой о принятии их в подданство России и в залог искренности своего заявления предложили аманатов из лучших фамилий.

Затем начались переговоры об условиях, на которых владычество России могло распространяться на карачаевское общество. Условия эти не были тяжелыми, особенно если принять во внимание, что рано или поздно карачаевцы должны были покориться в силу обстоятельств, тесно связанных с их экономическим бытом;

довольно сказать, что все зимние пастбища их находились у верховий Кумы, по реке Маре и по нижнему течению Теберды, то есть в таких местах, куда легко доставало русское оружие. Карачаевцы сохранили право носить оружие; самоуправление их оставлено было во всей его неприкосновенности, и даже претензии их к мусульманам, находившимся в русском подданстве, предоставлено было им разбирать по своим вековым адатам. Со своей стороны карачаевцы обязались: выдать всех пленных, вознаградить убытки, причиненные их набегами, не давать у себя убежища абрекам, беглецам и вообще людям вредным общественному спокойствию, а в случае появления на их земле больших неприятельских партий тотчас извещать об этом ближайших русских начальников. Затем поставлен был на очередь вопрос, сильно интересовавший народ, – вопрос о податях и повинностях. От податей они освобождались, а что касается повинностей, то они обязывались выставлять на время наших экспедиций только известное число конных, хорошо вооруженных всадников и давать подводы за условленную плату. Когда договор этот подписан был обеими сторонами, карачаевский валий и все почетные лица, муллы и кадии были приведены перед открытым Кораном к присяге на подданство. Момент был торжественный, – и с этого момента карачаевское общество навсегда присоединилось к русским владениям.

«А знаете что, генерал, – обратился к Эмануэлю валий, когда обряд присяги окончился, – если бы вы не нашли дороги к северным предгорьям Эльбруса, а избрали бы путь по Кубани, вы бы и до сих пор стояли еще у Каменного моста».

«Почтенный валий! – отвечал на это Эмануэль, – русские и от Каменного моста дошли бы до Карачая. Они

достигают цели, не обращая внимания на те препятствия, которые ставят им природа и люди».

Тем не менее замечание валия затронуло любопытство Эмануэля, и он решил исследовать на обратном пути все дороги, ведущие в Карачай и особенно путь от Каменного моста.

После роскошного завтрака, устроенного Эмануэлем в азиатском вкусе, депутация выехала из лагеря с самыми светлыми надеждами на будущее своей страны и с самыми восторженными отзывами о великодушии и приветливости генерала, прибывшего к ним с войсками. Рассказы их до того подействовали на жителей Карт-юрта, что они все высыпали из аула и буквально наводнили наш лагерь произведениями своего скромного хозяйства: сыром, яйцами, домашней птицей и в особенности барашками. Карачаевские барашки известны целому Кавказу своим особенно нежным и вкусным мясом. В этом случае Карачай может соперничать даже с известным островом Уайта, славящимся также барашками, мясо которых составляет гордость королевского стола в Англии. Между жителями Карт-юрта и нашими солдатами скоро установились самые дружеские отношения. Весь словарь кавказского солдата исчерпывался только словами: яман, якши, кушай, работай, тащи, сату и некоторыми другими; словарь карачаевцев оказывался еще беднее, а между тем и те, и другие, дополняя мимикой и выразительными жестами то, для чего не хватало слов, отлично понимали друг друга. Захочется, например, солдату достать яйцо – он пальцем правой руки чертит на левой ладони овал и в то же время кричит петухом. И его понимают: татарин смеется, кивает головой и бежит в саклю за яйцами.

После трехдневной стоянки в Карт-юрте войска возвратились назад к северным предгорьям Эльбруса и были

распущены: одни пошли в Кабарду, другие в Бургустан, а сам Эмануэль с небольшой частью пехоты и двумя сотнями линейных казаков предпринял экскурсию к Каменному мосту, чтобы обозреть прославленный своей неприступностью вход в карачаевскую теснину. И, действительно, то, что он увидел, вполне оправдывало название этой теснины: «Гибельный путь». Эмануэлю припомнились слова карачаевского валия, и он не нашел их преувеличенными.

«Термопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками, и оплот Карачаев у подошвы Эльбруса разрушен!» – этими словами начинается приказ Эмануэля от 30 октября 1828 года, возвестивший войскам и жителям о новом приобретении, сделанном Россией.

Покорение Карачая действительно составляет важную стадию в истории кавказской войны как первый шаг к замирению остальных закубанских народов. Общественное мнение того времени отнеслось к нему восторженно. Быстрота совершившегося факта изумила всех, и даже самих его участников. Употребить каких-нибудь двенадцать часов для овладения твердыней, которую Эмануэль назвал в своем приказе «Кавказскими термопилами», для этого мало быть кавказскими солдатами, нужно, чтобы во главе их стоял Эмануэль.

КАЗАКИ НА КАВКАЗЕ

1. ДОНСКИЕ ГУЛЕБЩИКИ

По правому берегу Дона, от устьев реки Аксая до границ нынешней Воронежской губернии, в глуши лесов, между болотами и топями были рассеяны небольшие казачьи городки, состоявшие из шалашей и землянок, наскоро обнесенных терновыми плетнями. Казаки заботились не о красоте своих жилищ, а об удобствах их для вечно боевого быта; они приноравливали их к тому, чтобы «не играл на них вражеский глаз», чтобы при нашествии татар их можно было бросать без сожаления.

«Пуškai, – говорили они, – бусурманы жгут наши городки, сколько угодно, мы выстроим новые, и скорее они устанут жечь, чем мы возобновим их».

И действительно, бусурманы то и дело нападали на Дон, внося с собой меч и опустошение, и начисто выжигали казачьи городки. При таких суровых условиях жизни, конечно, не могли не вырабатываться и действительно вырабатывались те замечательные типы, перед которыми останавливаешься с любопытством и изумлением. С течением времени и изменявшихся обстоятельств, создавших для казачьих станиц более мирное и спокойное существование, изменялось и казачество: беззаветная и дерзкая удаль, не исчезая совершенно, заменялась качествами более домовитыми. Но чтобы

понять историю русской колонизации на Кавказе и покорения края, необходимо обратиться к старинным временам и типам казачества.

Особенной известностью на Дону пользовались охотники, гулебщики, которых называли иногда словом «отвага». То были люди большей частью отпетые, которым не сиделось дома, которых так и тянуло, как говорит величайший из русских поэтов:

Вяч, Яюмяполеяпогуля2ь,я
 Се! ыхяу2окаптоЯ! еля2ь,я
 Рукуяп! авуюяпо2еш, 2ь,я
 Са! ац, нааявяполеяЯнеш, 2ь,я
 ИльябашкуяЯш, ! ок, хяплеча
 Уя2а2а! , наая2Ячь,я
 Ил, явы2! ав, 2ья, зялеЯя
 Пя2, го! Яюгояче! кеЯххя

Охотники этого рода охотились, очевидно, в то стародавнее время не на одних зверей, но не давали пощады и своим неприятелям. А к числу неприятелей казаки причисляли всех, с кого можно было снять зипун, почему их и называли иногда зипунниками. Даже Ермак Тимофеевич, Стенька Разин и другие крупные личности из казаков, сумевшие вписать свои имена на страницы истории, разгуливая по широкому раздолью матушки Волги, были тоже охотниками, «отвагой» в донском смысле, хотя из казаков никто и никогда не назвал бы их разбойниками. В старинной песне удалая ватага с некоторой гордостью говорит про себя:

Мыянеяво! ы,янея! азбойн, чк, ,я
 С2еньк, яРаз, нааямыя! аобо2н, чк, !ххя

Задумав «погулять», казак ни у кого не спрашивал на то позволения, а выходил в своей станице на сборное место к станичной избе и, кидая шапку вверх, восклицал: «Атаманы-молодцы, послушайте!.. Кто на сине море, на

Черное – поохотиться?.. На Кум-реку, на Кубань – ясырей добывать?.. На Волгу-матушку – рыбку ловить?.. Под Астрахань, на низовье – за добычей?.. В Сибирь – пушистых зверей пострелять?..»

Желающие в знак согласия также бросали свои шапки вверх и затем прямо шли во царев кабака, где вершили у них все дела и где за чаркой зелена вина они выбирали себе походного атамана. На такую охоту казаки обыкновенно выходили партиями, конными и пешими, и в пять, и в пятьдесят человек; ходили иногда и в одиночку, но то уже были характерники, умевшие подчас заговорить и свое, и вражеское оружие. Начнем с охотников в одиночку.

В числе последних могикиан Тихого Дона, знаменитых охотников-характерников, доживавших свой век в семидесятых годах прошлого столетия, был некто Иван Матвеевич Краснощеков, который может служить для нас настоящим представителем типа донских гулебщиков. То был богатырь, наводивший страх на целую Кубань своим появлением. Черкесы прозвали его Аксак, то есть «Хромой», – Краснощеков был ранен в ногу и оттого прихрамывал. Казаки слагали о нем песни, которые еще и поныне поются на Дону старинным и заунывным напевом. «Имя и подвиги Краснощекова, – говорит Киревский в своем известном сборнике народных песен, – встречаются как воспоминание и в песнях позднейших, сложенных после его смерти. Об этом крупном историческом лице мы доселе не имеем не только дельной монографии, но даже простого биографического очерка, а между тем это последний русский богатырь, с именем которого связаны последние наши былины; он, как герой, сопровождается песней с молодых лет до смерти – и после него не нашлось уже никого, кто бы вызвал в народе подобное былинное творчество».

Одна из донских легенд вот что рассказывает о Краснощекове. В его время был знаменитый, памятный донским казакам богатырь у горцев, по имени Овчар, любивший «поохотиться» не менее Краснощекова. Едва ли был среди казаков такой человек, который хладнокровно встретился бы с Овчаром. Но Краснощеков не сторонился его, а, напротив, искал с ним встречи. Не прочь был и Овчар встретиться с Краснощековым – оба богатыря хорошо знали друг друга по общей молве. Наконец они встретились. Блуждая однажды где-то далеко по-над самой Кубанью, ежеминутно рискуя своей головой, Краснощеков наехал на такого же одиноца, как и сам, и, догадавшись, с кем судьба привела его встретиться, начал «стеречься, чтобы не спустить с руки ясного сокола». Дело было под вечер в холодную и ненастную осень. Над самым обрывом крутого берега, под опушкой леса, облокотившись на руку, лежал закутанный в бурку Овчар и задумчиво смотрел, как синий огонек перебегал по тлеющим углям потухавшего костра. Так поэтично рисует его легенда. Казалось, он до того погрузился в это занятие, что не слышал даже свиста бури, а не то что приближения русского витязя. Но то было хитрое равнодушие. Опытный в своем ремесле джигит давно зачуял «зверя» и только не трогался с места, выжидая, чтобы даром не марать своей крымской винтовки. Краснощекову предстояло трудное и опасное дело: он знал, что ружье его «короткое», а у врага бьет далеко. Но так как податься назад было бы стыдно и «казачьей чести поруха», то он подумал, подумал и припал к земле. Тут хитрый казак выставил в стороне от себя свою шапку-туркменку, и едва она показалась, как пуля Овчара сбросила ее на землю. Аксак вскочил и, бросившись на Овчара, положил его на месте выстрелом из ружья в упор. Какую нужно было иметь хладнокровную и расчетливую смелость на

это по-видимому простое дело, мог бы сказать только казак, бывавший в вольных чужих степях, где разгуливал вольный черкес-богатырь, встреча с которым была равнозначна гибели. Оружие и резвый аргамак Овчара достались Краснощекову в добычу. Броневский, посетивший Дон в 1831 году, говорит, что порода этого жеребца сохранялась и тогда в лучших донских табунах и была известна под именем овчарской. Был ли то факт, или только свидетельство памяти народной о Краснощекове – сказать не сумеем.

Подобные подвиги служили для донцов простой забавой, но иногда они предпринимали поездки и с чисто коммерческими, промысловыми целями. В прибрежных камышах по Кубани водилось множество птиц и зверей, и партии казаков, выезжавшие с Дона, проводили на охоте по месяцу и более среди опасных встреч и приключений.

Есть следующая легенда о донских охотниках, приехавших однажды за Кубань на «полеванье». Легенда эта записана автором «Записок старого казака» Шпаковским в начале сороковых годов со слов очевидца, почти столетнего бабая (старика), князя Каплан-Гирей-Канокова. Она рассказывает следующее. В конце минувшего столетия, в то время, когда Суворов только что начал строить укрепления по правому берегу Кубани, партия гулебщиков расположилась табором на берегу Малого Зеленчука, и несколько человек из нее тотчас же отправились для осмотра окрестностей и мест, удобных для охоты. В то же время партия горцев, человек до полутораста, под предводительством отца князя Канокова, беспечно шла с верховий Зеленчука на Кубань для грабежа в русских пределах. До тридцати молодых черкесов, в числе которых был и сам рассказчик, князь Каплан-Гирей-Каноков, вздумали поджигитовать и незаметно ушли далеко вперед от партии. Один из джигитов, вскочив на высокий

курган, привычным взглядом окинул окрестность и заметил вдали пробиравшегося среди зарослей вершника в необыкновенной одежде, с длинной пикой и с винтовкой за плечами. Горец крикнул товарищей, и молодежь, окружившая со смехом всадника, потребовала, чтобы он слез с коня и, положив оружие, приблизился к ним. Делать было нечего. Мрачно взглянул казак на джигитов, злобно улыбнулся, медленно сполз с коня, снял с себя саблю, винтовку и кинжал, воткнул пику в землю и, накинув поводья на луку, подошел к ним. На вопрос по-ногайски, что им нужно, раздался дружный хохот... Неуклюжий охабень, высокая рысья шапка, надетые на неповоротливого по-видимому пеглевана (богатыря), его тупой взгляд из-под нависших бровей, грязное загорелое лицо так насмешили молодых людей, что они велели казaku взять оружие, сесть на коня и следовать за ними. Молча, истым увальнем вооружился богатырь и не сел, а взвалился на чалого маштака, такого же невзрачного и неуклюжего, как его хозяин и, казалось, едва передвигавшего ноги. Эта пародия на джигита вызвала новый взрыв хохота, и молодежь, потешаясь, заставила пленника джигитовать. Неуклюже согнувшись, размахивая руками и болтая ногами, тронулся казак вперед каким-то куцым скоком на своем вислоухом и понуром чалке. Вот он вытаскивает из нагалища длиннейшую винтовку. Грянул выстрел, и с ним чуть не свалился с коня олух, едва удержав в руках ружье. Все это опять было сделано так топорно, что молодые горцы помирали со смеху и принудили казака повторить скачку несколько раз, и каждый раз он отличался какой-нибудь особенной уродливостью движений и неловкостью.

Но пеглеван уже порядочно поразмял своего чалку и, ласково потрепав его по верблюжьей шее, сказал: «Ну, маштак, одолжил!.. Что тебе!» И вдруг молодежато

оправился он в седле, стройно и ловко уперлась нога его в стремя, стан выпрямился, конь наострил уши и гордо поднял свою горбоносую голову. Огонь сверкнул в глазах и коня и всадника; винтовка быстро и ловко оборотилась назад, грянул выстрел, и один из джигитов с простреленным лбом покатился без стопа и жизни на землю. Черкесы вспыхнули. Одни из них бросились к убитому, другие за казакom-великаном. Но чалка далеко уже унес не прежнего увальня, а лихого наездника, проворно на скаку заряжавшего винтовку. Вот конь приостановился, казак привстал на стременах, ловко оборотился, раздался, новый выстрел, и ближайший к казaku джигит, точно с такой же раной, как и первый, грянулся на землю. То была уже не случайность – этот меткий выстрел, а дерзкий вызов черкесам на смертный бой. Чувство злобной мести овладело горцами, и они бросились за пеглеваном. Но тот, в свою очередь, как бы потешаясь над ними, то исчезал стрелой из глаз, то останавливался, подпуская гнавшихся за ним на несколько шагов, и каждая новая пуля, посланная им, была вестником смерти для одного из горцев, и смерти все от той же раны между бровей, как будто для казака не было другой цели. Так уложил он семерых черкесов. Черкесы смутились. Перед ними, казалось, в образе казака-гиганта был Шайтан-Джахенем (адский дух). Они не осмеливались уже налетать на него, как прежде, и следили за ним издалека, пока он не навел их на охотничий табор. Тогда только уразумели джигиты, что за дьявол сыграл с ними злую шутку. Черкесы не хотели оставить заваренного с казаками дела. Молодежь отыскала свою партию и представила старому князю в таких заманчивых красках малочисленность казаков, легкость наживы, а главное – необходимость отомстить за смерть товарищей, что старый князь, забыв свою опытность, решился напасть на табор. Была лунная

ночь. В казачьем таборе тлел небольшой костер, и казалось, что, кроме коней и волов, в нем не было ни живой души. Горцы спешили и смело пошли к повозкам, но едва они приблизились шагов на пятнадцать, как из-за возов и сверху и снизу сверкнули огни, грянула дробь выстрелов, и около пятнадцати хищников покатались в предсмертных судорогах. Горцы, страшно гикнув, с выстрелами бросились к возам. Новый дружный залп отбросил их, опять устлав путь трупами. Тогда они, поднявшись на окрестные высоты, повторили атаку с разных сторон, но охотники, будто горные духи-невидимки, встречали их везде меткой винтовкой.

Заалел восток. Раннее осеннее солнце озарило окрестность. Старый князь, убедившись в невозможности одолеть засевших казаков, стал вне выстрелов и решил-ся на переговоры. Сев на коня, он с несколькими стариками-аксакалами подъехал к возам, имея белый флаг на джериде, и громко стал вызывать старшего. На одном возу поднялся исполинского роста казак в малахае, в высокой рысьей шапке и с длинной винтовкой в руке. Молодежь узнала в нем грозного всадника и, невольно попятившись, схватилась за оружие. Казак, не обращая на это никакого внимания, звучным, как труба, голосом спросил: «Какого черта вы хотите от нас?..»

Старый князь ответил, что желает вступить в переговоры. Дело скоро уладилось, и недавние враги расположились невдалеке от табора-крепости, а князь с несколькими старшинами повел приятельскую речь с пеглеваном. Этого пеглевана звали Баклан, и это имя глубоко запечатлелось в памяти князя Конокова. На Дону это прозвище принадлежало деду знаменитого кавказского генерала Якова Петровича Бакланова.

Встреча с охотниками-донцами расстроила черкесам набег на закубанские казачьи хутора. В партии их было

убитых и раненых до пятидесяти человек, в то время как из гулебщиков только шесть человек заплатились легкими ранами.

Недель через пять тяжело нагруженные возы с разным битым пушным зверем, кабанями, лосятиной и дичью потянулись за Егорлык, границу Донского войска, и прибыли благополучно домой, а горцы не только кончаковской партии, но и соседних аулов, долго после того не отваживались нападать даже на одиночных казаков-охотников.

Такова была донская «отвага», выходившая на гульбу и промыслы в вольные степи. Но характеристика донского казачьего быта была бы неполна без рассказа о том, как защищал казак свое родное гнездо, когда хищный ногаец и воинственный черкес приходили к нему жечь, убивать и полон полонить. Характерным примером такой защиты может служить «Донская быль» – вероятно, единственный появившийся в печати в одном старинном журнале рассказ о том, как бились и умирали казаки на порогах своих жилищ.

Шестнадцатого августа 1738 года в донской казачий городок Быстрянский прискакали двое испуганных всадников. «Валит на нас Касай-мурза с черкесской силой – видимо-невидимо!» – кричали они, торопясь в избу станичного атамана. Ударили «всполох», бежались к майдану станичники. Но – увь! – их было слишком мало, чтобы противостать тринадцатитысячному татарскому сборищу. Татары улучили время взять с Дона баранту за казачьи прогулки по Кубани: они проводали, что лучшие удалцы донские бьются в Крыму с турками, под рукой фельдмаршала Миниха, и нахлынули на их родину.

Между казаками шел шумный спор, как лучше «ухлебосолить» горцев, хотя бы и самим не пришлось

вернуться с кровавого пира. И вот, среди громкого казацкого говора раздался голос есаула: «Помолчите, помолчите, атаманы-молодцы!» Говор мгновенно затих, и казаки стали в кружок.

— Ну, атаманы-молодцы! — заговорил станичный атаман, опершись на свою насеку. — Застала нас зима в летнем платье. Теперь не час замышлять о шубе, надо подумать, как бы голытьбе выдержать морозы! Не учить, мне вас, атаманы-молодцы, как резаться с бусурманами — это дело казацкое, обычное. Но о том не смолчать мне, что всех-то нас теперь первой, второй — да и конец счету, татарской же силы сложилось по наши головы тысяч до тринадцати аль больше...

— Счет-то велик, — перебил его старшина Роба, — да цена в алтын. Касай-мурза громоздок ордой, а лихих узденей и джигитов у него всех по пальцам перечесть можно... Так не лучше ли не терять поры, залечь по концам городка и нажидать татар на дуло? А там, гляди, и войсковой атаман наш, Данило Ефремович*, с войском помогу подаст. А нет — то лучше голова с плеч, чем живые ноги в кандалы!

— То-то вот — голова с плеч!.. — в раздумьи проговорил атаман. — Оно статно, что за плохой укрепой, какова в нашем городке, долго не усидишь. Головы казакам складывать не диковина, да какова про мертвых в Войске речь пройдет. Наша вина, что мы за-добра-ума не перебрались из городка в крепость — вот о чем думать надобно.

И казаки серьезно задумались. Припомнилось им, как намеренно впустили они в свой городок какого-то казака-проходимца, который прикинулся посланцем от атамана яицкого с вестью, будто бы-де Дундук Омбо со своими

* Д. Еф. Ефремов был войсковым атаманом с четырнадцатого марта 1738 года.

калмыками да с казаками яицкими и терскими всю Кубанскую орду погромил и что-де орде уже не в силу нынешним годом подняться на их донские городки. Слушали тогда казаки рассказчика-краснобая, а он все разглядывал, выведывал, высчитывал, и стало потом уже несомненно, что то был совсем не яицкий казак, а некрасовец, подсылный Касай-мурзы — прах бы его побрал!

Припомнив такое обстоятельство, казаки стали перекоряться друг с другом, кто был такому делу заводчик, как вдруг вышел из толпы старый седой казак Булатов.

— Не под статью нам теперь, атаманы, — сказал он, — смутные заводы заводить, когда того и гляди татарская сила накроет наш городок. Рассудимся после. К вечеру, может, припадет нам в новоселье скочевать — в матушку сырую землю; там будет каждому расправа начистоту. Подумаем о другом. Ведь делу нашему конец и теперь виден: помощи ожидать неоткуда, живыми отдаться стыдно, да и не за обычаем, а пока у нас шашки и ружья есть, порох есть, и головы на плечах, надобно биться — вот и все тут! Давайте-ка поделимся на десятки да раскинем умом-разумом, где кому засесть в концах городка. Я примерно покладаю вот как: Афанасию Меркуловичу (он указал на Робу) — быть, на коне с конными и сначала выскакать за городок; мне, Булатову, — в передовых лежать на валу; Михаилу Ивановичу (он указал на казака Кургана) — по базам и загородам сесть, а тебе, атаману, — оставаться с подможными недалеко от боя и быть надо всеми старшим. Ну, станичники, как присудите, пригадаете?

— Быть по-твоему! — закричали многие.

— К делу — речь! — подтвердили другие.

— Дай Бог добрый час! — заговорили казаки в один голос.

– Пойдем же, станичники, – продолжал Булатов, – засядем и будем стрелять, куда мочь возьмет. Авось-либо (Булатов перекрестился) Божьей милостью, да государским счастьем нашей матушки-царицы и казацким молодечеством отсидимся от бусурманского приступа! А нет – Его святая воля!

Едва только успели казаки занять назначенные им места, как татары хлынули на городок. Застонала земля, началась баталия.

– Эге! Пожар в городке! Тушите, бабы! – крикнул атаман, и последний резерв вместе с ним устремился к месту боя.

Два сильных татарских приступа быстрянцы отразили успешно, воодушевляясь надеждой, что поисковой атаман Ефремов вот-вот нападет на черкесов с тылу и спасет их от гибели. Но при третьем натиске, потеряв большую половину своей дружины, казаки не могли уже остановить татар и уступили им место битвы. Свирепые закубанцы, как бурный поток, разорвали ряды казаков и с оглушающим криком: «Гайда, алдын-джур (вперед)!» – кинулись в их жилища и зажгли несколько куреней.

Жадный огонь мгновенно разнесся и охватил весь городок... К вечеру татары, обремененные добычей и полоном, ушли, оставя за собой кровавые следы.

Настала ночь. Пламя несло к темному беззвездному небу вместе со стоном раненых и умирающих. На окрестных полях бродили оседланные кони и распуганные стада без хозяев. Взошло, как и всегда восходит, красное солнце, но на этот раз оно осветило, вместо грозного быстрянского городка и его витязей, молчаливые развалины и кучи пепла, который разносился ветром и заметал покойников.

Булатов, подавший первый голос за защиту городка, погиб со всей семьей. С окровавленными сединами,

раскинувшись на горячей золе своего куреня, спал он непробудным вековечным сном. Возле него умирали старая жена его, Нефедьевна, и меньшой внук, а старший, молодой и brave казак, метался в предсмертной агонии на майдановской площади: у него отрублены были обе руки в то время, когда он хотел вырвать у татарина страшный аркан, захлестнувший его невесту.

С переносом нашей границы на Кубань и с уничтожением силы татар, скитавшихся между Кубанью и Доном, подобные сцены стали уже немыслимы. Самый быт донцов изменился. Вечная брань их с врагами прекратилась, и беспрестанные поголовные ополчения стали редки. И если этим нанесен был удар их удалой рыцарской жизни, зато станицы, никем не тревожимые, скоро процветали довольством и благосостоянием. Земледельцы во время работ не имели уже нужды в прикрытиях, задонские посты были сняты; пушки, стоявшие на бастионах Черкаска, никогда не заряжались, и Тихий Дон вполне стал тихим. После вековой непрерывной брани, вносившей шум и движение на его берега, он, по выражению поэта, «задремал, как старец, утомленный многолетними боевыми трудами».

2. ПОХОДНЫЙ АТАМАН ИЛОВАЙСКИЙ

Походный атаман донских казачьих полков на Кавказе, генерал-лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский, участвовавший в Джеванбулакском бою, был одной из замечательнейших личностей, выдвинувшихся в предыдущую эпоху великих европейских войн. Как ни было незначительно его личное участие в походах Паскевича, но то влияние, которое он имел на донцов как ветеран наполеоновских войн и как один из лучших представителей казачьей славы, — доставляло ему не только первенствующее место среди генералов, окружавших главнокомандующего, но и весьма деятельную, хотя и не бросающуюся в глаза роль в тогдашних событиях. Фамилия Иловайских пользовалась на Дону уже давно всеобщей и заслуженной известностью. Прадед Василия Дмитриевича, Мокей Осипович, уже жалован золотым ковшом с царским гербом, а дед его, Иван Мокеевич, сделался даже легендарной личностью вследствие одного обстоятельства, о котором семейная хроника Иловайских рассказывает следующее.

В царствование Екатерины II Иван Мокеевич, будучи войсковым старшиной, ходил с полком на Кубань и там, в одной из схваток с черкесами, был взят в плен и продан в Снеговые горы. Ни увещания, ни угрозы горцев не могли

склонить его к перемене веры и к женитьбе на черкешенке. Два раза пытался он оттуда бежать, и оба раза неудачно: горцы его ловили. И так как с каждым разом житье его становилось все хуже и хуже, то он наконец примирился со своей судьбой и перестал мечтать о возвращении на родину. Так прошло семь лет. Однажды, это было в августе, накануне праздника явленного образа Костромской Божьей Матери, — заснул он подле стада, которое пас, и вот, в сонном видении, предстала перед ним Богоматерь, которая вручила ему свой тропарь и благословила его возвратиться на родину.

Проснувшись, Иловайский с удивлением увидел, что читает наизусть молитву, которой прежде не знал и в которой часто упоминался совсем неведомый ему «град Кострома». Чудесное событие его изумило. Но страх отважиться на новый побег заставил его пренебречь этой помощью свыше. Между тем на следующую ночь видение опять повторилось, и на этот раз Божья Матерь предстала перед ним с упреком за его сомнение в ее святой защите. Тогда Иловайский бежал. Несколько раз, уже настигаемый горцами, он скрывался от них то на вершинах деревьев, то в старых дуплах, то в высокой траве. Когда погоня, не найдя его, возвращалась назад, он шел опять, продолжая читать тропарь и направляя свой путь лишь по небесным светилам. Так шел он, не встретив на расстоянии семисот верст ни одного жилья и питаясь в пути только корнями трав да древесными листьями. Наконец он добрался до Дона и прибыл в Черкасск. Там, прежде чем войти в свой дом, обошел он все городские церкви и в каждой отслужил молебен за свое спасение. Беседуя с одним из священников, он узнал, что в Костроме находится явленный образ Божьей Матери, и на другой же день, повидавшись только с семьей, отправился туда пешком. Там заказал он снимок

с чудотворного лика и обложил его ризой, откованной из чистого золота. С тех пор эта икона хранится семейной святыней в роде Иловайских, а самое происшествие записано в числе чудес в костромской соборной церкви.

Сын Ивана Мокоеевича, Дмитрий Иванович, впоследствии был генералом от кавалерии и наказным атаманом донского казачьего войска. Он дал хорошее образование всем своим семи сыновьям, из которых Василий Дмитриевич, родившийся в 1785 году, воспитывался во втором кадетском корпусе, откуда, семнадцати лет от роду, и выпущен был на службу есаулом.

Полк, в который поступил молодой Иловайский, содержал тогда кордонную линию по берегу Немана, а затем участвовал в Фридландском походе, где донцы впервые создали себе европейскую славу. «Прибытие Платова с его казачьими полками к армии, — доносил тогда Беннигсен, — есть истинная гибель для наших противников». Казаки, привыкшие к азиатскому образу действий, действительно, окружали врага своими мелкими партиями, бились с ним днем, не давали покоя ночью, расстраивали все его предприятия и лишали возможности продовольствоваться местными средствами края. Это была малая война, доведенная донцами до самых широких размеров. Сам Платов в письме своем к императрице говорит, что именно этой войне он был обязан тем, «что преизрядно шпиговал французов и брал у них в плен много их дерзких штаб и обер-офицеров... а сколько, — наивно прибавляет атаман, — я и счет потерял, знает про то главнокомандующий армией, которому я их доставлял»...

Участвуя со своей сотней во всех этих наездах, молодой Иловайский обратил на себя внимание знаменитого атамана, который исходатайствовал ему золотую саблю «За храбрость» и, воспользовавшись случаем, представил его в Тильзите императору Александру I. Нужно сказать,

что в этой войне, кроме Василия Дмитриевича, находились и все остальные его братья; и вот государь, призвав к себе всех семерых Иловайских, представил их прусскому королю, говоря: «Вот как у меня служат донцы: семь сыновей у отца — и все они здесь налицо»*.

Когда окончилась война на западной границе, Иловайский назначен был командиром казачьего полка и отправился с ним в Молдавскую армию. Там он участвовал с князем Прозоровским в битвах под Браиловом, с Багратионом — под Мачином, Гирсовом, Силистрией и Россеватом, с Каменским — при Пазарджике, Шумле и Батыне, с Кутузовым — под Рушуком и, наконец, в последнем блистательном бою 2 октября 1811 года, достойно закончившем собой пятилетние кровавые походы в Турцию.

Кампания 1811 года началась наступлением турок, которые, под личным предводительством верховного визиря, перешли Дунай и стали на левом берегу его, почти в виду нашей армии, собранной под Журжей. Удачная переправа через Дунай и взятие русского знамени исполнили врагов необычайной самоуверенностью. Вся Турция предалась безумным ликованиям и празднествам; все славил имя великого визиря, и султан из Царьграда прислал ему и пашам богатые награды. Но радость и ликования эти были преждевременны. Как только переправа окончилась, Кутузов приказал генералу Маркову скрытно переправиться через Дунай на турецкую сторону и взять визирьский стан, оставленный турками на том берегу, под охраной значительного корпуса. Там, посреди этого стана, который турки звали императорским, возвышался огромный разноцветный шатер великого визиря, с его несметными богатствами,

* Из числа семи братьев Иловайских трое, Иван Дмитриевич, Василий Дмитриевич и Павел Дмитриевич, имели впоследствии Георгия 3-го класса, а Григорий Дмитриевич — 4-ой степени.

и раскинуты были шелковые палатки министров; а кругом стояли табуны верблюдов и были нагромождены богатые товары, навезенные купцами из разных стран и земель Востока. Все это предназначалось теперь в добычу отважному корпусу, который, по взятии стана, должен был водрузить на месте его свои батареи и, таким образом, поставить турецкую армию между двумя огнями.

В глухую, безлунную ночь, освещаемую только зловещей кометой, считавшейся предвестницей войны двенадцатого года, войска подошли к переправе. Пока пехота рассаживалась в лодки, Иловайский с двумя казачьими полками кинулся в Дунай и вплавь достиг противоположного берега. Не теряя ни минуты, казаки во весь опор понеслись к Рушуку, на визирьский стан, и прежде чем турки успели сообразить в чем дело, донцы ворвались уже в лагерь и взяли девять орудий, двенадцать знамен и ставку великого визиря*. Ужас овладел турецким отрядом, и двадцать тысяч людей, пораженных паникой, бросились бежать по дорогам к Рушуку, Разграду и Силистрии. Подоспевшая пехота поставила свои батареи на правом берегу Дуная и принялась громить верховного визиря с тыла...

Таким образом главная турецкая армия очутилась вдруг отрезанной от всех своих сообщений и шесть недель должна была претерпевать все бедствия самой строгой осады. Голод, снег и морозы породили между турками повальные болезни и сильную смертность. Все лошади пали или были съедены. Несчастные мусульмане стали питаться падалью и, не имея дров, оставались под покровом холодного, сурового неба. «Лагерь их, – говорит очевидец, – являл совершенное подобие острова, окруженного морем и ежечасно угрожаемого потоплением».

* Ставка великого визиря отправлена была в дар государю императору.

Наконец великий визирь, которому грозила неминуемая личная гибель, в ночь на 3 ноября, покинул стан и бежал в Рушук один, на рыбацкой лодке. После его бегства войска держались недолго, – и в половине ноября жалкие остатки этой армии, уменьшившейся с тридцати до двенадцати, положили оружие. Война окончилась, и полк Иловайского получил приказание возвратиться в Россию.

Таким образом, в течение трех лет, проведенных в Турции, Иловайский, можно сказать, не выходил из боя. Кроме трофеев, добытых в визирьском стане, его казаки отбили у турок одновременно восемь орудий, шестнадцать знамен и доставили храброму своему командиру чины подполковника и полковника, георгиевский крест в петлицу, Анну и Владимира на шею.

Когда началась отечественная война, полк Иловайского стоял на Волыни, в составе второй западной армии, и вместе с ней отступал к Смоленску. На пути, около Мира, присоединился к армии Платов со значительным числом казачьих полков. Здесь-то, в окрестностях этого местечка, произошло первое горячее кавалерийское дело с французами.

27 июня сильный отряд французской конницы двигался по дороге к деревне Романовой. Впереди всех шли польские уланы, под начальством отважного Рознецкого, который самоуверенно обещал в тот день королю Иерониму хорошо проучить казаков, чтобы отбить у них охоту тревожить французские бивуаки. Привыкнув видеть их всегда отступавшими, Рознецкий неосторожно отделился со своим полком далеко от авангарда, и не заметил, как казаки, ехавшие до этого вразброд, вдруг сдвинулись в лаву, гикнули и в одно мгновение охватили полк... Пока французы принесли на выручку, уланы Рознецкого были уничтожены в буквальном смысле слова: из восьмисот человек – пятьсот, вместе с храбрым

своим командиром, легли на месте под казацкими дротиками, а триста с восемнадцатью офицерами были захвачены в плен. Новая атака французской кавалерии также не имела успеха и кончилась тем, что два храбрейшие полка, шассеры и конно-гренадеры, были истреблены «на прах», как выражается Платов в своем донесении.

Бой у Романовой замечателен тем, что наводит самих Французов на грустные размышления по поводу их кавалерии в сравнении с нашими казаками.

«Не правда ли, — говорит французский генерал Моран, — какое чудное зрелище представляла собой наша кавалерия, когда, блистая при лучах июньского солнца золотом и сталью, она гордо развертывала свои стройные линии на берегу Немана? Но какое горькое воспоминание оставили по себе те бесполезные, истощавшие ее маневрирования, которые она должна была употреблять против казаков, прежде презираемых, но сделавших для спасения России более, чем сделали все ее регулярные армии...

Каждый день видели их в виде огромной завесы, покрывавшей горизонт, от которой отделялись смелые наездники и подъезжали к самым нашим рядам. Мы развертывались, смело кидались в атаку и совершенно уже настигали их линии, но они пропадали как сон, и на месте их видны были только голые березы и сосны. По происшествии часа, когда мы начинали кормить лошадей, черная линия казаков снова показывалась на горизонте и снова угрожала нам своим нападением; мы повторяли тот же маневр и по-прежнему не имели успеха...

Таким образом самая лучшая, самая храбрая кавалерия, какую только когда-нибудь видели, была измучена и изнурена людьми, которых она считала недостойными себя, но которые тем не менее были истинными освободителями своего отечества. И эти люди возвратились

на Дон с добычей и славой, а мы оставили Россию, покрытую костями и оружием своих непобедимых воинов».

Вскоре после этого дела, когда наши армии приблизились к Смоленску, главнокомандующий образовал особый летучий отряд барона Винценгероде, в состав которого вошел, между прочим, и полк Иловайского. Винценгероде должен был прикрывать Санкт-Петербургский тракт и не давать французам возможности распространять свои действия вглубь русской земли.

Неотступно, и шаг за шагом следя за неприятелем, Винценгероде дошел до Москвы и стал от нее в двух переходах по петербургской дороге. Авангард его, под командой Иловайского, был выдвинут еще вперед и расположился у Чашникова. Таким образом, стоя ближе всех к неприятелю, Иловайский лучше других знал бедственное положение великой армии, и через него император получал самые первые и свежие известия обо всем, что происходило в несчастной столице. Лихие казаки его, с каждым днем становясь смелее и смелее, окружили Москву тонкой, непроницаемой цепью своих одиночных разъездов, врываются даже в самый город, ловили курьеров, перехватывали почты и каждый день приводили по несколько десятков пленных. От этих пленных Иловайский узнал однажды, что в деревню Химки прибыл значительный французский отряд. Собрав своих казаков, ночью 14 сентября; он внезапно, на самом рассвете, напал на французов, разбил их наголову и взял до трехсот человек в плен. Эта первая победа, бывшая, так сказать, предвестницей тарутинского боя, доставила Иловайскому чин генерал-майора и особое благоволение императора.

7 октября французы наконец оставили Москву. Иловайский первым вошел в нее через Тверскую заставу, — и здесь-то, между заставой и Петровским дворцом, произошло его горячее кавалерийское дело с полутора-

тысячной венгерской конницей. Казаки смело атаковали противников, и в то время, когда венгры показали тыл, дорогу им заступила целая толпа мужиков, вооруженных топорами, косами и всем, что ни попало под руки. Произошло ужасное кровопролитие, и только остатки гордых венгерских гусар укрылись в кремле, где поспешили запереть ворота.

«Я был очевидцем этого боя, – писал Винценгероде императору Александру, – и не могу довольно нахвалиться искусством и мужеством генерала Иловайского, который распоряжался своими казачьими полками так, что, несмотря на громадное превосходство неприятеля в силах, обратил его в бегство и полонил у него шестьдесят два человека».

«Привыкнув считать всегда венгерскую конницу первой в мире, – говорил впоследствии Винценгероде, – я после атаки Иловайского должен сознаться, что наши донцы превосходят даже и венгерских гусар».

От ворот разоренной Москвы и вплоть до пепелища Смоленска, отряд Винценгероде, перешедший под начальство генерал-адъютанта Кутузова, неотступно сидел на плечах французов, и Иловайский по-прежнему командовал у него авангардом. Последнее дело в отечественную войну произошло 4 декабря у Ковно, где Иловайский, вместе с другими казачьими полками Платова, разбил и уничтожил последние остатки великой армии, находившейся под командой маршала Нея. «А с нашей стороны, – доносил главнокомандующему Платов, – урон при сем не велик, и ему в Донском войске ведется домашний счет».

С переходом в Германию, Иловайский продолжал по-прежнему командовать казачьими полками и вместе с ними участвовал в делах под Люценом, Бауценом, Дрезденом и Кульмом. В последнем сражении, преследуя

бегущих французов, Иловайский взял в плен генерала Гано со значительным отрядом и восьмью орудиями; но, главное, на долю его казаков выпала в этот день завидная участь овладеть особой самого Вандама, о чем один из очевидцев рассказывает следующим образом:

«Когда по войскам пронеслось слово «победа» и громкое «ура!» огласило воздух, в это самое время из-за опушки леса выскочила толпа всадников, на которых можно было различить французские мундиры. Впереди всех, на тяжелом боевом коне неслась тучная фигура французского генерала в расстегнутом нараспашку сюртуке... Два казачьих офицера с пиками наперерез бросились к нему навстречу и до того напугали его своим внезапным появлением, что он охрипшим голосом начал кричать: «Русский генерал, спасите меня!» Казаки остановились и без труда обезоружили его и всю его свиту».

Так очутился в наших руках маршал Вандам, – тот, который за пятнадцать лет перед этим, в Голландии, сулил сто луидоров тому, кто приведет к нему живым хотя одного казака, с тем, чтобы иметь удовольствие его расстрелять. Судьба жестоко отплатила ему за это намерение и передала его самого в руки ненавистных ему казаков. Эти два лихие донца были из полка Иловайского – есаул Бирюков и хорунжий Александров, которым главнокомандующий тут же, на самом поле сражения, пожаловал особые награды. Иловайскому государь назначил сам анненскую ленту, а затем, 6 октября, после Лейпцигской битвы, позвал его к себе и сказал:

– Наполеон разбит наголову и должен отступать в большом беспорядке. Опереди неприятельскую армию, ступай у нее в авангарде, разрушай мосты, гати, словом, наноси ей всевозможный вред... Но где же ты переправишься через реку? – быстро прибавил император. – Мост в Лейпциге занят неприятелем.

– Государь! – отвечал Иловайский. – Казакам река не преграда: переправимся вплавь.

Поблагодарив Иловайского, государь взял его за руку и подвел к фельдмаршалу князю Шварценбергу, предлагая дать ему надлежащие наставления.

– Ваше величество избрали Иловайского, – отвечал Шварценберг, – и мне остается только ожидать успеха.

Такой же точно ответ дал и король Прусский.

С этих пор начинается для Иловайского длинный ряд трудовых, бессонных ночей, в седле, без отдыха и часто даже без пищи. Он шел, действительно, впереди французов, зорко выслеживая движение их авангарда, и затем, куда ни обращался последний, он находил везде мосты уничтоженными, дороги испорченными, гати разрушенными...

12 октября, в туманный и ненастный день, приближаясь к городу Веймару, Иловайский услышал впереди сильнейшую ружейную перестрелку. Это его озадачило. Посланные туда казаки прискакали с известием, что конный французский отряд ворвался в город и на улицах идет ожесточенная рубка с казаками Платова, поспешившими туда прежде Иловайского. Иловайский тотчас повел свой отряд маршем и подоспел как раз вовремя, чтобы довершить поражение французов. От пленных узнали, что летучий французский отряд имел повеление Наполеона захватить со всем семейством великого герцога Веймарского, соединенного тесными узами родства и дружбы с русским государем.

Бой на улицах Веймара, поражение французской дивизии генерала Фурнье, разгром Мармона, битва при Ганау, занятие Франкфурта – следовали быстро одно за другим и доставили нашим казакам более шести тысяч пленных. Во Франкфурте-на-Майне Иловайский дождался прибытия императора Александра, и когда, в числе других генералов, явился во дворец, – начальник главного штаба,

князь Волконский, отозвал его в сторону и сказал: «Государю угодно, чтобы вы сейчас же надели свой георгиевский крест вместо петлицы на шею»... Иловайский не успел исполнить этого приказания, как в комнату вошел император и, подойдя прямо к Иловайскому, сказал: «Поздравляю тебя с Георгием 3-го класса». В тот же самый день ему пожалованы были золотая, осыпанная бриллиантами, сабля с надписью: «За храбрость», прусский орден Красного Орла и австрийский – Св. Леопольда.

Участие Иловайского в кампании 1814 года, и особенно бой под Фер-Шампенуазом, где он с казачьими полками, на глазах государя, врезался в неприятельскую колонну и взял до тысячи пленных, – опять доставили ему алмазные знаки ордена св. Анны 1-ой степени и Владимира 2-го класса. По взятии Парижа, император принял его отдельно от других генералов в своем кабинете; находившийся в то время у государя цесаревич Константин Павлович, шутя, заметил при этом, «что Иловайский хотя по номеру двенадцатый, но из дюжинных».

Возвратившись с берегов Сены на Дон, Иловайский прожил несколько лет на отдыхе, среди своей родни, окруженный общим почетом. Изображение его можно было встретить в то время почти повсеместно, во всех уголках нашего обширного отечества, на тех немудрых лубочных картинах, которые так любы нашему простолюдину и в былое время украшали собой и хоромы купца, и курную избу простого крестьянина. «А вот извольте посмотреть, – говорит Федотов словами раечника, –

Тамяже, яная! авойя! оне, я
Иловай! Я, йяная конеж
Казацк, йяхлопч, кя
Ф! анцузовя! опче 2xxx» я

И кому из нас в ребяческие годы не приходилось видеть на этих лубочных картинах изображение моло-

дого казацкого генерала, неистово скачущего по головам французской пехоты. Под ним лаконичная надпись: «Храбрый генерал Иловайский».

Проведя несколько лет в бездействии, Иловайский назначен был походным атаманом донских казачьих полков на Кавказе и в этом звании много содействовал Ермолову в устройстве и улучшении казачьего быта, который он знал в совершенстве. Нужно сказать, что донские казаки не пользовались в то время особенным почетом со стороны кавказских наездников. Почему могли измениться, в такой сравнительно короткий промежуток времени, те самые донцы, которые служили в конце минувшего столетия грозой для прикубанских черкесов и еще недавно, в наполеоновские войны, стяжали себе громкую европейскую славу, — на это существовало много причин, и как на одну из главнейших указывают обыкновенно на кратковременность службы их на Линии и в Грузии.

Исторические обстоятельства, выдвинувшие донцов в начале минувшего века на новый пограничный театр военных действий — на Кубань, поставили их лицом к лицу со всеми силами кубанских и терских татар. По десяти и более лет не сходили тогда полки с порубежной линии, — и трудно было сравниться кому-нибудь с этими закаленными в боях ветеранами. Но насколько крепились, развивались и выигрывали от этого боевые качества войска, настолько же, если еще не более, падали экономические силы донской земли, годами лежавшей без обработки за недостатком рук, оторванных от нее вечной войной и службой. И вот, когда к России присоединилась Грузия и наряд донских полков значительно еще увеличился, — признано было необходимым сменять донские полки на Кавказе через каждые два года. Сделано было это, конечно, в видах облегчения домашнего быта донцов, — но результаты вышли совсем не те, которые ожидались.

Едва полк приходил в чужую, незнакомую сторону, как казаки разбрасывались по отдельным постам, где попадали под начальство чужих офицеров, мало интересовавшихся их нуждами. Донским офицерам не поручалось ничего по той понятной причине, что они в новом для них крае ничего не знали — ни местности, ни свойств неприятеля. Предоставленные самим себе, без забот о них ближайшего начальства, казаки сразу попадали в такую обстановку, при которой каждый неверный шаг оплачивался с их стороны тяжелыми потерями и кровью.

Десятками ложились они в одиночных боях с врагом, к которому не успели еще приглядеться, сотнями погибали от климатических условий, ломавших самые крепкие железные натуры, — и, таким образом, на глазах у всех исчезла и падала боевая казацкая сила. Когда же наконец приобреталась казаками некоторая опытность и люди малопомалу акклиматизировались, приходила смена, — и начиналась та же история, так как на сцене опять являлись неопытные, не знающие края люди старые же полки возвращались на Дон иногда в двух, и много-много в трехсотенном составе, — да и те приходили к домашнему очагу уже надломленные грузинскими лихорадками, от которых незаметно таяли и сходили в преждевременную могилу уже на родной стороне.

Тому, кто пожелал бы ознакомиться с нравственным состоянием духа тогдашних донцов на Кавказе, стоит проследить только их исторические песни, слагавшиеся, как говорит народ, «не ради забавы, а в назидание и поучение». С беспощадной иронией, в картинах безотрадных и грустных рисуется в них жизнь, которая встречала казаков «на Линии-Линеюшке, на распроклятой шельме грузинской сторонушке», откуда обыкновенно никто из них уже не чаял себе и выхода. Песни эти были дороги народу, как памятники старины, и их можно было слышать

всюду, где только были казаки; но надо сознаться, что они запугивали воображение новичков целым рядом печальных и грустных сцен, ожидавших их в будущем, и мало способствовали развитию в них необходимой бодрости и смелости духа. И тени нет в этих песнях того широкого разгула, которым дышали песни минувшего века, времен «донских гулебщиков». И это понятно, потому что здесь было уже «не охочее гулянье», а тяжелый наряд, отбывание службы:

Ох! ~~Зы~~ ~~А~~ужбаянашаянужная,
 С! ~~о~~! она! ~~!~~ уз, н! ~~А~~кая,я
 Надоелая ~~З~~ыянам,я ~~А~~ужба,янадокуч, ла,я
 Доб! ~~ых~~ ~~ж~~ ~~о~~ней ~~п~~озамуч, ла ~~ххх~~

Но замучивала она не одних только коней, а и самих добрых молодцев:

Ах! ~~З~~ы,яшельма,язлодеюшка! уз, н! ~~А~~кая ~~!~~ ~~о~~! она! ~~ж~~
 Ах! ~~З~~ы,яшельма,я! уз, н! ~~А~~кая ~~!~~ ~~о~~! она,я
 Безяве! ~~!~~ ая, ябезяв, х! яя, ~~!~~ ~~у~~ш, лаямолодца ~~ххх~~

И «лиха-чужа сторонущка» не выходила из головы. «Урядники, на линию!» – гремит, бывало, команда, – рассказывает Савельев, – а простодушные станичники боязливо вздрагивают, потому что они не знают никакой другой линии, кроме «Линии-Линеюшки, распрюклятой сторонущки».

Воспоминания о подвигах донцов на Кавказе в минувшем столетии, подвигах, составлявших такой контраст с настоящим, невольно связывалось с представлением о долгой безудтанной службе прежних казаков, и превосходство закаленных в боях ветеранов перед новыми выделялось в сознании всех тем с большей резкостью. А к этому прибавились еще и другие обстоятельства. Ряд войн, ознаменовавших первое десятилетие царствования императора Александра, потом нашествие французов, потребовавшее от Дона чрезвычайных вооружений, заста-

вившее сесть на коня всю наличную боевую силу его, даже отставных и недорослей, затем опять три года непрерывных заграничных походов и, наконец, громадный расход казаков на содержание кордонов внутри империи по всему протяжению границы от Ботнического залива до Турции, – ослабили Донское войско так, что в начале 1816 года уже нечем было сменить донские полки, стоявшие на Кавказе.

И вот, чтобы облегчить службу донцов, является мысль вовсе не наряжать их ни в Грузию, ни на Кавказскую линию, оставив оборону тамошнего края исключительно на местном линейном казачестве. Кавказская Линия, сверх старых своих казаков, сидевших по Тереку, имела уже и новых, заселявших Кубань и образовавшихся опять из тех же донцов и частью из екатеринославцев. Могло казаться с окончанием войн, что этих казаков достаточно не только для содержания линий по Кубани, Малке и Тереку, но что они могли бы высылать от себя части и в Грузию. Так, по крайней мере, разрешили этот вопрос, согласно с желанием донского атамана, в Петербурге. Ртищев, бывший тогда главнокомандующим в Грузии, не пытался даже представить дело в истинном его положении и тотчас отпустил на родину шесть донских казачьих полков, а вместо них вызвал на службу линейцев.

В таком положении были дела, когда на Кавказ приехал Ермолов. Проницательным оком оценил новый главнокомандующий всю нецелесообразность подобной меры, и одним из первых его распоряжений было приостановить исполнение высочайшей воли. Четыре донские полка, из числа ушедших на Дон, тотчас были возвращены им назад, и Ермолов писал государю, что служба их на Кавказе необходима, что линейное войско находится в положении несравненно худшем, нежели Донское, что даже в 1812 году, когда на Дону было поголовное

вооружение, у донцов не было на службе ни одного казака моложе семнадцати лет, тогда как в линейных полках, напротив, нет ни одного шестнадцатилетнего, который находился бы дома – все на службе, и в станицах остаются только женщины, дети и старики, уже не могущие работать; что нередко выходит на службу отец с двумя и тремя сыновьями, продается имущество, чтобы купить вооружение, которого не хватает на все число служащих казаков, рабочий скот выменивается у горцев на коней, – и многие семьи приходят в совершенное разорение. Конвой линейных казаков, встретивший Ермолова на самом рубеже Кавказа, действительно, произвел на него самое тяжелое впечатление. «Всегда, – говорит он, – отличались они от всех прочих казаков особенной ловкостью, отличным оружием, добротой лошадей. Напротив, я увидел между ними не менее половины молодых, нигде не служивших, и даже ребят. Что заключить должны, – продолжает он, – неукротенные горские народы о поголовном вооружении линейных казаков? И что могут против них малолетние казаки, тогда как и хорошие донские полки не с первого шага бывали им страшны?»...

Приписывая громадную убыль донских казаков на Кавказе исключительно кратковременности их службы, Ермолов настаивал на том, чтобы донские полки пребывали в крае не два, а четыре года, утверждая, что это не обременит, а скорее значительно облегчит донцов, так как им придется ежегодно наряжать на службу меньшее число полков, а число льготных казаков, между тем, будет увеличиваться в том смысле, что полки с Кавказа уже не будут приходить на Дон в половинном составе, как теперь.

Ходатайство Ермолова было принято, и срок службы донских полков на Кавказе увеличен с двух на четыре года. Но несмотря на это, несмотря даже на то, что

смертность в донских полках, действительно, значительно уменьшилась, – сила казачья продолжала падать. Все еще существовали условия, мешавшие правильному развитию ее. Убыль старослуживых казаков заставляла составлять полки и на Дону все же наполовину из малолетков, дурно вооруженных, еще хуже обученных и на плохих лошадях, и потому понятно, что донцам приходилось играть страдательную роль при встрече с проворным и ловким кавказским наездником. К этому нужно прибавить, что состав полковых командиров, назначаемых зауряд, по дошедшей до них очереди, не всегда соответствовал своему назначению, и во главе полков нередко становились люди, кроме донского имени, не имевшие ничего общего с действительной боевой казачьей жизнью. Неразделенность военной и гражданской службы, существовавшая на Дону и сглаживавшаяся в то время, когда шли беспрерывные войны, – теперь начинала приносить свои печальные плоды. Недаром Ермолов в письмах к войсковому атаману жаловался, что в числе полковых командиров он вовсе не встречает на Кавказе имен, знакомых ему с наполеоновских войн. Еще худшее влияние оказало распоряжение, сделанное в 1820 году, по которому цесаревичу Константину Павловичу было предоставлено право всех нерадивых, дурных и порочных донских офицеров немедленно высылать из Польши обратно на Дон. «Дабы оные офицеры на Дону празднично не жили», последовал указ отправлять их тотчас же на службу в Грузию и на Кавказскую линию, – и общий состав донских офицеров на Кавказе естественно ухудшался. Ухудшалось, конечно, с тем вместе и состояние полков.

Но дела стали изменяться к лучшему, когда в Грузию, в мае 1823 года, для общего заведования донцами прибыл генерал Иловайский. К сожалению, не имеется никаких данных, позволяющих судить о мерах, которыми он достиг

лучшего хозяйственного устройства полков, строевого обучения их и нравственного подъема духа, – но результаты его деятельности скоро сказались в славной службе донцов, которой они ознаменовали себя в персидской и турецкой войнах.

Летом 1826 года Иловайский поехал в Москву на коронацию императора Николая Павловича; но он не дождался ее и накануне должен был выехать обратно в Тифлис, по случаю внезапного вторжения персиян. В Тифлисе застало его производство в генерал-лейтенанты и масса бумаг по снаряжению и отправлению в поход донских полков, – и только в 1827 году, управившись с этой работой, он получил назначение состоять в действующей армии при Паскевиче. Блистательное участие, принятое его казаками в решительной Джеванбулакской победе, доставило Иловайскому бриллиантовую табакерку с портретом государя. Но это была последняя его награда. Тяжелая болезнь, постигшая Иловайского на пути к Сардарь-Абаду, заставила его немедленно уехать в отпуск, на Дон, и с этих пор собственно начинается мирный, тридцатипятилетний период его жизни. В 1840 году он окончательно вышел в отставку, поселился в своем родовом имении, и умер в 1862 году, семидесяти семи лет от роду.

Иловайский оставил после себя на Дону народное имя, а признательность монарха сохранила для потомства в портретной галерее Зимнего дворца черты его, удачно схваченные искусной кистью Дова.

3. ЗАПОРОЖЦЫ НА КУБАНИ

ЧЕПЕГА И ГОЛОВАТЫЙ

В последние годы своего бурного существования Запорожская Сечь выдвинула двух замечательнейших людей, своим умом и энергией много содействовавших мирному переселению казаков на привольные прикубанские степи; это были атаман Харько Чепега и войсковой судья Антон Головатый.

История Головатого есть история последних дней Запорожья и борьбы его за свои вековые вольности. Запорожье ему обязано бесконечно многим, но он был истым сыном Сечи, без нее он непонятен и немыслим. Чуть ли не с самых первых дней самостоятельной жизни он уже является типичным представителем знаменитого запорожского «лицарства» и даже попадает в Сечь традиционным побегом в нее.

Племянник кошевого судьи, Головатый учился в киевской академии, где воспитывались дети знатных малороссов, но сидя над изучением Овидия и Цицерона, он, как и все, мечтал о воле и Сечи с ее войнами и бесконечным разгулом. И вот однажды, гуляя по Киеву с несколькими товарищами, Головатый увидел несшийся вниз по реке чей-то сорванный половодьем долбленный дуб – одно из тех ветхих суден, на которых запорожцы пускались даже в открытое море и добирались до берегов Анатолии. Не долго раздумывая, бурсаки перехватили дуб на рыбацком

челне, втащили его в камыш и той же ночью, взяв по краюхе хлеба и сбросив свои долгополые бурсацкие свиты, пустились с весенними водами искать себе доли и воли в той заповедной и заманчивой Сечи, «откуда разливались воля и казачество на всю Украину».

Сечь всегда и для всех стояла растворенной настежь, и единственным условием для поступления туда была православная вера, да разве еще иногда принимаемого заставляли показать свое удальство, переплыв днепровские пороги против течения.

Головатый с товарищами проделали обычную церемонию приема, так характерно описанную Гоголем.

«Здравствуй! Что, во Христа веруешь? – Верую. – И в Троицу святую веруешь? – Верую. – И в церковь ходишь? – Хожу. – А ну, перекрестись... Ну, хорошо, ступай же, в который сам знаешь, курень».

Головатый поступил в Кошевский курень, а через пять лет мы видим его уже полковым старшиной и правящим должностью войскового писаря, то есть, говоря по-нынешнему, должностью начальника штаба Запорожского войска.

Для Запорожья наступали тогда трудные времена. Сами запорожцы сознавали, что с покорением Россией Крыма и Новороссии Запорожская Сечь, в течение двух веков охранявшая южные пределы Украины, теряла свое прежнее значение и что, напротив, необузданная гайдамацкая вольница, не признававшая никаких договоров, могла быть только неприятна России своими набегами на Турцию и Польшу, ежеминутно угрожая втянуть ее в новые войны с соседями. И русское правительство, исподволь употреблявшее все меры, чтобы прекратить этот дикий казацкий разгул, но скоро увидевшее всю бесплодность своих усилий обратить казаков к мирному быту, решило наконец навсегда покончить с существованием

Запорожья. Заклятые сечевики, разумеется, не могли и помыслить о том, чтобы расстаться со своими вековыми вольностями и преданиями, и чуя приближение чего-то недоброго для себя, сумрачно косились на вышку Ново-сеченского ретраншемента, где, за насыпью и частоколом, в кошевой крепости, как бы для охраны Сечи, незадолго перед тем поселился русской комендант Норов.

Начался ряд казацких делегаций в Петербург с целью избежать беды и по возможности выгородить мирным путем свои вековые права. Первые две делегации, в которых участвовал и Головатый, были предприняты с целью добиться уничтожения сербских поселений на земле Запорожского войска. Тогда сербы были в моде, и Головатый успеха не имел: его осыпали ласками, хвалили заслуги и верность храброго Запорожского войска, но тем не менее посланцы Запорожской рады оба раза возвращались в Сечь ни с чем. Однако же и неудачные поездки в Петербург принесли Головатому огромную пользу: он ознакомился со столичными придворными порядками и заручился знакомством со многими вельможами.

В третий раз делегация, состоявшая из есаулов Сидора Белого, Логина Мошенского и войскового писаря Головатого, выехала из Коша в сильную слякоть и стужу в начале октября 1774 года и только в декабре добралась до Москвы, где тогда находился императорский двор. Но и там делегация встретила большие трудности. Напрасно Головатый добивался свидания с Потемкиным, который, в числе многих вельмож того времени, был записан в войско и числился в Кошевском же курене под именем Грицька Нечоса. Потемкин был поглощен другими делами, а без него депутаты ничего не могли добиться.

Выручило запорожцев остроумное слово одного из них. Однажды Потемкин случайно заехал к казакам в Новоспасский монастырь и не застал никого из них дома.

– Ну, кланяйся куренному батьке, – сказал Потемкин запорожскому сторожу, – да передай, что приезжал Грицько Нечоса благодарить за подарки, а особенно за коней, как за цугового, так и за верхового.

– Довезут, может, до Сената наши бумаги, – ответил запорожец.

Потемкин расхохотался. В тот же день этот ответ стал известен даже самой императрице, и Екатерина приказала немедленно заняться делом запорожцев.

Готовясь нести во дворец челобитную, войсковые делегаты оделись в белые суконные кунтуши с откидными рукавами, нацепили на себя отбитые у турок сабли и ятаганы, а из-под серых смушковых шапок выпустили свои длинные чубы – оселедцы. Все во дворе любовались их смуглыми хмурыми лицами, важностью сановитых движений и находчивыми ответами. Они торжественно вручили генерал-прокурору свою челобитную, смело прошли по анфиладе раззолоченных зал и, возвратясь в монастырь, стали терпеливо ждать решения.

Головатый, между тем, успел добиться свидания с Потемкиным, который принял у себя делегатов запросто, как своих побратимов. Но то, что они от него услышали, было далеко не утешительно. Когда Головатый высказал претензию казаков насчет земель, отданных под Новую Сербию, Потемкин только покачал головой.

– Недаром ты, Антон, учился в киевской бурсе Цицерону и, подобно мне, думал даже поступить в попы, – сказал он. – Ты, как слышу, женился и держишь жену в зимовнике, а все завзятый и хитрый запорожец. О ваших претензиях я думаю иное.

– О чем ваша думка? – спросил, готовясь слушать, Головатый.

– А вот о чем, – ответил Потемкин. – Вы все, черти, молодцы, и нельзя вас не любить, только берегитесь! У

всех вас одна думка: ослабили мы турку и ляха, как бы теперь и того дурня, москаля, в шоры убрать?.. Ведь так?

Делегаты молча и растерянно переглянулись.

– Ну, братцы, – продолжал Потемкин, – москаля вам в шоры не убрать, крепко брыкается бесов кацап! И лучше его не занимайте! Я сам разберу ваши бумаги, а вы тем временем заходите ко мне...

Видя, что дела их принимают дурной оборот, Головатый решил пойти на уступки, лишь бы спасти любимое Запорожье. Умный и дальновидный политик, он признавал, что существование Коша с его старыми правилами и вольностями внутри государства уже немыслимо, и старался найти такую комбинацию, которая, ограничивая в известной мере эти права, в то же время не нарушала бы основных традиций Сечи. В этом смысле он составил проект нового положения о Запорожской Сечи, который и представил светлейшему, зная, что Потемкин любит и отмечает его за ум и находчивость. Но на этот раз Потемкин смотрел туча тучей и, не читая, отодвинул проект Головатого в сторону.

– Вы крепко расшалились, – сказал он, – и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела.

С этими словами он подал Головатому толстую тетрадь, в которой перечислены были все хорошие и дурные дела Запорожья, размещенные в порядке друг против друга. Головатый сам после рассказывал, что все там было записано верно, и ни одно обстоятельство не было ни скрыто, ни ослаблено.

– Тількы, хитра писачка, що ж він зробив з нами? Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на два и словами величиной с воробьев, а что доброго Сечь сделала, так то было написано часто и мелко, как будто усыпано маком, а оттого наши худые дела и заняли больше места, чем добрые.

Спустя некоторое время Головатый пришел по обыкновению к Потемкину, не предчувствуя готовившегося ему удара.

– Все кончено, пропала ваша Сечь! – сказал ему Потемкин.

Пораженный, не помня себя, Головатый запальчиво ответил:

– Пропала Сечь, так пропали же и вы, ваша светлость.

– Что ты врешь! – закричал Потемкин и так взглянул на Головатого, что тот, «смекнув, чем все пахнет», ответил ему:

– А вы же, батьку, вписаны у нас казаком, так коли Сечь пропала, то и ваше казачество кончилось! Уничтожение Сечи, действительно, было уже решено Потемкиным, и в то время как он балагурил со своими «побратимами», генералу Текелли, возвращавшемуся тогда с Дуная, уже послано было приказание вступить в Сечь и обезоружить казаков. Настал черный момент для Запорожья.

Чо! наяхма! аяна^упаея
 Л, боньядо^з, кябуде,я
 ВжежняшогоЗапо! іжжяя
 Доявікуянебуде,я
 Бояца! , цяфма², янашая
 Напу^уянапу^у, лая-яя
 Славнеявій^укоязапо! ож^укея
 Таяйязанапа^у, лаххя

Так описывает это событие казацкая песня.

Но делать было нечего, и делегаты отправились из Петербурга восвояси, не зная еще, где им придется преклонить свои буйные головы. Головатый ехал вместе с Сидором Белым, и оба они находились в таком настроении, что даже решили покончить с собой. Они зарядили два пистолета и условились, чтобы Головатый прочел вслух все ежедневные молитвы, и когда надо будет читать

«Верую», то обоим приготовиться, а по слову «аминь» стрелять. Выбрав в лесу удобное место, они простились до скорой встречи в лучшем мире, где нет ни москалей, ни кацапов, и чтение молитв началось.

Вот уже Головатый дошел до «Отче наш» и до слов: «Но избави нас от лукавого», – как вдруг его озарила новая мысль. Он опустил пистолет и спросил у Белого:

– А знаешь що, батьку?

– А що?

– Вот се мы постреляемся.

– Эге.

– И нас тут найдут мертвых.

– Эге!

– И скажут: вот два дурня, запорожцы, верно напились мертвецки и пострелялись сами не зная чего, и никто не узнает, зачем мы пострелялись и не будет нам ни славы, ни чести, ни памяти.

– Так що ж робити? – спросил его Белый.

– А цур ему стреляться, батьку; поедем дальше.

– Справды, цур ему, поедем, – сказал Белый.

Помолились Богу, потянули горилки из дорожной баклажки и отправились в путь-дорогу, к родным куреням.

А родные курени стояли в развалинах. Часть казаков, не понимая иной жизни, кроме прежней казацкой, ушла до турка, за синий Дунай; другая, подчиняясь необходимости, повесила на гвоздь свои сабли и принялась за плуги. К последней пристал и Головатый со своими товарищами, не теряя надежды когда-нибудь воскресить на Украине бывшее вольное казачество. И случай к этому действительно скоро представился.

В 1780 году, спустя пять лет после уничтожения Сечи, Потемкин посетил Новороссию и мог на месте убедиться, что только имея значительную армию, и прежде всего казаков, можно было охранять ее обширные границы.

Он вспомнил проект Головатого, поданный ему в Петербурге, и, зная хорошо быт, характер и свойства запорожцев, решил воспользоваться бездействующей мощной силой, чтобы вызвать ее к новой жизни и направить ко благу любимой Украины. Он начал с того, что, по званию царского наместника, учредил при себе почетный конвой из бывших запорожцев, под командой Головатого. В то же время он говорил открыто о намерении правительства восстановить казацкое войско и об выделении для его поселения новых мест между Днестром и Бугом. Молва об этом прошла по всей Малороссии, и старые сечевики стали отовсюду стекаться за Буг. Не прошло и года, как образовалось целое За-Бугское войско, названное «верным», в отличие от казаков, ушедших в Турцию. Сидор Белый, тот самый, что когда-то хотел стреляться с Головатым, стал «батькой кошевым», а сам Головатый был выбран в войсковые судьи – должность, которую так долго занимал в Сечи его родной дядя.

Служа теперь под непосредственным начальством могущественного гетмана, князя Потемкина, и пользуясь особым его расположением, казаки старались поддержать за собой старую славу, в то же время ревниво избегая всего, что могло бы навлечь на них даже случайное неудовольствие своенравного покровителя, в руках которого была их участь.

Рассказывают, что один из запорожских старшин, имевший чин армейского штабс-офицера, сделал какой-то крупный проступок, огорчивший Потемкина. Все ожидали грозы. Но светлейший призвал к себе Головатого и только сказал:

– Головатый! Пожурить ты его по-своему, да хорошенько, чтобы впредь за ним этого не было.

– Чуемо, наияснейший гетмане, – ответил Головатый и на следующий день, являсь с рапортом, лаконично сказал: – Исполнили, ваша светлость!

– Что исполнили? – спросил Потемкин.

– Да пожурили того старшину по-своему, як вы указали.

– А как же вы его пожурили? – Расскажите мне, – сказал князь.

– А як пожурили? Та просто ж, наияснейший гетмане, положили, та киями так ушкварили, що насилу вин встав.

– Как! Старшину-то, майора?! – закричал Потемкин.

– Да как же вы могли это сделать?

– Правда, таки насилу що змогли, насилу в четырех повалили – не даваясь; однако справились.

– Да ведь он майор?

– А що ж, що майор? Майорство при нем и осталось. Вы приказали его пожурить, вот он теперь и будет крепко журиться и за прежние штуки уже не примется.

Цена усердие и верность Запорожского войска, Потемкин должен был оставить это дело без последствий, тем более что и сам обиженный, чуя за собой вину перед войском, молчал.

Между тем началась вторая турецкая война, и для нового Запорожского войска настали времена побед и отличий. Его вел кошевой Сидор Белый, а под ним начальствовали: Харько (Захарий) Чепега – запорожской конницей, а Головатый – пехотой и гребной флотилией. В памятном истреблении турецкого флота шестнадцатого июня 1788 года в Днестровском лимане гребная флотилия верных казаков принимала самое живое участие. Сам кошевой, вместе с Головатым, ходил штурмовать турецкие корабли, и первый заплатил за победу собственной жизнью. Раненный смертельно во время абордажа, Белый скончался на третий день, завещав казакам держаться более всего старого сечевого уряда.

По смерти атамана в войске образовались две партии: одна прочила в кошевые Харько Чепегу, другая хотела Головатого. И тот и другой пользовались равным ува-

жением в войске, как лучшие представители Сечи; но первый был исключительно воином, тогда как второй занимал по войску преимущественно административные должности. И потому, после многих пререканий, споров и колебаний, выбор пал наконец на Чепегу, которому дала перевес его известная отвага в боях, ценившаяся в то время выше гражданских заслуг. Потемкин утвердил выбор Чепеги и, в знак личного уважения к новому атаману, послал ему в подарок дорогую саблю. Не лишнее сказать, что соперники остались между собой искренними друзьями до самой смерти.

Между тем военные действия продолжались, и на долю казачьего войска выпало в них немало отличий. А осенью, во время осады Очакова, казаки совершили под руководством Головатого одно из тех замечательнейших в военной истории дел, на которых с удивлением останавливаются и современники и потомство.

Осенние бури заставили тогда Гассан-пашу со всем турецким флотом удалиться из-под Очакова к Царьграду; но дорожа отличной якорной стоянкой, которая была у острова Березани, он укрепил ее береговыми батареями, а в самой середине острова построил целую крепость, в избытке снабдив ее артиллерией и всеми припасами на случай осады.

Собственно говоря, Березань и ее батарея были безвредны и не нужны для русских, но Потемкин решил их взять во что бы то ни стало, рассчитывая этим поднять нравственный дух своих войск и поколебать мужество осажденных.

Выбор его, для исполнения этого отважного предприятия, пал на Головатого.

– Головатый! – сказал ему однажды Потемкин. – Как бы взять Березань?

– Возьмемо, батько, – ответил Головатый. – А чи ж буде за те хрест? – добавил он улыбаясь.

– Будет, будет, только возьми Березань.

– Чуемо, батьку, – сказал Головатый и спокойно вышел из ставки светлейшего.

Седьмого ноября 1788 года гребная казацкая флотилия на глазах всей армии, несмотря на страшный огонь прибрежных батарей, пристала к берегу, и через несколько минут все эти батареи и сама крепость, взятые штурмом, были уже в руках казаков. Говорят, будто бы они подплыли к крепости, передевшись в турецкие мундиры. Двести тридцать пленных, двадцать три орудия и несколько знамен достались трофеями в руки победителей.

Овладев Березанью, Головатый оставил в ней гарнизон, а сам немедленно явился к Потемкину. Подходя к нему, он запел: «Кресту твоему поклоняемся, владыко...» – и, сделав земной поклон, сложил к ногам князя ключи Березанской крепости. Потемкин тут же навесил на него орден св. Георгия 2-ой степени. А отряд, взявший Березань, назвал себя по имени крепости, гордился этим названием и впоследствии, на Кубани, передал это имя одной из станиц на Байсуге.

Другой раз небольшая партия запорожцев на лодках пробралась к Измаилу и дала возможность снять на план все его укрепления. Потемкин приказал Головатому представить себе удальцов, участвовавших в этом деле, и те наскоро отправились из лагеря в дорогу и явились к гетману прямо с лодок, обтрепанные, в порванных рубашках и свитках, иные даже босиком. Светлейший, вышедший к ним в богатом гетманском кафтане, в лентах и орденах, принял их за нищих.

– А где твои храбрые молодцы? – спросил он, оглянувшись на Головатого.

– Да это ж, преподобие, они и есть, – ответил с поклоном войсковой судья.

– Неужели начальство поскупилось получше снабдить их в дорогу?

— А що ж нужно, батько ты наш, хоть бы казаку? — ответили запорожцы. — Распытались мы у Коша, кошевой сказал: «Идите с добрым чоловиком», — ну, мы и пийшли...

— Теперь, князе, нема уже опаски, — прибавил другой запорожец, — турчинова фортеция як на ладони. Звелите, ваше высокопревелебие, и побей Боже нас и наших детей, коли не заберем измайльского пашу со всеми его пашанятами.

Потемкин тут же произвел нескольких запорожцев в офицеры, а всей партии казаков, бывших в этой замечательной рекогносцировке, велел выдать новую полную по их обычаям одежду и сто червонцев на всех. Деньги и платье запорожцы, впрочем, пропили меньше чем в трое суток, не выезжая из Ясс, и отретировались обратно, как приехали, в лохмотьях.

Восемнадцатого ноября, при истреблении турецкого флота под Измаилом и потом на штурме этой крепости, они были опять главными виновниками успеха и заслужили восторженную похвалу от Суворова.

Ряд боевых отличий, оказанных Кошем верных казаков в турецкую войну, доставил ему название Черноморского казачьего войска, атаману Чепеге — орден св. Георгия 3-ей степени, а Головатому — чин полковника и орден св. Владимира 3-ей степени.

Но кончилась турецкая война, а вслед за тем, пятого октября 1791 года, умер и светлейший Потемкин. С ним умерли и все надежды юного Черноморского войска, лишившегося в нем могущественного покровителя.*

«И заплакали черноморцы, — говорит Короленко, — спиваючи:

* В память своего гетмана верное Черноморское войско сделало белое атласное знамя, которое и доныне хранится в Екатеринодарском войсковом соборе.

У Янь, яба Зьку, яу Янь, яГ! , цьку! я
Вел, к, йяге Змане! я
М, ло Я, в, йядоб! одню! я
Вельможнийнашяпане! »я

Но не встал Грицько на зов любимого войска, которому было о чем плакать. Для черноморцев наступила пора невзгод, которую они пережили только благодаря духу единства, проникавшего казачество. Не успел умереть светлейший гетман, как казаки, путем еще не обжившиеся на отведенных им вольных местах между Днестром и Бугом, уже получили приказание готовиться к переселению на Кубань, в обширные, пустынные и безлюдные пространства, лежавшие в соседстве с черкесскими народами, от которых нужно было оберегать границу. Но вместе с тем пошли и недобрые слухи, что готовится более радикальная реформа, что казачество будет уничтожено, а из черноморцев образуют легкоконные полки, которые по очереди и будут посылаться из своего Забужья нести заурядную солдатскую службу на берегах той же Кубани.

Казаки, не имевшие уже при дворе, как бывало, заручки в лице Потемкина, встревожились. И как ни тяжело им было бросать уже насиженные забугские места, но они предпочитали лучше совсем переселиться на Кубань, лишь бы сохранить свой старинный казачий уряд. «Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст», — порешила войсковая рада и отправила депутацию с войсковым судьей Головатым к императрице просить отдать казакам прикубанские земли в их вечное владение.

Приехав в Петербург, Головатый тотчас принялся хлопотать о скорейшем представлении его императрице. Вельможи были в большом затруднении. Как, в самом деле, было решиться, при тогдашнем блеске двора, представить государыне этих страшных людей, в необычно-

венной одежде, с бритыми головами, людей, которые даже не говорили, а только издавали какие-то странные звуки: «та ни», «эге», «а то ж», до крайности смущавшие воспитанных на придворном этикете русских вельмож. Тем не менее аудиенция была назначена.

В воскресный день в приемной зале дворца съехался весь двор, весь дипломатический корпус, министры, генералитет. Ожидали выхода императрицы из церкви. Но вот в аудиенц-залу вошли депутаты Черноморского войска. Впереди всех Головатый, среднего роста, смуглый, с большими усами и оселедцем, замотанным несколько раз за левое ухо. Он был в зеленом чекмене с полковничьими галунами, в белой с закинутыми назад рукавами черкеске, в широчайших шароварах и в красных сапогах, подбитых высокими серебряными подковами. Обвешанный орденами, закручивая свой длинный ус, он сурово окинул глазами собрание и спокойно встал на указанное ему место; свита разместилась позади него.

Между тем обедня отошла; в зале водворилась тишина, и в растворенных настежь дверях показалась императрица, которая с милостивой улыбкой подошла прямо к черноморцам. Головатый выдвинулся вперед, поклонился и громко, ясно, на чистом русском языке сказал короткую приветственную речь. Императрица выслушала его с удовольствием, допустила к своей руке и приказала князю Зубову лично заняться делами черноморцев.

Теперь весь двор и все знатнейшие лица того времени уже старались познакомиться с Головатым, наперебой приглашая его на обеды, вечера и балы, с жадностью слушали его рассказы о Сечи, о нравах и обычаях черноморцев, дивились его уму, находчивости, ловкости и оригинальности в суждениях. Как истый сын Запорожья, Головатый приезжал ко всем со своей бандурой и, подыг-

рывая на ней, пел свои запорожские былины, от которых у слушателей сжималось сердце и выступали слезы.

На одном балу он был представлен великим князьям Александру и Константину Павловичам.

– Скажите, отчего это черноморцы завертывают свою чуприну непременно за левое ухо? – спросил однажды Константин Павлович.

– Все знаки достоинств и отличий, ваше высочество, – сабля, шпага, ордена и другие – носятся с левого бока, то и чуприна, как знак удалого и храброго казака, должна быть обращена также к левой стороне.

Несмотря, однако же, на все внимание и ласки, расточаемые черноморцам, дело их подвигалось чрезвычайно медленно, а между тем дороговизна жизни в столице совершенно истощила кошелек Головатого, и он стал придумывать средства, как бы выйти из этого положения.

Однажды, на заре одиннадцатого июня, он был разбужен пушечными выстрелами с Петропавловской крепости. Казаки, выскочившие на улицу узнать о причине пальбы, скоро возвратились назад, крича: «Ольга Павловна! Ольга Павловна! С чем и вас, батьку, поздравляем». Это был день, когда родилась великая княжна Ольга Павловна.

Двор был тогда в Царском Селе. Головатый, не теряя времени, нанял извозчиков и поскакал со всеми черноморцами приветствовать государыню с новорожденной внучкой. Не доезжая нескольких верст до Царского Села, он сошел с дрожek, отпустил их, а сам, одетый в парадную форму, лег под деревом близ самой дороги со всей своей свитой. Между тем все вельможи в богатых экипажах неслись по царскосельской дороге, чтобы принести поздравление императрице, и, видя Головатого, останавливались и смотрели на него с изумлением. Многие спрашивали, зачем он к полной форме лежит на дороге. Головатый спокойно отвечал:

– А як же? Бог послал всеобщую радость, и мы спешим в Царское Село принести поздравления.

– На чем же вы спешите? Где ваши экипажи? – удивленно говорили любопытные.

– А за що бы я нанял их, коли мне с хлопцами скоро ни за что и харчеватися будет?

– Так вы это пешком?..

– Овый на колесницах, овый на конях, а мы пехтурою. Рада бы мама за пана, да пан не бере.

Он вошел во дворец позже других и с беспокойством спрашивал у придворных: «Не опоздал ли?» – приговаривая: «Сторона не близкая – Петербург от Царского Села, а дрожek нанять не могли, прожились совсем».

Встреча с Головатым сделалась предметом придворных разговоров. Все заговорили о крайности, в которой находились черноморцы, и кто-то довел обо всем до сведения императрицы. Это обстоятельство настолько подвинуло решение дела, что уже восемнадцатого июля Головатый вновь представлялся Екатерине, чтобы благодарить за милости, оказанные Черноморскому войску.

Получив из рук самой императрицы пожалованную ему золотую саблю, Головатый произнес благодарственную речь от лица всего Черноморского казачества. «Тамань, – говорил он между прочим, – дар твоего благоволения, будет вечным залогом твоих милостей к нам, верным казакам. Мы воздвигнем грады, заселим села и сохраним тебе безопасность русских пределов».

Императрица, удовлетворив все просьбы черноморцев, послала с Головатым войско, милостивые грамоты в богатом ковчеге, большое белое знамя, серебряные литавры, войсковую печать и, на новоселье, по русскому обычаю, хлеб-соль на блюде из чистого золота с такой же солонкой, а кошевому Чепеге – драгоценную саблю.

Уведомленный о возвращении депутатов из Петербурга, кошевой командировал для встречи дорогих гостей за

тридцать верст пятисотенный полк, а пятнадцатого августа, в главном селении Черноморского войска, Слабодзеи, в присутствии всех полковых старшин, херсонского архиепископа с духовенством, всех казаков и множества народа, устроил им парадную встречу. Казачье войско поставлено было в две линии по обе стороны улицы, а между ними устроено возвышенное место, покрытое турецкими коврами, на котором стоял кошевой и были приготовлены столы для возложения на них царских даров, привезенных Головатым. Около кошевого широким полукругом стояли старшины с булавами, знаменами и другими знаками отличий, заслуженными войском. Между тем подходила депутация. Впереди четыре штаб-офицера несли на блюде монарший хлеб, покрытый дорогой материей; за ними сам Головатый нес на пожалованном блюде солонку и высочайшие грамоты, а далее – малолетние дети его: Афанасий – царское письмо к кошевому, а Юрий – драгоценную, осыпанную алмазами саблю. Как только депутаты приблизились к войскам, началась пальба из пушек и ружей, продолжавшаяся до тех пор, пока Головатый, сказав приветствие, не передал царских даров кошевому. Кошевой, опоясавшись саблей и поцеловав хлеб-соль, прочитал народу высочайшие грамоты, и вся процессия двинулась в войсковую церковь. После торжественного молебствия царские дары перенесены были в дом кошевого, а хлеб разделили на четыре части: одну положили в войсковую церковь, где она хранится и поныне, другую отправили в Тамань, к Черноморской флотилии, третью разделили в полки, а четвертую поставили на стол у кошевого. Тут старшины пили горилку и ели этот хлеб, а остатки его с церемонией были перенесены в дом войскового судьи, где приготовлен был стол для почетнейших граждан. Для казаков накрыты были пять столов на траве

близ церкви, и пир там продолжался до глубокой ночи. Весельем и радостью окончился этот знаменательный день в истории Черноморского войска.

Готовясь к дальнему походу, черноморцы отправили вперед гребную флотилию, под командой войскового полковника Белого, а за ней, в октябре 1792 года, двинулся сухим путем и сам кошевой со всем своим куренным товариществом. О прежнем горевании не было больше воспоминаний, и черноморцы весело распевали песню, сложенную тогда Головатым.

Ой, я годі намяжу! , 2, Я, я
 По! аяпе! еЯа2, ,я
 Дождал, Яяю2яца! , ція
 ЗаяАужбуязапла2, :я
 ДаяхлібфЯльіаг! амо2, я
 Заяві! н, ііяАужб, я
 О2я2е! ям, яодноАум, я
 Забудемоянужд, ,я
 ВяТаманіяж, 2ь, яві! нояАуж, 2ь, я
 Г! ан, цюяде! жа2, ,я
 Р, буялов, 2ь, яго! , лкуяп, 2ь, я
 Щейябудемябога2я
 Таявжея2! ебаяжен, 2, Я, я
 Ияхлібая! об, 2, ;я
 Аяк2ояп! , йдея, зяневі! , я
 Непо? аднояб, 2, я
 СлавуяжяБогуя2аяца! , ці, я
 Аяпокойге2мануж
 Зал, ч, л, явяЯ! дцяхянаш, хя
 Го! ючуюя! ану!я
 Подякуэмоям, яца! , ці, я
 Помол, моЯяБогу, я
 Щоявонаямяуказала
 НаяКубаньядо! огуя

В этой песне, в сущности, пересказано только содержание грамоты, данной Екатериной казакам на поселение их

при Кубани; обязанность жениться была поставлена в ней в число других главных условий поселения на новых местах.

В первое время житье черноморцев на Кубани было далеко не завидно. Пустынный край неприветливо встретил забугских переселенцев. Для своего оживления он требовал необыкновенной деятельности от малочисленных пришельцев, которые на первых порах к тому же терпели крайний недостаток даже в первейших потребностях оседлой жизни. Глушь и запустение края были таковы, что нашлись казаки, хотевшие бежать и удержанные только привязанностью к товариществу и к батьке кошевому, Харько Чепеге, зазавшему их с собой на эти пустынные берега. Большинство казаков, однако же, обрадовались богатым естественным угождам, раскидистому течению Кубани, широким лиманам, безбрежной степи с курганами и балками – всему, с чем так свыкся их глаз у Днепра и что теперь как будто бы перенеслось вместе с ними под чужое небо. И скоро казаки совсем свыклись со своей новой родиной, сохраняя свой быт и свои старые обычаи.

Несмотря на обязательное присутствие в войске семейного начала, введенного Екатериной, большинство казаков, сам кошевой и старшины оставались закаленными воинами, настоящими сечевиками, для которых дорожке всего на свете были предания Сечи. Сечевой уряд лег в основание первоначального заселения Кубанского края, и, как было в Запорожье, так и теперь на Кубани, семейное поселение долгое время считалось чем-то придаточным, второстепенным, а на первом плане стояли курени, обширные казацкие казармы, носившие те самые названия, которые существовали некогда в Запорожье. Исключение было сделано только для главного войскового города, в честь императрицы названного Екатеринодаром.

По-прежнему церемония присяги атамана, важнейший момент казацкой жизни, служила ярким напоминанием о стародавней казацкой славе, приобретенной на Сечи.

За осевшими и поросшими колючками стенами Екатеринодарской крепости, внутри обширного редута, расположены были четырехугольником невысокие и длинные казармы, старинные курени, а между ними, как было и в Сечи, площадь, майдан, посреди которой возвышался шестиглавый храм, войсковая соборная церковь. В ней казаки хранили свои драгоценнейшие заветные сокровища, клейноды, – памятники доблестных заслуг верного Черноморского войска, знамена, регалии и все, что сохранилось в войске от его старины, что собрано на поле честных заслуг государству и может свидетельствовать о доблестной службе и храбрости предков. Раз в год, во второй день Пасхи, клейноды выносились из войскового храма на майдан, на показ народу, чтобы ведали о них и мать, и жена, и малые дети казака, и наезжие гости его. Но с особенной торжественностью совершался их вынос именно в день присяги нового войскового атамана. Тогда все куренные атаманы собирались в войсковой город и, с перночами в руках, присутствовали при присяге главы войска. Тогда все знамена минувших времен обступали присягавшего и, осененный старейшими из них, он произносил клятву вести войско по пути долга, чести и общего блага. Обряд этот, в своих существенных чертах, сохранился даже и поныне.

По-прежнему главным богатством казака и здесь, как в Запорожье, были конь и оружие. Запорожцы, в течение трех веков выносившие на своих плечах натиск татар, турок и поляков, естественно, должны были иметь лошадей, способных переносить все случайности войны, холод, голод, жар и безводицу. Военный быт казаков и их походы представляли им немало случаев улучшать свои табуны примесью к ним новой крови – персидской,

турецкой, а нередко и арабской. И эти запорожские кони перешли теперь со своими хозяевами в привольные кубанские степи, где для казаков было еще больше случаев улучшать породу своих лошадей.

Сама одежда казака долго еще сохраняла характер стародавнего времени. Алый, по-запорожски червонный, кунтуш, широкие шаровары, красные сапоги и высокая шапка из черных смушек с красной тульей составляли их повседневный наряд. Дорогой узорчатый или парчовый кушак был предметом роскоши и стоил иногда дороже всего остального наряда. По кушаку узнавались знатные особы, и старшины немало тратились на эту статью, чтобы поддержать свое достоинство. Вооружение состояло из винтовки, пары пистолетов, длинной казацкой пики и турецкой сабли. Была поговорка: «Конь татарский, мушкет немецкий, сабля турецка – то справа молодецка». Лучшее оружие было не куплено, не выменено, а добыто кровью от побежденного неприятеля. Впоследствии все это изменилось, и древний живописный костюм запорожца встречался только уже на одних стариках, не хотевших расставаться с кунтушом и по-прежнему ходивших с длинными опущенными книзу усами, бритой головой и седым оселедцем за ухом.

Не успели казаки осмотреться на новых местах, как уже кошевой Чепега с двумя полками должен был идти воевать с поляками. Труден был этот поход, вынуждавший их опять бросить дома и хозяйство, но и привлекательна была для многих мечта еще раз посетить тот край, который был переполнен стародавней славой казацких подвигов. И черноморцы вышли в поход, запевая песню:

П, ше,яп, шеяпаняЧепегая
ОдяКошаял, Я, :я
ЧаЯпо! аявам,яче! номо! ці,я
ДаянаяПольшуай2, эя

Ой, як! , кнулаячка,я
 Шукаюч, я! яЖ, ,я
 У2е! ял, япан, фляэ, я
 О2яца! , щялаЖ, э
 Ой, як! , кнулаялебідь,я
 К! айял, манаячу2коя–я
 Тоявамябуде,яв! ажіяляэ, ,я
 О2яказац2ваяжу2коэя

Проводив свое войско, Чепега заехал с дороги в Петербург представить императрице. Екатерина обласкала старого сечевика и из своих рук передала ему драгоценную саблю, осыпанную алмазами. «Возьми, сынок, и бей ею врагов!» – сказала императрица.

Как исполнили черноморцы в Польше завет царицы, лучше всего видно из частного письма Харько Чепеги к одному из своих знакомых.

«Поход в Польшу был – слава Вседержителю нашему Богу – благополучный. Корпус наш, под начальством генерала Дерфельдена, шел до Слонима, и мы, бывши с польскими мятежниками на восьми сражениях, гнали их, як зайцев, аж до самой Праги, что насупротив столичного города Варшавы; и тут уже, по соединении с батьком, графом Александром Васильевичем, доклали их воза и всех неприятелей, в Праге бывших, выкосили, а решту вытопили в Висле. Тут их наклали так, як мосту; на Варшаву ж як взяли с гармат стрелять, то вона зараз и сдалася. После сего все их лядське воинство истреблено, а жители обезоружены. Батько наш, граф Александр Васильевич, так же, бачу, по-нашему ляхив не любит, и я думаю, що Польша сего гостя повек не забуде!»

Еще Чепега не возвратился из Польши, а казакам пришлось идти уже в новый поход, и Головатый повел еще два полка в Персидский корпус графа Зубова. Сев на суда в Астрахани, казаки двадцать первого июня 1796 года высадились в Баку, куда вслед за ними прибыл и главно-

командующий. Головатый встретил графа при ставке, а черноморские полки, выстроенные под развернутыми знаменами, приветствовали главнокомандующего тремя залпами. Довольный приветом черноморцев, граф благодарил их за успешный поход, осведомился о здоровье кошевого Чепеги, расспрашивал Головатого о делах на кубанской границе и, в знак особого расположения, приказал выдать черноморцам тройную винную порцию. В то же время он записал себя в Черноморское войско войсковым товарищем, а сына своего – полковым есаулом.

В персидском походе, небогатом военными событиями, черноморцам тем не менее случилось не раз показать старинную казачью доблесть. Так, однажды небольшая партия казаков на лодках сделала поиск к персидским берегам, разбила несколько приморских городов и поселений, освободила множество пленных армян и, овладев целой флотилией персидских лодок, стругов и чаек, пошла назад к своей эскадре. По дороге их захватила страшная буря, и одна из лодок, на которой находились лейтенант Епанчин, два матроса, восемь черноморских казаков и несколько армянских семейств, была отнесена течением к персидскому берегу.

До полутораэта человек персиян, заметив русское судно, боровшееся с бурей, тотчас бросились в лодки, чтобы завладеть им, как легкой добычей. Лейтенант Епанчин и оба матроса, кинувшись в шлюпку, бежали, а испуганные армяне спрятались под палубу. Но черноморцы выбрали из своей среды предводителя, казака Игната Саву, и приготовились к бою.

Как только персидские лодки стали сближаться с казачьим судном, и неприятель открыл батальный огонь, казаки, со своей стороны, «ударил из ружей *с уговором без промаху*». Первым же залпом они уложили персидских начальников, а потом, как отличнейшие стрелки,

перебили, по выражению Головатого, и «*пидстарших панкив*». Смущенные персияне, укрываясь за бортами, стреляли на ветер и наконец бежали, видя, что казацкие пули производят в рядах их страшное опустошение.

Головатый был в восторге от поведения своих казаков и, описывая этот случай Чепеге, восклицает в конце своего донесения:

«Не загинула те казацька слава, коли носим чоловик могли дать персиянам почувствовать, що в черноморцив за сила».

Но были в этом походе и грустные факты. Командир второго полка полковник Великий, отправленный на остров Колишеван для устройства лагеря, был застигнут сильным штормом и, опрокинутый со шлюпкой, погиб в волнах Каспийского моря. Другой командир полка, полковник Чернышев, вместе с частью своих казаков, со знаменем, куренным перначом и с иконой, которую благословил их таврический военный губернатор, пропал бесследно на переезде к острову Сара. В течение нескольких месяцев о нем не было ни слуху ни духу, и черноморцы, считая его погибшим, сокрушались об утрате казацкой святыни; но впоследствии оказалось, что, потерпев крушение, Чернышов был выброшен бурей где-то на берегу Дагестана, долго странствовал в горах и только в начале 1797 года сумел присоединиться к отряду.

Сам Головатый, произведенный за отличие в чин бригадира и назначенный начальником Каспийской флотилии и десантных войск, не перенес этого рокового для многих похода. Надо сказать, что десантные войска собирались в то время на острове Сара, с климатом до того убийственным, что в течение одного месяца один за другим умерли оба предместника Головатого, контр-адмирал Федоров и генерал-майор граф Апраксин. Не выдержал болотных миазмов и третий начальник десанта,

Головатый, и заболел горячкой. Он долго перемогался, не хотел ложиться в постель и даже в самый день своей смерти, сидя на креслах, в мундире, писал проект об улучшении быта Черноморского войска, но болезнь сломила его. Он умер двадцать девятого января 1797 года.

А на Кубани, в самой земле Черноморского войска, почти в то же время, четырнадцатого января 1797 года, умер и Чепега – «этот отец Черноморской семьи, который и по достижении высокого сана сохранил до самой смерти свою простоту и образ жизни, служивший примером для всех черноморцев. Мир праху твоему, знаменитый Харько, основатель рассадника доблестных черноморцев на негостеприимных берегах Кубани!» – так говорит о нем историк Черноморского войска.

Когда выбирали нового атамана, общее желание войсковой рады указало на Головатого; не знали казаки, что нет уже в живых их Головатого.

Чепегой и Головатым оканчивается привилегия казаков выбирать себе кошевого атамана, который с этих пор назначается уже самим императором. И первым назначенным атаманом был войсковой писарь Тимофей Терентьевич Котляревский.

Что за личность был этот Котляревский, сказать довольно трудно по отсутствию о нем всяких исторических данных. Но одно уже то, что он был первый «батько атаман», выбранный не волей самого «товариства», предрасположило против него сердца старых сечевников, теперь более чем когда-нибудь желавших сбросить и укрепить за собой все, что было так дорого им там, на старых днепровских порогах. И случай выразить Котляревскому их общее неудовольствие скоро представился.

Возвращаясь из трудового персидского похода и подходя к Екатеринодару, казацкие полки ожидали, что их встретят по старым обычаям, с известной церемонией.

Котляревский, между тем, об этом не позаботился и показал совсем не похвальное равнодушие к военной славе целого войска. Так по крайней мере взглянули на это дело сами черноморцы. Оскорбленные в самом дорогом для них чувстве воинской чести, казаки вышли из повиновения своим старшинам и многих из них поколотили. Не миновать бы того же и самому Котляревскому, если бы он не скрылся в Усть-Лабинскую крепость, откуда возвратился уже с Вятским пехотным полком, принявшимся по-своему умирять расхोлившихся черноморцев.

После этого случая Котляревский уехал в Петербург и большую часть своего атаманства провел в столице, высылая войску целую массу приказов и письменных распоряжений, в то время как между черноморцами и черкесами уже завязывалась упорная борьба.

Котляревский пробыл атаманом только До 1799 года, когда преклонные лета заставили его просить увольнения от должности. Император предоставил ему самому назначить себе преемника, и выбор его пал на войскового полковника Бурсака. Бурсаком начинается новый период кавказской войны на кубанской границе.

Когда черноморские казаки поселились на Кубани, одним из первых дел их на новой родине было создать храм Всемогущему Богу в Екатеринодаре, ставший собором всего Черноморского войска. В 1879 году обветшалый храм этот перестраивался; и вот когда разбирались его стены, в склепах под ними открыты были три гроба, из которых в первом найден кусок свернутой на манер широкого персидского пояса парчи, в среднем – золотое шитье от воротника, и в третьем – небольшой образок, живопись на котором уже совершенно почернела – до неузнаваемости.

Есть свидетельство, что первый из этих гробов хранил бранные останки атамана Черноморского казачьего войска,

генерал-майора Захария Алексеевича Чепеги. О двух других гробах исторических известий нет; но судя по тому, что в те далекие времена Чепеги только самые влиятельные и уважаемые в войске лица могли рассчитывать на честь быть погребенными в соборных оградах, не говоря уже о самой церкви, можно с полной достоверностью заключить, что в другом гробе покоился вечным сном Головатый, а в третьем – протоиерей Роман Порохня, похороненные в один день, четырнадцатого марта 1800 года.

И эти немые свидетели прошлого громко и ясно говорят нам о характерах и делах людей того старого века. В гробе генерала Чепеги нет ничего, кроме знака казацкого отличия, пояса, – покойный атаман был враг честолюбивой роскоши. Котляревский был уже другой человек и человек другого времени: по словам историка Черноморского войска, еще занимая пост войскового писаря, это был уже не товарищ-казак, а деликатный вельможа того времени, пользовавшийся благоволением императора Павла и далеко не бывший так прост в образе жизни, как его предместник, казак Чепега. И вот, в гробе его – остатки пышного, шитого золотом генеральского мундира. Со скромным служителем церкви, пришедшим вместе с казаками из-за Буга и посвящавшим всю жизнь свою молитве за родных черноморцев, в гробу лежала эмблема веры и молитвы.

Так и сами гробы служат для нас красноречивым свидетельством, что слава в потомстве следует за теми, кто живет не во имя самолюбивой гордости, а во имя блага своей отчизны и своего народа.

ЧЕРНОМОРЬЕ ПРИ АТАМАНЕ МАТВЕЕВЕ

Против Черномории, стоявшей бессменным стражем на рубеже России по самому важному нижнему течению Кубани, от Усть-Лабинского укрепления и до Черного моря, сидели в горах сильнейшие враждебные черкесские племена, шапсуги и абадзехи, готовые ежеминутно обрушиться на нее бичом смерти и истребления. И тем не менее 1817 год, которым начиналась на Кавказе Ермоловская эпоха, застал ее в относительном спокойствии; черкесы помнили еще опустошения их земель, которыми энергичный атаман Бурсак ответил на их набеги, и до поры до времени оставляли Черноморскую линию в покое.

Но этот мир, это спокойствие были даже очень относительны. Не было крупных вторжений, не приходили тысячные партии, но мелкие набеги продолжались, и официальные источники того времени представляют красноречивые факты вечной тревоги, царившей на линии. С 1812 по 1816 годы – в период, который и самими казаками называется «мирным», в разное время, поодиночке, черкесами уведены в неволю шестьдесят казаков и женщин и угнано более тысячи голов скота.

Но не прочно было даже и это тревожное затишье. К тому времени над Черноморией уже не бодрствовало неусыпное внимание старого атамана ее Бурсака: годы взяли свое, и он, удрученный трудами и ранами, стал проситься на отдых и сложил наконец, в 1816 году, свою

атаманскую насеку. Преемником его является неперменный член войсковой канцелярии подполковник Матвеев.

Седовласый, кроткий, «весьма занимательной наружности» – как описывает его путешественник Гераков, Григорий Кондратьевич Матвеев был казак еще Потемкинского времени. Он видел штурмы Очакова, Измаила и Березани, ходил с Головатым в Персию, искрестил черкесские земли с Бурсаком, наконец, командовал на Дунае, после героической смерти Поливалы, пешим полком черноморцев. Там четвертого июля 1810 года заслужил он Георгиевский крест, прорвавшись со своим полком на гребной флотилии между Руцуком, Журжей и батареями, устроенными по обоим берегам Дуная, и в 1812 году возвратился на родину, уже подполковником, с Владимиром в петлице и Анной на шее.

Таким образом, вся предшествовавшая жизнь, по видимому, давала ему право с достоинством и честью держать атаманскую палицу.

Но в то время в Черномории заводились порядки, разлагавшие старинный казачий быт, а с ним вместе и казачью силу. Среди свободной общины, важнейшим законом которой было воинственное братство и равенство, заводилась богатая аристократия, уже одним своим существованием нарушавшая весь стародавний казачий строй. Дело в том, что по старому обычаю, по войсковому укладу, каждому члену войсковой общины, как чиновному, так и простому казаку, представлялось пользоваться землей по мере надобности. Но это патриархальное «по мере надобности» скоро обратилось, как выражается историк Черноморского войска, в феодальное «по мере возможности». И те, кто был облечен чинами и властью, насколько могли стали расширять свои поземельные владения, не заботясь о том, что останется на долю их нечиновным собратам. Чтобы придать «пользованию»

характер «владения», люди эти отособились от своих нечиновных сочленов и водворились хуторами; хутора закреплялись за ними пожизненно, а затем мало-помалу стали переходить и в вечное потомственное владение. Появились даже крестьяне, скупленные во внутренней России и переселенные оттуда на далекое черноморское побережье.

Все это начиналось уже давно; не без вины были в этом деле и батько кошевой Чепега, и умный Головатый, и храбрый Бурсак, но при них на новых отношениях лежал все еще характер простоты и патриархальности, а главное – не отражались новые порядки непосредственно на боевых обязанностях войска, на защите границ.

При Матвееве положение дел стало круто изменяться и в последнем отношении. Атаман, человек слабого характера, сразу попал под влияние этой новой аристократии, разбогатевшего казачества, и в земле Черноморского войска начинается безурядица: военные повинности распределяются неуравнительно, наряд на кордонную службу производится без очереди, служба внутренняя, несравненно легчайшая, в угоду богатым казакам не различается больше от службы пограничной. Сам атаман лишь изредка выезжал из города, а глядя на него, и полковники бросали свои полки и кордонную стражу и уезжали на хутора – хозяйничать. Здание, сколоченное мощной рукой Бурсака, начинало валиться, оборона границы слабела день ото дня.

Черкесы, зорко следившие за всем, что делается на линии, должны были ясно видеть, что теперь им уже нечего бояться, и над низовым побережьем Кубани начинали собираться грозные тучи.

К сожалению, не так смотрели на дело в Херсоне, которому подчинена была Черномория, а еще более идеальные воззрения на этот счет царили в Петербурге.

Продолжительный мир, который был куплен Бурсаком дорогой ценой безграничных усилий и жертв и поддерживался постоянной готовностью Кубанской линии снова ответить на вражду беспощадной враждой, там принят был как доказательство возможности жить с черкесами в мире, как начало нового периода, обещающего в самом скором времени гражданственное развитие черкесов. И слабый атаман, которому, как старому казаку, лучше были известны свойства черкесского мира, не сумел ничего сделать против этого направления, соответствовавшего высоким гуманным идеям императора, но неприменимого к краю. Матвеев оказался ниже предстоявшей ему задачи.

Из Петербурга приехал чиновник государственной коллегии иностранных дел надворный советник де Скасси и принял на себя роль посредника между черкесами и казаками. Чтобы упрочить приятные отношения горцев, по его совету заведены были меновые дворы. Мера эта была по вкусу черкесам, и торговля немедленно завязалась. Из-за Кубани шел в русские границы лес и сырые материалы, Черномория давала черкесам соль и мануфактурные товары. Чтобы облегчить эти мирные торговые сношения, де Скасси вошел с представлением о дозволении черкесам расположиться аулами на самом левом берегу Кубани, а хуторами – так даже селиться и на правом ее берегу, среди русских станиц. И хотя войсковое начальство наконец взялось за ум, но ему удалось отстоять лишь родную территорию; левый же берег Кубани скоро покрылся черкесскими аулами, стоявшими постоянной грозой перед самыми глазами русского порубежного населения. Так, в полную противоположность политике Ермолова, очищавшего в это самое время Терек от «мирных» чеченцев, на Кубани создавалось это ненадежное сословие лукавых врагов и принимались все меры к их благосостоянию. «Особенно наблюдать, – писал импе-

ратор, вводимый де Скасси в заблуждение, — чтобы владельцы, поселившиеся при Кубани, не имели от местного казачьего населения никаких притеснений и чтобы не было с них сбора денег ни на какие земские повинности или расходы». Де Скасси не ограничивался даже и этими проявлениями благосклонности к черкесам. Располагая большими казенными суммами, он собирал к себе горцев, угощал их, ласкал, осыпал подарками, уговаривая быть мирными. Мирные сношения были в полном ходу, и донесения о них могли быть составляемы в самых радужных красках.

Была, однако, обратная сторона медали. Черкесы, конечно, охотно торговали, еще охотнее ездили в гости к де Скасси, живали у него десятками по несколько дней, принимали подарки и охотно давали, пока были на правом берегу Кубани, всякие обещания, благо они ничего не стоили, но, переходя на свой, левый берег, они просто потешались над простодушной доверчивостью европейского дипломата. «Мирные» черкесы, пользуясь свободным доступом на русскую сторону, высматривали расположение кордонной стражи и с наступлением ночи отправлялись за добычей; в этих набегах принимали деятельное участие и недавние гости дипломата, и были случаи, что горца, которого утром угощал и одаривал де Скасси, вечером захватывали на хищничестве вместе с его подарками. Воровство, грабежи и разбои, замолкшие было под железной рукой Бурсака, приняли размеры поистине ужасающие. Тогда-то потомок насмешливого запорожца и сложил свою поговорку о «мирных» черкесах: «вдень мирний, а вночі дурний»...

Но разбои и грабежи можно было считать просто разбоями и грабежами, а не военно-враждебными действиями со стороны черкесов, и они, все усиливаясь, в течение двух лет не мешали, однако существовать иллюзии о будто бы развивавшихся мирных сношениях с черкесами.

Как вдруг трагическое происшествие, потрясшее Кубанскую линию, сразу прекратило эту недостойную комедию недоразумений. Четвертого января 1818 года давно уже забытая на Кубани тревога всполошила всю линию. Сильная черкесская партия, спокойно переночевав в мирных аулах, ринулась на Капанскую почтовую станцию. Там все было захвачено врасплох, и прежде чем маяки разнесли тревогу, горцы уже покончили со станцией. На этот раз они, однако, удовольствовались малым и возвратились домой. Матвеев пожаловался анапскому паше. Паша отвечал резонно, что черкесы — разбойники, которых следует ловить и, привязав камень на шею, бросать в Кубань, и что пусть-де атаман сам принимает меры для охраны своей границы.

Два года прошли после того в каком-то напряженном состоянии с обеих сторон; не было войны, не было и мира, и только разбой свирепствовал на Кубани. Но вот, уже в конце 1819 года лазутчики дали знать, что как только Кубань покроется льдом, черкесы снова вторгнутся в Черноморию.

Матвеев чувствовал необходимость принять меры. Нужно сказать, что Черноморское войско, выставившее тогда двадцать один полк пехоты и конницы, делилось на три смены, или очереди; в первых двух очередях было по семи полков, в третьей — шесть, так как один из конных полков с 1819 года постоянно командировался с Кубани на службу в царство Польское. Одна очередь обыкновенно занимала кордон, две — находились в домах «на льготе» и вызывались только в случае надобности. Матвеев и ограничился тем, что выдвинул на границу эти льготные строевые части и послал донесение графу Ланжерону, который, зная малочисленность Черноморского войска, потребовал полки с Дона. Но полки эти пришли, когда в них уже не было надобности.

Между тем донесения лазутчиков скоро оправдались, и не далее как в январе 1820 года сильная партия черкесов появилась на правом берегу, направляясь к Вассюринскому селению. Это первое покушение им, впрочем, не удалось: есаулы Косович, Забора и войсковой старшина Гаврюш успели преградить им путь. Горцы воротились за Кубань, но только затем, чтобы там усилиться, – и вдруг двадцать четвертого января семь тысяч всадников двинулись на русскую сторону. Прорыв был сделан в дистанции Елизаветинского поста, и горцы ударили на хутора Осечки, находившиеся верстах в шестидесяти пяти от Екатеринодара и в пятнадцати верстах от Кубани. Восемьдесят казаков, предводимых подполковником Ляшенко и войсковым старшиной Порохней, выскакали наперерез скопищу и стали на отбой. Черкесы одним натиском семитысячной массы смяли казаков, а через час одни обгорелые головни показывали место, где жили хуторяне. Горцы забрали тридцать человек в плен, много скота – и ушли восвояси. Прошла неделя, и первого февраля вторжение повторилось. Теперь уже восьмитысячное скопище двинулось к Полтавской станице. С ближайших постов не проглядели неприятеля. Есаул Сиромеха и хорунжий Синьговский быстро прискакали с резервами, но вся их сила состояла не более как из двухсот казаков, и потому им нечего было и думать удержать многочисленную черкесскую конницу. Но в Сиромехе и Синьговском жил еще мощный дух старого Запорожья. Видя, что горцы обложили со всех сторон несчастную станицу, и не имея силы отклонить удар, они, имевшие полную возможность не вмешиваться в дело, не хотели оставаться равнодушными зрителями разгрома родных куреней и бросились на неприятельскую облаву с тем, чтобы прорубиться и разделить одну общую участь со своими братьями. Благородная решимость их увенчалась неожиданным спасением станицы.

Уже горцы вторглись в нее, уже пылали жилища казаков и упорный бой закипел в улицах. Сиромеха и Синьговский, соединившись с жителями, геройски, шаг за шагом, отстаивали Полтавскую; священник с крестом в руках явился посреди защитников. Но, к счастью полтавцев, помощь была уже недалеко. Все ближе и ближе, сверкая в лучах восходящего солнца длинным лесом наклоненных пик, несутся на тревогу полки Стороженки и Животовского. Смелым и дружным ударом свежих сил им удалось выбить черкесов из станицы, и Стороженко, пользуясь смятением врагов, соединил под свою команду все наличные оборонительные силы и погнал горцев к Кубани.

Казаки при этом взяли с боя два неприятельские значка и успели отбить часть полона, но пятнадцать полтавских жителей все-таки уведены были в плен. Храбрый Синьговский находился в числе убитых.

По всей Черномории поднялась тревога. Но прошло еще лишь несколько дней, и двухтысячная партия черкесов снова вторглась в казачьи земли, прорвавшись в дистанции Петровского поста. Напрасно казачий есаул Кумпан со своим отрядом пытался загородить им дорогу. Отбросив горсть казаков, черкесы ударили на хутора, и хотя в то же время на помощь к Кумпану прискакал Копыльский пост с войсковым старшиной Головинским, но оба они были бессильны остановить неприятеля. Горцы сожгли хутора, забрали скот, имущество и полонили людей. Головинский и Кумпан до конца не сторонились от боя и рядом смелых нападений много мешали неприятелю, но все энергичные усилия их были напрасны, – слишком малое число было казаков, чтобы отстоять хуторян.

Набеги черкесов, не находившие отпора, сильно поколебали доверие черноморцев к своему начальству. Общее негодование особенно было против атамана

Матвеева, допускавшего горцев безнаказанно разорять казачьи станицы. Действительно, только нераспорядительности начальствующих и небрежности их приходилось приписывать бедствия Черноморской линии. Геройская смерть Синьговского и доблесть Сирوماхи, даже энергия Кумпана и Головинского и смелая удаля Стороженки свидетельствовали, что не вымерла еще в Черномории старая Запорожская Сечь. Да не было кому распорядиться ею, направить ее; нигде не видим мы войскового атамана, ни разу не сел он на коня, чтобы лично вести на бой своих черноморцев. Роптали казаки и заклеили на веки веков память своего атамана злой насмешкой: «Матюха, развѣшав уха».

И правы были казаки. Втянувшись в бесполезную переписку с анапским пашой, атаман их не обращал должного внимания на тревожные известия из-за Кубани, и все распоряжения его состояли исключительно все в том же вызове на службу льготных частей. Не позаботился он, зная недостаток сил на кордонной линии, вызвать из войска для защиты границы всех способных носить оружие, как это делывал Бурсак, умевший в чрезвычайных случаях даже обойти запрещение переходить Кубань или прямо добивавшийся разрешения наказывать черкесов в их собственных землях.

Разгромом Петровских хуторов окончились бедствия этого года; наступившая оттепель разбила на Кубани лед, переправы стали трудны, и вторжения прекратились.

В таком положении дел застало Черноморию распоряжение о включении ее в общий состав отдельного Кавказского корпуса. Горький опыт, вынесенный в последние годы черноморским казачеством, убедил наконец и высшую петербургскую администрацию в неудачах той системы, представителем которой был де Скасси, и край решено было передать в распоряжение Ермолова.

Высочайшее повеление об этом последовало одиннадцатого апреля 1820 года.

Неохотно принимал в свои руки черноморское казачество Ермолов. Соединение двух районов, имевших общего врага, под одной властью представляло неизмеримые выгоды, но Ермолов знал, что край разорен войной и требует для своей защиты новых войск, которых и так мало было в его распоряжении; знал также безурядицу, внесенную сюда управлением отдаленных херсонских губернаторов, не знакомых со свойствами и положением края, и начинавшимся внутренним разложением казацкого строя. «Задолго прежде, — говорит он в своих записках, — искал я случая избавиться от сего войска, ибо известны были мне допущенные в нем беспорядки, расстроенное оно хозяйство и бестолковые распоряжения войсковой канцелярии, которой самовластно управляли адъютанты генералов Дюка де Ришелье и потом графа Ланжерона. Французским администраторам не легко было познакомиться с нуждами и особенно свойствами запорожцев. Сверх того, знал я, что самое отправление службы производится казаками нерадиво, и закубанцы, делая частые и весьма удачные набеги на земли их, содержат их в большом страхе. Прежде для охранения их расположен был полк пехоты и полурота артиллерии, и хотя представлял я о необходимости продолжить пребывание там полка, но оный оттуда удален, и я должен был уделить в помощь войска Кавказской линии, тогда как для собственной защиты оной их недостаточно».

Действительно, хотя Ермолов и не был прав относительно казаков, хотя он забывал вековую службу их, в самых несчастях полную доблестных дел, но положение края, которое он застал, должно было возбуждать в нем серьезные опасения.

Черномория располагалась тогда на обширной территории в двадцать восемь тысяч квадратных верст, на

которой жило население, насчитывавшее только около тридцати шести тысяч душ, считая в этом числе дряхлых стариков, увечных и раненых воинов, уже не годившихся для службы, и малых детей. Таким образом, не приходилось на квадратную версту и одного человека, который должен был в одно и то же время и возделывать и защищать ее. И это малочисленное население, раскинутое на обширнейшей территории, далеко не все было уже настоящим казачеством, привычным к ратному делу.

Первые обитатели Черномории, казаки екатерининского века, не найдя на первое время никакого приюта в негостеприимных степях, вынуждены были селиться в землянках, а эти мрачные, сырые убежища становились могилами для целых сотен поселенцев. Войско, в значительной степени лишенное к тому же семейного элемента, таяло и уменьшалось день ото дня, тем более что к дурным гигиеническим условиям скоро присоединилась бесконечная суровая война, так что уже в 1809 году признано было необходимым значительно усилить население новыми переселенцами из малороссийских казаков Полтавской и Черниговской губерний. Их прибыло тогда до двадцати трех тысяч душ, и хотя эти переселенцы принесли с собою тот же казачий дух, но не принесли они оружия и умения владеть им. Старые сечевики между тем вымирали, молодые казаки только еще учились да привыкали к порубежному воинственному быту, и боевая опытность старых запорожцев постепенно падала. Постоянная война при таких обстоятельствах губительно отзывалась на населении, и ко временам Ермолова оно снова уменьшилось, как сказано выше, до тридцати шести тысяч душ.

И вот это-то тридцатитысячное население обязано было держать на службе одиннадцать конных и десять пеших полков, в числе шестнадцати тысяч строевых казаков. Очевидно, население выставить их не могло, и полки были в постоянном некомплекте.

Население это, разоряемое и теснимое, было бедно. Вельяминов как-то сказал, что «казак не должен быть богат, потому что богатство изнеживает воина». И это – совершенно справедливо. Но не менее справедливо было бы, если бы он прибавил, что «казак не должен быть и беден», потому что только известное благосостояние могло дать ему средства явиться на службу исправно вооруженным, бойким молодцом-казаком, не имеющим нужды заботиться о достаточно обеспеченной семье. Недаром старинное казачество создало поговорку: «Хорош на гумне, хорош и на войне». Но именно эти две крайности и были тогда в черноморской казачине: с одной стороны – неправое разбогатевшие чины, с другой – непокрытая беднота, у которой на гумне-то именно ничего и не было. Бедность населения отражалась и на его вооружении. Старые черноморцы справедливо гордились им, но новое население приходило безоружным, и требовалось немало времени, чтобы завести его при той бедности, которая тяжким гнетом лежала на них.

Таким образом, Черноморская земля уже сама по себе не была достаточно сильна, чтобы обуздать дерзкого врага, редко упускавшего случай вредить ей, которому притом же петербургская политика дала всевозможные выгоды положения. Неурядица в отбывании службы, возникшая при Матвееве, окончательно обессилила край, довела его почти до полного истощения. Перед Ермоловым лежала теперь сложная задача обезопасить край, поднять его благосостояние и уничтожить те злоупотребления, которые могли бы помешать исполнению всех его намерений. И он ревностно принялся за дело.

Меры к увеличению населения края приняты были, впрочем, еще раньше, и в 1820 году из Малороссии уже отправлены вновь до двадцати пяти тысяч казачьих семейств. Но вначале не много выиграла Черномория от

этих переселенцев. Ермолов встретил их на пути, когда он возвращался уже из Петербурга в 1821 году; переселенцы шли в бедственном положении. «На прежних жилищах своих, – говорит он, – они продали имущество за бесценок, ограблены были чиновниками земской полиции и отправлены в путь в самое позднее осеннее время; на дороге они лишились всего своего скота, остались без средств идти далее и зимовали по разным губерниям, выпрашивая милостыню для своего существования. И эти несчастные должны были умножить силу войска черноморского противу многочисленного угрожающего ему неприятеля!» Таким образом, переселенцы легли новым бременем на истощенную страну. Как ни были бедны черноморцы, но, в сравнении с пришедшими к ним из Малороссии собратами, даже они могли похвалиться довольством; по крайней мере у них был свой кров и скудный кусок хлеба, а у переселенцев не было ни того, ни другого. Атаман Матвеев должен был обратиться с призывом к благотворительности – и не напрасно; сами бедняки, черноморцы собрали десять тысяч рублей, хлеб, скот и овец – что дало переселенцам возможность хоть как-нибудь устроить свое хозяйство на первых шагах. Теперь численность войска возросла до шестидесяти одной тысячи, но боевого элемента от того не прибавилось в нем нисколько; требовалось время, чтобы новые переселенцы стали казаками. И войско по-прежнему так нуждалось в военных людях, что даже казаки, уволенные от службы за тяжкими ранами, не могли рассчитывать на безусловный отдых, – их посылали или на внутреннюю службу, или на кордоны со стороны Кавказской области.

Ермолов, чтобы поддержать казачество и помешать расхищению войсковых земель, сделал одно распоряжение, которое до некоторой степени должно было поколе-

бать заводившийся порядок. Он приказал обратить в казачье сословие крестьян, выведенных из России в Черноморию, которых помещики в известный срок не пожелают удалить обратно в Россию. Этим достигались две цели: обращалось само в военный элемент то сословие, которое прежде только отвлекало силы края на свою защиту, и уничтожалось одно из побуждений захватывать в свои руки казачьи земли, которые теперь уже не было возможности заселять и обрабатывать крепостным трудом.

Пришлось Ермолову обратить внимание и на вооружение населения. До него, Бог знает почему, потребовали от черноморцев, чтобы они имели не ружья, а кавалерийские карабины на панталерах. Ермолов восстал против этого ни с чем не сообразного требования. «Может быть, – писал он в Петербург, – карабины сии против европейской конницы на что-нибудь и годятся, но против горцев, имеющих прекрасные винтовки, они совершенно негодны». Замечательно, что Ермолов высказался, однако же, и против вооружения винтовками. «У казаков отнюдь допускать их не следует, – писал он в своем представлении, – ибо, после весьма небольшого количества выстрелов, остающаяся от пороха в стволе нечистота препятствует скорому заряджению, требуя особенного усилия». И винтовки заменены были кремневыми ружьями. Остается, впрочем, неизвестным, действительно ли он причудливо предпочитал кремневые ружья метким, дальнобойным винтовкам, или просто хотел покончить с вопросом вооружения казаков, оставив им, что у них было, и не требовать от населения, и без того уже разоренного, новых, непосильных затрат на оружие, хотя бы даже и лучшее.

Само собою разумеется, что, устраивая быт казаков, Ермолов круто изменил и политику по отношению к черкесам. Он не верил в приятельные отношения ни турок, ни горцев, и всех черкесов, мирных и не мирных,

одинаково считал постоянными врагами русских, и врагами не прямыми, не открытыми, а – как он называл их – «мошенниками». И делая свои представления, он хлопотал о том, чтобы черкесы, поселенные на самом берегу Кубани по проекту де Скасси, были вновь, по возможности, оттесняемы вдаль, а чтобы на русских границах была создаваема передовая линия укреплений, как это им предположено было по отношению к Чечне и другим частям линии. И на первый случай он предполагал занять Каракубанский остров и поставить на нем сильное укрепление, которое могло бы значительно усилить оборонительные средства Черноморской земли.

«Народы закубанские, – писал он по поводу всех этих своих намерений и предположений в Петербург, – явно непослушны турецкому правительству, и паша, начальствующий в Анапе, сам находится во всегдашней опасности. Он редко выезжает из крепости, и никогда команды турецких войск не выходят оттуда в малом числе. Очевидно, что он не имеет средств прекратить разбой, а напротив, тайным подстрекательством вернее снискивает к себе их привязанность. Хищники в селениях, лежащих на самом берегу Кубани, имеют верное убежище между сообщниками, не боясь преследования, ибо знают, что воспрещено оное. Не вижу я никакой надобности так далеко простираť заботливость об успокоении горцев и относить к одному невежеству те наглости, которые делают они обдуманном образом, ободряемые только чрезмерным снисхождением. Не здесь надобно бояться раздражать: здешние народы издавна делают нам вред какой только могут, и кто близко видит их, тот знает, что делать более оно́го они не в состоянии. Граф Ланжерон, коего постоянное попечение о благоустройстве чувствует войско Черноморское, будучи отвлекаем важнейшими должностями, не мог часто посещать здешней страны, а

закубанцы всегда замечают отсутствие начальника; меня же принуждают обстоятельства к жизни более подвижной, занимаясь делами с народами, во всем им подобными, – и сие заметят новые мои соседи. Итак, по моему мнению, не заботясь о том, как покажется закубанцам, следует занять Каракубанский остров и поставить на нем укрепление, не терпеть наглых и оскорбительных вторжений закубанцев, преследовать и наказывать ближайшие селения, участвующие в злодеяниях, – иначе не будет безопасности, и всегда потери будут на нашей стороне».

Предположение Ермолова о занятии Каракубанского острова было полно серьезного смысла, что очевидно уже из самого географического положения и характера острова. Немного выше того места, где когда-то стояло старое турецкое укрепление Копыль, а именно у поста Славянского, Кубань разрывалась тогда на два параллельные течения и, слившись вновь верстах в шестидесяти ниже точки своего разъединения, образовывала продолговатый и низменный остров шириною до двенадцати верст. Течение по левую, то есть обращенную к горам, сторону составляло реку Каракубань, которая текла в черкесских землях и была гораздо шире и глубже, чем течение по правую сторону, известное под названием Старой Кубани, или просто Кубани.

Не лишнее прибавить, что черкесское владение островом не оправдывалось и исторически. По всему Каракубанскому острову и вниз оттуда, по протяжению правого берега Кубани до самого Бугаза, еще были свежи следы целой цепи опустелых, поросших травой городков, в которых когда-то жили русские Некрасовские казаки, правда, служившие султану «за иудины сребреники». С приходом сюда черноморцев, против которых дрались они, как неприятели, некрасовцы перебрались за Кубань, к Анапе, а когда Анапа перешла в русские руки, они ушли

за море, в Турцию. Распространяющееся могущество отечества гналось за отступниками грозным преследователем, и настигаемые им повсюду, они могли воскликнуть с псалмопевцем: «Камо уйду от духа твоего, и от лица твоего камо бегу!...»

Вот этот-то важный пункт и предполагал занять Ермолов с тем, чтобы укрепление стояло грозою на обширном пространстве в тылу партий, перешедших в русские границы, а с этим вместе и истинное, труднее переходимое течение Кубани становилось уже русской границей. Сама река как бы взялась впоследствии представить доказательство правоты Ермолова: ныне Кубанка давно уже пересохла, Каракубань течет под общим именем Кубани, и самый Каракубанский остров не существует.

Проект этот, однако, не встретил сочувствия в Петербурге, где опасались турецкого вмешательства в дело, и строить укрепление Ермолову не позволили. Единственное, чего добился он, было разрешение репрессалий по отношению к черкесам, возможность наказывать их дерзкие набеги в их собственных землях.

От самого Черноморского войска Ермолов потребовал строжайшего исполнения кордонной службы. Он внимательно следил за нею и воспользовался первыми же случаями показать, что настали другие времена и должны быть другие порядки на Черноморской линии.

Случилось (двадцать восьмого августа 1820 года), что небольшая партия пеших горцев пробралась через кордон и увела в плен одного казака с сыном, две лошади и пару быков. Ермолов тотчас приказал арестовать кордонного начальника на месяц и, сверх того, взыскать с него деньги за быков и за лошадь. Указывая на этот случай, Ермолов угрожал оплошным офицерам вызовом их на службу в Грузию и в закавказские крепости.

Спустя несколько дней полковник Паденко отразил сильную конную партию, пытавшуюся перейти Кубань, с чувствительным для нее уроном – и Ермолов благодарил его в приказе по корпусу.

«Со вниманием, – говорилось там, – замечаю я действия войск и за сей подвиг тем более благодарен Паденке, что не раз уже нерадивое охранение границы войском Черноморским облегчало успех закубанцам».

«Настанет зимнее время, – писал тогда же Ермолов, – к набегам через Кубань удобнее. Знаю, что можно прекратить оные смелым сопротивлением», – и он требовал усиления бдительности.

В самом управлении краем произошла крупная перемена. Уезжая в конце 1820 года в Петербург, Ермолов поручил командование войсками на Черноморской кордонной линии донскому генералу Власову, а чтобы ближе и подробнее ознакомиться с положением черноморских дел, приказал ему осмотреть полки и сделать подробное донесение. В этом сказалось отчасти и недоверие к атаману, при котором столько бедствий обрушилось на казаков. Власов составил о Черноморских полках самое невыгодное заключение, и Ермолов, уже и так расположенный не в пользу вновь порученной ему страны, десятого января 1821 года обратился к атаману со следующим резким, поразившим всю Черноморию, письмом:

«Генерал-майор Власов прислал мне донесение об осмотре полков, содержащих по Кубани кордонную стражу. Сколько он ни старался смягчить выражения при описании неисправностей сих полков, не могу я однако же не видеть, до какой степени достигли оные.

Начну с того, что в них некомплект, но вы, господин атаман, должны вспомнить, что есть мой приказ о собрании к полкам отлучных людей и чтобы оные не были развлекаемы.

Оружия на людях многого не состоит, а находящееся налицо – в непозволительном состоянии. Не у храброго воина оружие в небрежении, а у казаков черноморских съедает его ржавчина.

Лошадей много неспособных; большого числа вовсе не хватает; в пяти полках казаков с лошадьми надежными только тысяча пятьсот девяносто восемь. Разочтите, господин атаман, сколько остается негодных.

В разборе людей не приемлется в рассуждение род службы. Казак, ловкий на коне, служит пеший; неумеющий управлять взлез на коня – и сам не рад, и конь непослушен под седоком боязливым.

Судя по стрельбе казаков в цель можно заключить, что многие из казаков пороха с маком не распознают.

Обращение офицеров с казаками не внушает в сих последних к себе должного почтения. Не слабостью и потворством приобретается любовь подчиненных. Большая часть офицеров Черноморского войска сего не понимает.

Казаки, послаблением допущенные до состояния, уничижающего звание воинов, заставляют краснеть начальников, над ними поставленных, и мне, новому сотруднику вашему, едва остается право признать вас более не за начальника войска, а за пристава над мужиками.

Столько же неприятно мне видеть в вас начальника, не всеяющего почтения, которым должны бы быть почтены и лета ваши, и заслуги, так равно и иметь под начальством моим сброд людей, похищающих именование военных. Есть время все поправить, и мне приятно будет щадить старого служивого».

Таков этот знаменитый документ, горько отозвавшийся в сердцах черноморцев. Но не в укор им приводит его история. Выясненные выше факты, обрисовывающие тогдешнее положение Черноморья, убедительно доказывают

всю неосновательность упреков Ермолова. Он обвинял казачество в том, что составляло естественное последствие непреодолимых обстоятельств, делал его ответственным и за вымирание опытных запорожцев и за неопытность переселенцев в еще чуждом им деле войны. Не шло обвинение в неумении «отличить маку от пороха» к казацкой Украине, где, по выражению казацкого барда, «без преувеличения говоря, расходовалось больше пороха, чем семян». Напрасно видел Ермолов несообразность и в сортировке казаков для конницы и пехоты: казак выходил на службу на своем иждивении, и в конницу поступал не тот, кто умел ездить, а кто мог купить коня, а лучшие наездники, по бедности, могли служить в пехоте, – и помочь этому было невозможно. Простое и вольное обращение между собою «панов» и простых казаков также не означало ни слабости, ни потворства; оно было занесено из Запорожья вместе с многими другими хорошими особенностями и нимало не мешало каждому свято исполнять свои обязанности. Ермолов не сказал бы того, что сказал, не впал бы в ошибку, если бы ближе знал и понял положение Черноморского войска.

И черноморцы не склонили свои головы перед суровым приговором, они ответили на него длинным рядом доблестных дел и нечеловеческими трудами, свидетелем и участником которых довелось быть именно Власову.

Власову дана была полная воля карать хищных черкесов в их собственной земле – и имя его скоро загремело в горах Западного Кавказа. Не довольствуясь охраной кордонной линии, он перенес войну с теми же черноморцами за Кубань и смелыми действиями распространил ужас в горах, воскрешая в памяти черкесов бурсаковские погромы. Грозой и пугалом стал Власов для закубанских народов. Бывали и при нем попытки вторжений, но

черкесы уже не возвращались с добычей на свой берег Кубани, и сотни тел их оставались на русском берегу.

Роль атамана Матвеева отодвигается с тех пор на второй план. За ним вначале остаются еще внутренние хозяйственные распоряжения, и Ермолов писал ему, что пребывание в войске Власова не должно мешать атаману в исполнении его обязанностей. Власов не имел права входить ни в какие внутренние его распоряжения, атаман же без согласия Власова не мог только производить никаких перемен в обороне границы и в войсках, занимавших кордоны. Но, вероятно, двойственность власти сказалась невыгодно на крае и повела к новому распоряжению. Второго марта 1822 года Ермолов приказал не только ввести лучшее устройство по всем частям войскового правления, но и преобразовать самую войсковую канцелярию по примеру Донского войска. Власову присваивается звание командующего Черноморским войском, а атаман становится лицом, подчиненным ему, и в списке, представленном генерал-адъютанту Стрекалову в 1826 году, уже значится: «Командует пограничными полками и распоряжается внутренними делами войска генерал-майор Власов, а под ним войсковой атаман полковник Матвеев».
